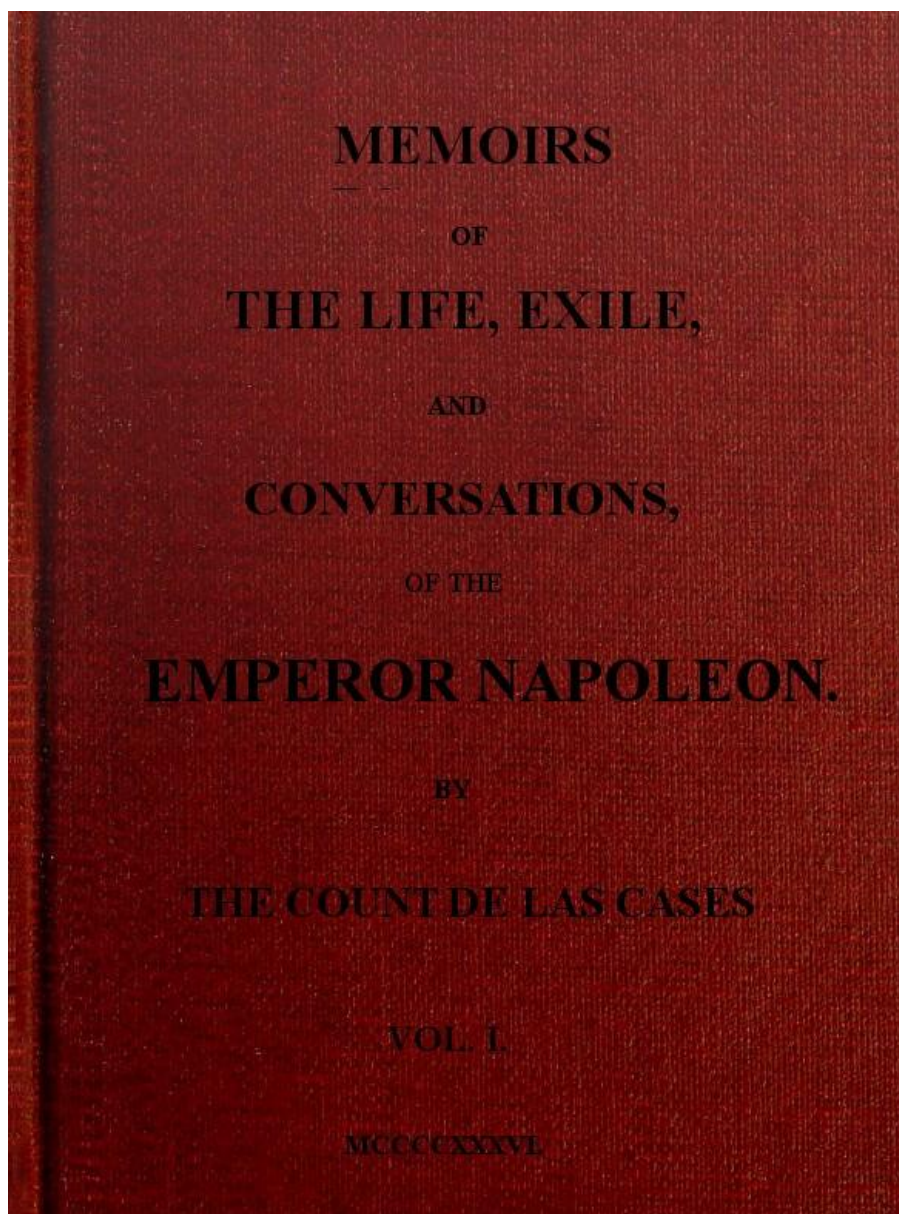


Воспоминания о жизни, ссылке и беседах императора Наполеона. (Том I)

Граф де Эммануэль-Огюст-Дьедонне Лас Касес



Электронная книга проекта "Гутенберг", содержащая Воспоминания о жизни, ссылке и беседах императора Наполеона. (Том I)

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Воспоминания о жизни, ссылке и беседах императора Наполеона. (Том I)

Автор: граф де Эммануэль-Огюст-Дьедонне Лас Касес

Дата выхода: 16 января 2017 г. [Электронная книга № 53967]

Последнее обновление: 23 октября 2024 г.

Язык: Английский

Кредиты: производится КД недели, Хосеп седла каналов и онлайн распределенных вычитка команда <http://www.pgdp.net> (этот файл был создан из изображения любезно предоставлены интернет-архив/американских библиотек.)

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ГУТЕНБЕРГА "ВОСПОМИНАНИЯ О ЖИЗНИ, ССЫЛКЕ И БЕСЕДАХ ИМПЕРАТОРА НАПОЛЕОНА". (ТОМ. Я) ***

Примечание переписчика:

Сноски собраны в конце каждой главы и связаны для удобства использования.

Незначительные ошибки, связанные с принтером, были исправлены. Пожалуйста, ознакомьтесь [с примечанием](#) переписчика в конце этого текста для получения подробной информации об устранении любых текстовых проблем, возникших при его подготовке.

Это первый из четырех томов, с которыми можно ознакомиться в Project Gutenberg здесь:

Том I <https://www.gutenberg.org/ebooks/53967>

Том II <https://www.gutenberg.org/ebooks/53968>

Том III <https://www.gutenberg.org/ebooks/53969>

Том IV <https://www.gutenberg.org/ebooks/53970>

Изображение на обложке создано на основе информации с титульного листа и добавлено в общественное достояние.

Исправления, внесенные в текст, будут отображаться как [исправления](#), которые служат ссылками на соответствующую запись в заключительных примечаниях. Исходный текст можно просмотреть, наведя курсор на исправление.

Исправления, внесенные в текст, будут отображаться как исправления, которые служат ссылками на соответствующую запись в заключительных примечаниях.

Список иллюстраций включает иллюстрации из следующих трех томов, к которым здесь нет прямого доступа.



Дэвид. Купер.

НАПОЛЕОН.

Опубликовано для Генри Колберна, ^{17 ноября} 1835 года.

ВОСПОМИНАНИЯ О ЖИЗНИ, ССЫЛКЕ И БЕСЕДАХ ИМПЕРАТОРА НАПОЛЕОНА.

ПО ДЕЛАМ ГРАФА ДЕ ЛАС.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ.
С ПОРТРЕТАМИ
И МНОЖЕСТВО ДРУГИХ УКРАШЕНИЙ.
ТОМ I.
ЛОНДОН:
ОПУБЛИКОВАНО ДЛЯ ГЕНРИ КОЛБЕРНА,
РИЧАРД БЕНТЛИ; БЕЛЛ И БРЭДФУТ, ЭДИНБУРГ; Дж. КАММИНГ, ДУБЛИН;
И ВСЕ КНИГОТОРГОВЦЫ.

MDCCCXXXVI.
АНДОВЕР:
СОЗДАН По СТЕРЕОТИПУ И НАПЕЧАТАН Б. БЕНСЛИ.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ.

ТОМ I.	
	Страница.
Портрет императора Наполеона, <i>напротив названия</i> .	
Наполеон на борту " Беллерофонта "	26
Портрет Шарля Бонапарта	66
Портрет Летиции Бонапарт	69
Резиденция императора в Лонгвуде	264

ТОМ II.	
Портрет императрицы Жозефины, <i>напротив титула</i> .	
Портрет маршала Бертрана	33
Карта острова Святой Елены	39
Портрет принца Талейрана	64

ТОМ III.Портрет сэра Хадсона Лоу, *напротив названия*.

План местности Лонгвуда	21
Дом, в котором родился Наполеон	113
Сожжение Москвы	164
Возвращение Наполеона с Эльбы	302

ТОМ IV.

Портрет графа Де Лас Касес, *напротив титула*.

Наполеон на острове Святой Елены	149
Смерть Наполеона	386
Статуя Наполеона на Вандомской площади	388
Могила Наполеона	399

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Самые экстраординарные обстоятельства долгое время удерживали меня рядом с самым экстраординарным человеком, который когда-либо существовал. Восхищение заставило меня последовать за ним, не зная его, а когда бы я узнала его, одна только любовь навсегда привязала бы меня к нему. Мир полон его славы, его деяний и его памятников; но никто не знает истинных оттенков его характера, его личных качеств или естественного расположения его души. Я берусь заполнить эту огромную пустоту, и для решения этой задачи я обладаю преимуществами, не имеющими аналогов в истории.

Я собирал и записывал день за днем все, что я видел о Наполеоне, все, что я слышал от него в течение восемнадцати месяцев, в течение которых я постоянно находился рядом с ним. В этих разговорах, которые были полны доверия и которые, казалось, протекали как бы в другом мире, он не мог не быть изображен самим собой, словно в зеркале, в каждой точке зрения и во всех аспектах. Отныне мир может свободно изучать его: в материалах не может быть ошибок.

Посчитай Лас Случаев.

Введение.

Я намереваюсь ежедневно записывать все, что император Наполеон делал или говорил о своей особе, пока я был при нем; но, прежде чем я начну свой дневник, надеюсь, меня извинят за несколько предварительных замечаний, которые, возможно, не совсем бесполезны.

Я никогда не начинал чтение ни одного исторического труда, не пожелав сначала узнать характер автора, его положение в обществе, его политические и домашние отношения; фактически, все важные обстоятельства его жизни; полагая, что ничто, кроме знания этих вопросов, не может дать ключ к его трудам или надежную основу для доверия к его заявлениям. Поэтому я, в свою очередь, продолжаю излагать то, что я всегда искал в других, и, представляя этот дневник, сообщаю несколько фактов, касающихся моей прошлой жизни.

Мне едва исполнился двадцать один год, когда разразилась Революция, и я только что был произведен в *лейтенанты де Везо*, что соответствовало званию полевого офицера в строю: моя семья находилась при дворе, и я сам недавно был представлен там. Я не был богат, но мое имя и положение в жизни, а также мои профессиональные перспективы, вероятно, согласно понятиям и взглядам того времени, позволили бы мне жениться в соответствии с моими желаниями. Именно в такой момент вспыхнули наши политические проблемы.

Одним из главных пороков нашей системы приема на службу было лишение нас преимуществ солидного и законченного образования. Забранные из школы в раннем четырнадцатилетнем возрасте, с этого момента предоставленные самим себе и как бы брошенные на произвол судьбы, как можно было получить хоть малейшее представление о социальной организации, общественных правах или обязанностях гражданской жизни?

Таким образом, побуждаемый благородными предрассудками, а не справедливым чувством долга, прежде всего, руководствуясь естественной склонностью к великодушным решениям, я был одним из первых, кто поспешил за границу и присоединился к нашим принцам; чтобы спасти, как было сказано, монарха от революционной ярости и защитить наши наследственные права, от которых мы, как утверждалось, все же не могли отказаться без стыда. Судя по тому, как нас воспитывали, требовалась либо очень сильная голова, либо очень слабый разум, чтобы противостоять этому потоку.

Эмиграция вскоре стала всеобщей; эта роковая мера слишком хорошо известна Европе; и ее безрассудство, как политическая ошибка и социальное преступление, не может найти никакого оправдания в наши дни, за исключением непросвещенного, но честного характера большинства тех, кто ее предпринял.

Побежденные на наших собственных границах, уволенные и распущенные иностранцами, отвергнутые и запрещенные законами нашей страны, многие из нас достигли Англии, министры которой, не теряя времени, высадили нас на берег Кибера. Мне повезло, что я не сошел на

берег, и после возвращения у меня было время поразмыслить об ужасной альтернативе - сражаться против нашей страны под иностранными знаменами; и с этого момента мои идеи, принципы и проекты были либо смущены, либо полностью изменены.

Отчаявшись в происходящем, оставив мир и свою естественную сферу, я посвятил себя учебе; и под чужим именем прошел второй курс обучения, пытаюсь помогать другим.

По прошествии нескольких лет Амьенский мирный договор и амнистия, предложенная Первым консулом, вновь открыли нам ворота Франции. У меня больше не было там никакой собственности: законы распорядились моим наследством; но может ли что-нибудь заставить нас забыть нашу родную землю или разрушить очарование вдыхания воздуха нашей собственной страны!

Я поспешил вернуться и был благодарен за прощение, оказавшееся более приемлемым, поскольку я мог с гордостью сказать, что я получил его, не имея никаких мотивов для самобичевания. Когда вскоре после этого была провозглашена монархия, мое положение и чувства были самого необычного рода. Я оказался солдатом, наказанным за дело, которое восторжествовало. Каждый день возвращал нас к нашим прежним идеям: все, что было дорого нашим принципам и предрассудкам, обновлялось; и все же деликатность и честь делали для нас своего рода обязанностью держаться на расстоянии.

Напрасно новое правительство громко провозгласило союз всех партий; и точно так же напрасно его глава заявил, что он больше не признает во Франции никого, кроме французов; напрасно старые друзья и бывшие компаньоны предлагали мне преимущества новой карьеры, которую я должен был выбрать сам. Не в силах подавить противоречивые чувства, волновавшие мой разум, я упрямо придерживался системы самоотречения; и, посвящая все свое время литературе, я сочинил под вымышленным именем исторический труд, который восстановил мое состояние; после чего я провел пять или шесть счастливейших лет своей жизни.

Между тем беспрецедентные события сменяли друг друга с необычайной быстротой: они были такого характера и носили столь своеобразный характер, что ни один человек, в сердце которого была хоть малейшая склонность ко всему великому или благородному, не мог относиться к ним равнодушно. Слава нашей страны вознеслась до небывалых высот в истории какого-либо другого народа: управление делами было непревзойденным не менее по своей энергии, чем по последствиям, которые оно производило; одновременный импульс, внезапно приданный всем видам промышленности, вызвал соперничество у всех в один и тот же момент; армия была непревзойденной, наводя ужас за границей и вызывая справедливую гордость у себя дома.

С каждым днем количество наших трофеев увеличивалось, в то время как многочисленные памятники возвещали о наших подвигах; победы при Аустерлице, Йене и Фридланде; Пресбургский и Тильзитский мир сделали Францию первой из наций и сделали ее вершительницей судеб Европы. Быть французом было большой честью, и все же все эти подвиги, труды и чудеса были делом рук одного человека. Что касается меня, то, какими бы ни были мои прежние предубеждения, теперь я был преисполнен восхищения; а, как мы все знаем, отвосхищения до привязанности всего один шаг. Именно в этот период император собрал вокруг своего трона несколько знатных семей Франции и распространил среди остальных, что он будет считать тех, кто останется в стороне, плохими французами. Я не колебался ни

мгновения: я, сказал я себе, выполнил обязательства своей естественной клятвы, клятвы моего рождения и воспитания, которым я оставался верен до самого их исчезновения. О наших принцах тоже больше не думали: мы даже сомневались в их существовании. Религиозные торжества, союз королей, пример Европы и великолепие Франции отныне научили меня тому, что у меня появился новый государь. Неужели те, кто был до нас, так долго сопротивлялись таким мощным усилиям, прежде чем сплотиться вокруг первого из капетингов? Поэтому я ответил за себя, что, счастливый тем, что получил возможность повиноваться зову, который с честью вывел меня из щекотливого положения, в которое я попал, я свободно, спонтанно и без утайки перенес рвение, верность и привязанность, которые я постоянно лелеял к своим старым хозяевам, на нового государя: результатом этого шага стало мое немедленное принятие ко двору.

При таком положении вещей я испытывал крайнюю тревогу по поводу того, что мои недавние заявления должны быть подтверждены делами. Англичане вторглись во Флашинг и угрожали Антверпену; поэтому я поспешил помочь в обороне последнего города в качестве добровольца; и при последующей эвакуации Флашинга мое назначение на должность камергера сделало меня приближенным к особе императора. Желая добавить к обязанностям на этом почетном посту еще какое-нибудь полезное занятие, я попросил и получил место в Государственном совете. Отсюда последовало несколько конфиденциальных миссий: Я был послан в Голландию в период ее присоединения к Французской империи, чтобы получить все, что имело отношение к военно-морскому ведомству; затем в Иллирию с целью погашения государственного долга; а затем в более чем половину Империи, чтобы руководить учреждениями общественного призрения. Во время наших последних несчастий я получил несколько утешительных доказательств того, что жители стран, в которые я был таким образом отправлен, не были недовольны моим поведением.

Однако Провидение установило предел нашему процветанию. Катастрофа под Москвой, бедствия под Лейпцигом и осада Парижа хорошо известны. Я командовал в этом городе одним из легионов, снискавших себе славу тяжелыми потерями 31 марта. Когда произошла капитуляция, я отказался от командования, чувствуя, что должен выполнять другие обязанности при особе моего государя, но не смог вовремя добраться до Фонтенбло: император отрекся от престола, и его сменил король.

Теперь мое положение стало еще более странным, чем двенадцать лет назад. Дело, ради которого я пожертвовал своим состоянием, ради которого я так долго оставался в изгнании и шесть лет провел в состоянии самоотречения дома, наконец восторжествовало; тем не менее, вопрос чести и другие соображения были близки к тому, чтобы помешать мне извлечь какую-либо выгоду из этого события! Что может быть капризнее моей судьбы? Две революции были совершены в противоположность друг другу: в результате первой я потерял свое наследство; во время второй я мог быть лишен жизни: ни та, ни другая не благоприятствовали моей судьбе. Вульгарные умы увидят лишь досадное расхождение мнений в этой своенравной судьбе, в то время как любители интриг будут утверждать, что я был дважды одурачен: лишь немногие поймут, что я дважды с честью выполнил свой долг. Как бы то ни было, те ранние друзья, чье уважение не уменьшилось из-за линии поведения, которой я придерживался, теперь став всемогущими, пригласили меня присоединиться к ним: было невозможно подчиниться великодушному призыву; испытывая отвращение и уныние, я решил прекратить свою общественную жизнь. Должен ли я был подвергнуть себя ложному осуждению тех, кто

наблюдал за моими действиями? Мог ли каждый человек видеть, что происходило в моих мыслях?

Став теперь французом даже в степени энтузиазма и не в силах выносить то национальное унижение, свидетелем которого я был ежедневно среди иностранных штыков, я решил попытаться отвлечь свои мысли на расстоянии от места бедствия и отправился провести несколько месяцев в Англию. Насколько изменившимся казалось там все! Поразмыслив, я обнаружил, что это я сам претерпел большие изменения.

Едва я вернулся, как на наших берегах появился Наполеон: он был перенесен в столицу как по волшебству, и это без сражений, эксцессов и пролития крови. Мне казалось, я видел, как пятно, нанесенное на нас чужими руками, было стерто, и вся наша слава восстановлена. Судьба распорядилась иначе!

Как только я услышал о прибытии императора, я спонтанно отправился сопровождать его лично. Я присутствовал при отречении от престола; и когда встал вопрос о его смещении, я попросил разрешения поучаствовать в его судьбе. До тех пор бескорыстие и простота, некоторые скажут, безрассудство, моего поведения были таковы, что, несмотря на мое ежедневное общение в качестве домашнего служащего и члена его совета, Наполеон едва знал меня. “Знаете ли вы, куда может завести вас ваше предложение?” - спросил он в своем изумлении. “Я не делал никаких расчетов относительно этого”, - ответил я. этого”, - ответил я. Он принял меня, и я нахожусь на острове Святой Елены.

Теперь я дал о себе знать; у читателя в руках мои верительные грамоты: множество современников живы — будет видно, встанет ли хоть один человек среди них, чтобы признать их недействительными: поэтому я приступаю к своей задаче.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМПЕРАТОРА В ЕЛИСЕЙСКИЙ ДВОРЕЦ ПОСЛЕ БИТВЫ ПРИ ВАТЕРЛОО.

Вторник, 20 июня 1815 г. — Услышал о возвращении императора в Елисейский дворец: немедленно прибыл туда. Нашел господ. Монталамбер и Монтолон там, движимые тем же чувством.

Наполеон только что проиграл великое сражение, так что безопасность нации отныне зависела от мудрости и рвения Палаты представителей. Император, все еще покрытый пылью с поля Ватерлоо, был готов поспешить в самую гущу событий, заявить о наших опасностях и ресурсах и заверить, что его личные интересы никогда не должны быть препятствием для счастья Франции; после чего он намеревался немедленно покинуть Париж. Говорят, что несколько человек отговорили его от этого шага, заставив предчувствовать надвигающееся брожение среди депутатов.

Пока невозможно разобраться во всех сообщениях, которые циркулируют в связи с этой роковой битвой: одни говорят, что это явная измена; другие - что это гибель, не имеющая примера. Тридцать тысяч человек под командованием Груши сбились с пути и пришли слишком поздно, не принимая участия в сражении; говорят, что армия, одерживавшая победу до вечера, была внезапно охвачена паникой около восьми часов и в одно мгновение была разбита. Это еще один Креси, еще один Азенкур!^[1] все дрожат и думают, что все потеряно!

ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ПРЕСТОЛА.

21. Исполненные наилучших намерений и наиболее влиятельные члены национального представительства весь вчерашний вечер и всю ночь подвергались манипуляциям со стороны определенных лиц, которые, если верить их слову, предъявляют подлинные документы и полуофициальные бумаги, гарантирующие безопасность Франции при условии простого отречения императора, как они утверждают.

Этим утром вышеупомянутое мнение стало настолько сильным, что казалось непреодолимым: председатель собрания, первые люди государства и ближайшие друзья императора пришли умолять его спасти Францию, отрекшись от престола. Ни в коей мере не убежденный, император, тем не менее, великодушно отвечает: —Он отрекается от престола!

Это обстоятельство вызывает величайшую суматоху вокруг Елисейского дворца; толпа устремляется к воротам и свидетельствует о глубочайшем интересе; многие проникают в зал, в то время как некоторые даже из народного сословия взбираются на стены; одни в слезах, другие в состоянии, близком к безумию, толпятся перед императором, который спокойно прогуливается по саду, и делают всевозможные предложения. Один только Наполеон спокоен, постоянно отвечая, что они должны в будущем использовать это рвение и нежность на благо своей страны.

В течение дня я представлял депутацию представителей: она пришла поблагодарить императора за его преданность национальным интересам.

Документы и государственные бумаги, которые произвели такую мощную сенсацию и привели к грандиозному событию этого дня, считаются официальными сообщениями господ. Фуше и Меттерних, в которых последний гарантирует Наполеону II. и регентство в случае отречения императора. Эти сообщения, должно быть, долгое время велись втайне от Наполеона. Господин Фуше, должно быть, питал яростное пристрастие к тайным операциям. Хорошо известно, что его первая немилость, случившаяся несколько лет назад, возникла из-за того, что он начал какие-то переговоры с Англией по собственной воле, без ведома императора: фактически он всегда проявлял величайшую небрежность в сиюминутных делах. Дай Бог, чтобы его нынешние таинственные деяния не оказались фатальными для нашей страны!

ДЕПУТАЦИЯ ПАЛАТЫ ПЭРОВ.—КОЛЕНКУР.—ФУШЕ.

22—го. - Отправился домой, чтобы провести несколько часов у себя дома: в течение этого дня была представлена депутация пэров: вечером была названа часть Временного правительства. Коленкур и Фуше, которые были в числе приглашенных, случайно оказались с нами в приемной: мы поздравили первого с его назначением, что, по сути, было всего лишь поздравлением нас самих с достижением общественного блага: его ответ был полон тревоги. “Мы приветствуем известный до сих пор выбор”, - сказали мы. “Несомненно, ” заметил Фуше с легкомысленным видом, - что меня никто не подозревает”. “Если бы вы были там, - грубо возразил депутат Буле де ла Мерт, который также присутствовал, - будьте уверены, мы не назвали бы вас”.

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДСТАВЛЕНО ИМПЕРАТОРУ.

23—е - В Елисейском дворце не прекращались аплодисменты и интерес. Я представил членов Временного правительства императору, который, отпуская их, приказал герцогу Дебре

проводить их. Братьев императора, Жозефа, Люсьена и Жерома, часто представляли в течение дня, и они некоторое время беседовали с ним.

Как обычно, вечером вокруг дворца собралось великое множество людей: их число постоянно увеличивалось. Их одобрителные возгласы и проявленный интерес к императору вызвали значительное беспокойство среди различных фракций. Брожение в столице стало теперь настолько сильным, что Наполеон решил выехать на следующий день.

ИМПЕРАТОР ПОКИДАЕТ ЕЛИСЕЙСКИЙ ДВОРЕЦ.

25—го. - Я сопровождал императора в Мальмезон и снова попросил разрешения проследить за его дальнейшей судьбой. Мое предложение, казалось, вызвало у него удивление, поскольку он все еще знал меня только по моим занятиям; но он принял предложение.

26—го. - Моя жена пришла навестить меня; она разгадала мои намерения: признаться в них стало несколько деликатной задачей, и еще труднее убедить ее в их благопристойности. “Моя дорогая,” сказал я, “следуя велению моего сердца, утешительно сознавать, что ваши интересы при этом не ущемляются. Если бы Наполеон II. чтобы управлять нами, я оставляю вам серьезные претензии на его защиту; если Небеса распорядятся иначе, я обеспечу вам славное убежище, имя, удостоенное некоторого уважения. Во всяком случае, мы встретимся снова, по крайней мере, в лучшем мире”. После слез и даже упреков, которые не могли не радовать, она согласилась на мой отъезд, потребовав, однако, обещания, что я позволю ей присоединиться ко мне, не теряя времени. С этого момента она проявила такое мужество и силу духа, которые воодушевили бы меня в случае необходимости.

МОРСКОЙ МИНИСТР ПРИЕЗЖАЕТ В МАЛЬМЕЗОН.

27—го. - Я ненадолго ездил в Париж с морским министром, который прибыл в Мальмезон по делу, касающемуся фрегатов, предназначенных для императора. Он зачитал мне инструкции, составленные для командиров, сказал, что его Величество рассчитывает на мое рвение и намеревается взять меня с собой; добавив, что позаботится о моей семье во время моего отсутствия.

Наполеон II. провозглашен законодательным собранием.

Послал за моим сыном из его школы, решив, что он должен сопровождать меня. Мы приготовили небольшой сверток с одеждой и бельем, затем отправились в Мальмезон в сопровождении моей жены, которая немедленно вернулась. Дорога теперь стала довольно небезопасной из-за приближения врага.

28—го. - Желая сделать еще кое-какие приготовления перед нашим отъездом, герцогиня де Ровиго отвезла меня и моего сына в Париж в своей карете. Я нашел господ. де Вертильяк и де Китри в моем доме; это были последние друзья, которых я обнимал: они были в ужасе. Волнение и неуверенность с каждым часом возрастали в столице, ибо враг был у ворот. Добравшись до Мальмезона, мы увидели объятый пламенем мост Шату: вокруг дворца была выставлена стража, и было благоразумно оставаться в пределах парковых стен. Я вошел в комнату императора и описал, каким предстал мне Париж; высказав общее мнение, что Фуше открыто предал Национальное дело; и что все патриоты надеются, что его Величество этой же ночью

присоединится к армии, которая громко призывает его. Император выслушал меня с видом глубокой задумчивости, но ничего не ответил, и вскоре после этого я удалился.

НАПОЛЕОН ПОКИДАЕТ МАЛЬМЕЗОН И ОТПРАВЛЯЕТСЯ В РОШФОР.

29-30-е гг. - возглас "Да здравствует император!" его постоянно слышали на большой дороге в Сен-Жермен; он исходил от войск, проходивших под стенами Мальмезона.

Ближе к полудню. Из Парижа прибыл генерал Беккер, присланный Временным правительством; он с чувством негодования сообщил нам, что получил задание охранять Наполеона и наблюдать за ним.^[3]

Этот выбор был продиктован самыми низменными чувствами: Фуше знал, что генерал Беккер затаил личную неприязнь к императору, и поэтому не сомневался, что найдет в первом человека, склонного к мести; но он был грубо обманут в своих ожиданиях, поскольку Беккер постоянно демонстрировал степень уважения и привязанности к императору, в высшей степени соответствующую его собственному характеру.

Между тем время поджимало. Собираясь в путь, император отправил через генерала Беккера послание Временному правительству, в котором предлагал встать во главе армии просто как частное лицо, добавив, что после отражения атаки Блюхера он продолжит свой путь. Получив отказ от этого предложения, мы покинули Мальмезон; император и часть его свиты отправились в Рошфор по дороге Тур; я и мой сын с господами Монтолоном, Планатом и Режиньи направились в Орлеан, как и два или три других экипажа. Мы добрались до этого места рано утром 30-го, а в Шательро добрались в полночь.

1-2июля. Мы проехали через Лимож 1-го в четыре часа пополудни, 2-го пообедали в Рошфуко и около семи добрались до Жарнака. Мы переночевали здесь из-за упрямства почтмейстера, который вынудил нас остаться до следующего дня.

3—й. - Мы не могли отправиться раньше пяти часов. Из-за плохого поведения почтмейстера, который, не удовлетворившись тем, что продержал нас всю ночь, прибегнул к тайным средствам, чтобы задержать нас еще дольше, мы были вынуждены медленным шагом проследовать в Коньяк, где почтмейстер и местные жители приняли нас совсем по-другому. Было легко заметить, что наше путешествие вызвало большое волнение среди всех участников. Добравшись до Сент к одиннадцати часам, мы чуть не пали жертвами ярости каких-то негодяев, схваченных офицером королевской гвардии, уроженцем тех мест. Этот человек подготовил для нас засаду и даже разработал план нашего убийства. Мы были арестованы толпой, но вмешалась часть национальной гвардии и отвела нас как пленников в соседнюю гостиницу. Говорили, что мы уносили государственные сокровища и поэтому заслуживали смерти. Некоторые из них, выдававшие себя за самых знатных жителей, и прежде всего за женщин, вели себя наиболее возмутительно и требовали нашей немедленной казни.

Мы видели, как эти женщины проходили одна за другой перед несколькими окнами, которые были открыты рядом с нашей временной тюрьмой, чтобы их оскорбления не ускользнули от нас. Вряд ли кто-нибудь поверит, что они зашли так далеко, что заскрежетали зубами в знак ненависти и досады при виде проявленного нами безразличия; и все же они образовали

модный кружок Святых! Мог ли быть прав Реал, когда во время "ста дней" он сказал императору, что что касается якобинцев, то у него были основания кое-что о них знать; протестуя против того, что единственная разница между черными и белыми заключается в том, что первые носят деревянные башмаки, а вторые шелковые чулки?

Принц Жозеф, который проезжал через неизвестный нам Сент, приехал, чтобы усилить интерес к нашему приключению. Он тоже был арестован и препровожден в префектуру, но пользовался большим уважением.

Окна гостиницы выходили на большую площадь, которая по-прежнему была заполнена возбужденным и враждебно настроенным сбродом, который вел себя крайне жестоко и оскорбительно. В лице заместителя префекта я нашел старого знакомого, который, таким образом, смог сообщить, кто мы такие. Затем был осмотрен вагон, в котором мы ехали; в то время как нас самих держали в своего рода одиночном заключении. Однако я получил разрешение навестить принца около четырех часов.

Когда я направлялся в префектуру, хотя меня охранял унтер-офицер, ко мне обратились несколько человек: некоторые тайком вложили мне в руки записки; другие прошептали что-то дружеское; при этом все единодушно заверили меня, что мы можем чувствовать себя совершенно спокойно, поскольку патриоты и благонамеренные жители защитят нас.

Ближе к вечеру нам разрешили уехать; и к этому времени все настолько изменилось, что мы покинули гостиницу под самые оживленные возгласы: женщины из низших сословий, заливаясь слезами, целовали нам руки; многие люди предлагали сопровождать нас, чтобы мы могли избежать встречи с врагами императора, которые, по их словам, подстерегали нас, чтобы убить, недалеко от города. Этот необычный переход возник в некоторой степени из-за прибытия большого числа сельских жителей и федералов, которые немедленно изменили общественное мнение.

4. При подходе к Рошфору мы встретили отряд жандармерии, который, получив сообщение о нашем приеме в Сент, был направлен нам навстречу. Мы прибыли на это место около двух часов ночи: император прибыл туда накануне вечером.^[4] Принц Джозеф прибыл во второй половине дня; когда я проводил его к императору.

Я воспользовался первой же свободной минутой, чтобы сообщить председателю Государственного совета, почему я отсутствую. “Быстрые и важные события, - сказал я, “вынудили меня покинуть Париж без необходимого отпуска. Особенность и важность этого дела привели к такой неправильности: находясь при императоре в момент его отъезда, было невозможно увидеть великого человека, который управлял нами с таким блеском и который сам отправился в изгнание, чтобы способствовать спокойствию Франции, от могущества которой теперь не осталось ничего, кроме ее славы и имени; повторяю, я не мог позволить ему уехать, не поддавшись желанию последовать по его стопам. В дни своего процветания он снизошел до того, чтобы оказать мне некоторые услуги; теперь я обязан ему всем, что могу предложить, будь то чувствами или действиями”.

5-7-й. В Рошфоре император снял военную форму. Он жил в префектуре; вокруг дома постоянно толпились люди, и приветствия продолжали часто повторяться. Император два или три раза появлялся на балконе. Ему были сделаны многочисленные предложения, как от генералов, которые приезжали лично, так и от других, которые присылали эмиссаров.

Во время нашего пребывания здесь император вел ту же жизнь, что и в Тюильри: мы не приближаемся к его особе чаще; он почти никого не принимает, кроме Бертрана и Савари; так что мы ограничиваемся сообщениями и догадками обо всем, что его касается. Однако очевидно, что посреди этого возбужденного состояния он остается спокойным и решительным, вплоть до безразличия, не проявляя ни малейшего беспокойства.

Лейтенант нашего военно-морского флота, командующий датским торговым судном, великодушно предложил спасти императора. Он предлагает взять его на борт одного; обязуется скрыть его личность таким образом, чтобы это ускользнуло от самого пристального внимания; и, более того, немедленно отплывет в Соединенные Штаты. Он требует лишь небольшую сумму в качестве возмещения своим владельцам любых убытков, которые они могут понести из-за его предприятия. Бертран соглашается на определенных условиях, которые он выписал на мое имя. Я подписал эту фиктивную сделку в присутствии и на глазах у морского префекта.

ПОСАДКА ИМПЕРАТОРА.

8. Вечером император отправился в Фуррас, сопровождаемый одобрительными возгласами народа, где бы он ни проходил. Он спал на борту Saal,^[5] которого он добрался около восьми часов. Я прибыл гораздо позже, так как мне пришлось сопровождать мадам Бертран на другой лодке и из другого пункта.

9. Я присутствовал при императоре, который рано сошел на берег на острове Экс: он осмотрел все укрепления и вернулся на борт к завтраку.

10—го. Ранним утром меня отправили к британским крейсерам с "Герцогом де Ровиго", чтобы узнать, получили ли они пропуска, обещанные нам Временным правительством, для проезда в Соединенные Штаты. Ответ был таков, что они этого не сделали, но что этот вопрос должен быть немедленно передан главнокомандующему. Высказав предположение о том, что император отправится в плавание с фрегатами под флагами перемирия, он получил ответ, что они будут атакованы. Затем мы заговорили о его путешествии на нейтральном корабле; в ответ нам сказали, что все нейтральные лица будут подвергнуты строгому досмотру и, возможно, даже доставлены в английский порт; но нам рекомендовали следовать в Англию; и было заявлено, что в этой стране нам нечего опасаться дурного обращения. Мы вернулись в два часа дня.

"Беллерофонт", следовавший за нами, вскоре бросил якорь на Баскских рейдах, чтобы быть поближе к нам; так что корабли обеих наций были теперь на виду и очень близко друг от друга.

По прибытии на "Беллерофонт" капитан обратился к нам по-французски: мне не хотелось сообщать ему, что я кое-что знаю из его родного языка. Некоторые выражения, которыми обменялись он и его офицеры, могли бы повредить переговорам, если бы мне показалось, что я их понял. Когда вскоре после этого меня спросили, понимаем ли мы по-английски, я позволил герцогу Ровиго ответить отрицательно. Нашего положения было вполне достаточно, чтобы устранить любые угрызения совести, которые я мог бы испытывать в противном случае, и сделать этот маленький обман вполне простительным. Я упоминаю об этом обстоятельстве только потому, что, пробыв две недели среди этих людей, я был вынужден наложить на себя утомительные ограничения, чтобы избежать раскрытия того, что я скрыл в первую очередь. На самом деле, хотя я мог читать на этом языке с легкостью, все же, из-за отсутствия тринадцати

лет и, как следствие, недостатка практики, я со значительным трудом понимал английский, когда на нем говорили.

11. Все торговые пути были блокированы английскими военными кораблями, и император, казалось, был крайне неуверен в том, какой план ему следует осуществлять. Для его перевозки были предложены нейтральные суда и *шассемари*,^[6] укомплектованные молодыми морскими офицерами; предложения также продолжали поступать изнутри.

12—го. - Император высадился на острове Экс под крики ликования со всех сторон. Он покинул фрегаты вследствие отказа коменданта отплыть; неизвестно, то ли по слабости характера, то ли из-за того, что получил новые приказы от Временного правительства. Многие придерживались мнения, что попытка может быть предпринята с некоторой вероятностью успеха, но следует признать, что ветры все еще оставались неблагоприятными.

13—е число. - Принц Джозеф посетил своего брата в течение дня. Около одиннадцати вечера император собирался сесть на одну из марийских лодок; две отплыли, имея на борту большую часть его багажа и нескольких сопровождающих. На одной из них находился г-н де Планат.

14—го. Я вернулся на "Беллерофонт" в четыре часа утра в сопровождении генерала Лальмана, чтобы убедиться, был ли получен какой-либо ответ. Капитан сказал нам, что ожидает этого с минуты на минуту; добавив, что, если император желает немедленно отплыть в Англию, у него есть инструкции доставить его туда. Далее он заявил, что это его частное мнение, и несколько присутствовавших капитанов высказались в том же духе, что не было ни малейшего сомнения в том, что Наполеона встретят со всем возможным уважением и хорошим обращением; что там ни король, ни его министры не пользовались такой же произвольной властью, как на Континенте; что английский народ обладал великодушием чувств и свободой мнений, превосходящими сам суверенитет. Я ответил, что вернусь и передам императору предложение Капитана, а также весь его разговор. Я добавил, что, как мне кажется, я достаточно хорошо знаю характер императора Наполеона, чтобы поверить, что он без особых колебаний отправится в Англию таким конфиденциальным образом, чтобы иметь возможность продолжить свое путешествие в Соединенные Штаты. Я описал всю Францию к югу от Луары как охваченную пламенем, и надежды народа как постоянно обращенные к Наполеону, пока он был рядом; рассказал о предложениях, которые ежечасно делались ему с разных сторон; о его решимости не становиться ни причиной, ни предлогом гражданской войны; о великодушии, проявленном им при отречении от престола только для того, чтобы облегчить заключение мира; и о твердом решении, которое он принял, - изгнать себя, чтобы сделать это более быстрым и полным.

Генерал Лальман, который, будучи приговоренным к смертной казни, сам был заинтересован в вынесении решения, спросил капитана Мейтленда, которого он раньше знал по Египту и чьим пленником, я думаю, он был, были ли у лиц, таких же, как он, замешанных в гражданских распрях в его стране и таким образом добровольно отправившихся в Англию, какие-либо основания опасаться, что их когда-либо выдадут Франции? Капитан ответил, что нет, отвергнув это сомнение как оскорбление. Перед нашим расставанием итоги совещания были подведены моим повторением, что, исходя из положения дел и его собственных намерений, император, возможно, воспользуется предложением капитана Мейтленда, чтобы получить охранные грамоты для Америки. Последний просил дать понять, что он не гарантирует получения разрешения, которого мы требовали, на что мы откланялись. По правде говоря, я сам не думал, что это будет дано; но император, желая в будущем вести спокойную жизнь, решил быть

чуждым политических забот; поэтому мы без особого беспокойства рассматривали вероятность того, что нам не разрешат покинуть Англию; но дальше наших страхов и догадок дело не пошло. Весьма вероятно, что капитан Мейтленд придерживался того же мнения: во всяком случае, я отдам ему, как и другим офицерам, справедливость и поверю, что они были честны и искренни в своем отчете о чувствах народа Англии.

Мы достигли острова в одиннадцать часов; между тем приближался шторм, и время становилось драгоценным: необходимо было решить так или иначе. Император собрал нас на своего рода совет, и были обсуждены все шансы на спасение: попытка к бегству с датского судна казалась невыполнимой, и о шассемаре больше не думали; английские крейсера нельзя было форсировать; так что, казалось, оставалось только две альтернативы — либо возобновить войну, либо принять предложения капитана Мейтленда: было выбрано последнее. Мы сказали, что, достигнув Беллерофонта, мы сразу окажемся на британской земле; англичане окажутся связанными узами гостеприимства, которые считаются священными среди самых варварских народов; мы также будем пользоваться гражданскими правами и привилегиями страны. Народ Англии не будет настолько равнодушен к своей славе, чтобы не ухватиться с жадностью за столь удачное обстоятельство: по этому поводу Наполеон написал принцу-регенту следующее письмо.

“Королевское высочество— столкнувшись с группировками, разделяющими мою страну, и враждебностью величайших держав Европы, я завершил свою политическую карьеру. Я пришел, подобно Фемистоклу, просить гостеприимства у британской нации. Я отдаю себя под защиту их законов, которых я требую от вашего королевского высочества как самого могущественного, самого постоянного и самого великодушного из моих врагов.

(Подпись) “Наполеон”.

Около четырех часов я отправился в путь с моим сыном и генералом Гурго, чтобы подняться на борт "Беллерофонта", откуда мне больше не суждено было вернуться. Моя миссия состояла в том, чтобы объявить, что его Величество прибудет на следующее утро; и, более того, вручить капитану Мейтленду процитированное выше письмо. Генералу Гурго было поручено немедленно доставить письмо императора принцу-регенту и вручить его лично. Капитан Мейтленд прочитал письмо Наполеона, которым он очень восхищался. Двум другим капитанам разрешили снять с него копии, которые должны были храниться в секрете до тех пор, пока письмо не будет обнародовано; после чего, не теряя времени, отправили Гурго на "Слэни", военном шлюпе, входившем в состав эскадры.

Вскоре после того, как "Слэни" расстался с "Беллерофонтом", и когда я сидел в капитанской каюте последнего с моим сыном, капитан Мейтленд, который ушел отдать какие-то распоряжения, внезапно вошел и с выражением глубокой озабоченности на лице воскликнул: “Граф Лас Касес, я обманут, когда веду переговоры с вами. Следствием отцепки одного из моих кораблей, как я только что услышал, является то, что Наполеон сбежал. Если это так, то я окажусь в ужасном положении перед моим правительством”. Эти слова поразили меня; я бы отдал весь мир, если бы они были правдой. Император не давал никаких обязательств; я был совершенно искренен и, следовательно, охотнее всего стал бы жертвой события, в котором я был совершенно невиновен. Я с предельным хладнокровием спросил капитана Мейтленда, в котором часу, как говорят, император отправился в путь. Он был так поражен, что не дал себе времени расспросить; но снова вышел, чтобы убедиться в этом, и, вернувшись, сказал: “В

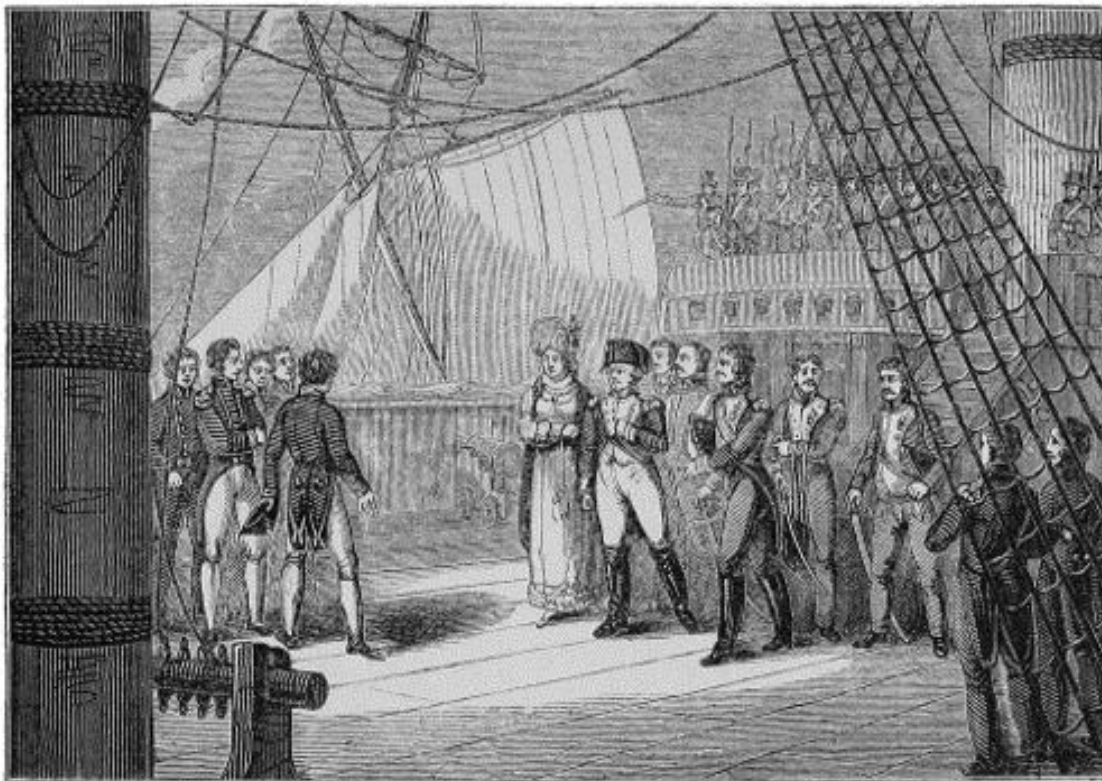
двенадцать часов”. - В таком случае, - ответил я, - отъезд "Слэни" не причинит вреда, поскольку вы только что отослали ее; но не беспокойтесь, потому что я оставил императора на острове Экс в четыре часа. “Вы меня в этом уверяете?” - спросил он. Когда я повторил это утверждение, он повернулся к нескольким офицерам, которые были с ним, и заметил по-английски, что разведданные, должно быть, ложные, поскольку я был слишком спокоен и казался искренним; и что я, кроме того, дал свое слово по этому поводу.

Английские крейсера располагали многочисленными источниками информации на нашем побережье: впоследствии я смог убедиться, что они были в курсе всех наших действий.^[7]

Теперь никто не думал ни о чем, кроме как готовиться к следующему дню. Капитан Мейтленд спросил, хочу ли я, чтобы за императором послали его шлюпки, и я ответил, что разлука была слишком болезненной для французских моряков, чтобы не позволить им иметь удовольствие сопровождать его до последней минуты.

ПОСАДКА НАПОЛЕОНА НА БОРТ "БЕЛЛЕРОФОНТА".

15—го. На рассвете один из наших бригов, "Эпервье", был замечен под грузом и направлялся к "Беллерофону" с развевающимся флагом перемирия. Поскольку ветер и прилив были противоположными, капитан Мейтленд направил свою баржу ей навстречу. Увидев возвращающуюся шлюпку, капитан был чрезвычайно озабочен тем, чтобы выяснить с помощью своей подзорной трубы, на борту ли император; он часто просил меня посмотреть самому, но я пока не мог ответить с уверенностью: наконец, вопрос был поставлен вне всяких сомнений, поскольку император подошел к борту в окружении всех своих приближенных. Я встал у трапа, чтобы представить капитана Мейтленда, которому он сказал: “Я прибыл на борт вашего корабля, чтобы отдать себя под защиту законов Англии”. Затем капитан провел его в свою каюту, которая была немедленно предоставлена императору. Вскоре после этого ему были представлены все офицеры "Беллерофонта"; эта церемония закончилась, он вышел из каюты и в течение утра посетил каждую часть корабля. Я рассказал о тревоге, которую капитан Мейтленд испытывал накануне вечером в связи со своим побегом; император не видел дело в том свете, в каком оно предстало мне— “Чего ему было бояться?” он спросил подчеркнуто и с достоинством: “Разве вы не были в его власти?”



НАПОЛЕОН НА БОРТУ "БЕЛЛЕРОФОНТА".

Лондон: Опубликовано для Генри Колберна, март 1836г.

Ближе к трем часам "Суперб", семидесятичетырехпушечный корабль под флагом контр-адмирала Хотэма, командующего станцией, бросил якорь недалеко от "Беллерофонта". Адмирал приехал навестить императора и остался обедать. Из вопросов, заданных Наполеоном относительно его корабля, следует, что он выразил желание узнать, соблаговолит ли его Величество подняться на борт на следующий день; на что император ответил, что у него нет возражений и поэтому он позавтракает с адмиралом в сопровождении всей его свиты.

16—го. - Сопровождал императора на борту "Превосходного": все почести, за исключением стрельбы из пушек, были щедро оказаны; мы обошли корабль и осмотрели самые незначительные предметы; казалось, все было в прекрасном порядке. Адмирал Хотэм во всем проявлял утонченность и изящество человека высокого ранга и образованного. По возвращении на "Беллерофонт" он прошел взвешивание и отплыл в Англию: это событие произошло через двенадцать дней после нашего отъезда из Парижа. Был почти штиль.

Когда мы утром покидали "Беллерофонт", чтобы навестить "Превосходного", император резко остановился перед караулом, выстроенным на шканцах, чтобы отдать ему честь. Он заставил их выполнить несколько движений, сам отдавая команды; пожелав, чтобы они зарядили штыки, и заметив, что это движение было выполнено не совсем на французский манер, он прошел в гущу солдат, отложил оружие в сторону руками и схватил мушкет у одного из задних рядов, с которым сам проделал упражнение по нашему методу. Внезапное движение и перемена в выражении лиц офицеров и других присутствующих в достаточной степени выразили их изумление при виде того, как император столь небрежно подставил себя под английские штыки, некоторые из которых соприкоснулись с его персоной. Это обстоятельство произвелосамый поразительный

эффект. По возвращении из "Превосходного" нас косвенно расспросили об этом предмете и спросили, поступал ли когда-нибудь император подобным образом со своими собственными солдатами; при этом было выражено величайшее удивление по поводу его уверенности. Ни один из офицеров не имел ни малейшего представления о властителях, которые могли бы таким образом объяснять и выполнять свои собственные приказы; поэтому легко было заметить, что они не имели правильного представления о персонаже, стоявшем сейчас перед ними, несмотря на то, что он был столь заметным объектом внимания и любопытства более двадцати лет.

17-18-го. Несмотря на почти полное затишье, мы потеряли землю из виду.

19—го. Ветер был очень сильный, хотя и не благоприятный, и мы двигались со скоростью девять миль в час.

20-22 дня. Мы продолжали наш курс при ветре, который ни в коем случае не был благоприятным.

Император недолго был среди своих самых закоренелых врагов, тех, кого постоянно подпитывали слухами, не менее абсурдными, чем раздражающими, прежде чем он приобрел на них все то влияние, которое принадлежит славе. Капитан, офицеры и команда вскоре переняли этикет его свиты, проявляя к нему точно такое же внимание и уважение; капитан обращался к нему либо *Сир* либо *ваше Величество*; когда он появлялся на палубе, все снимали шляпы и оставались непокрытыми, пока он присутствовал — поначалу этого не было. Войти в его каюту можно было только минуя обслуживающий персонал: за его столом не появлялось никого, кроме тех, кто был приглашен. Наполеон был, по сути, императором на борту "Беллерофонта". Он часто появлялся на палубе, беседуя либо с кем-то из своей свиты, либо с офицерами корабля.

Из всех, кто сопровождал императора, я был, пожалуй, человеком, о котором он знал меньше всего; уже было видно, что, несмотря на мою службу рядом с Наполеоном, я мало общался непосредственно с ним; с тех пор как мы покинули Париж, он почти не разговаривал со мной, но теперь ко мне обращались очень часто.

Случай и обстоятельства были в высшей степени благоприятны для меня: я был достаточно знаком с английским языком, чтобы иметь возможность давать различные объяснения тому, что происходило вокруг нас. Я служил на флоте и мог предоставить императору любую информацию, которая ему требовалась, относительно маневров корабля и состояния погоды. Я прожил в Англии десять лет и составил определенные представления о законах, манерах и обычаях местного народа, что позволило мне с легкостью отвечать на вопросы императора. В моем Историческом атласе также хранилось множество фактов, дат и совпадений, на которые он всегда находил у меня готовый ответ.

Часть моего времени была занята составлением следующего краткого отчета о нашем положении в Рошфоре и идеях, повлиявших на решимость императора. Следовательно, у меня были точные и достоверные данные для суждения.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ, ПРОДИКТОВАННОЕ САМИМ НАПОЛЕОНОМ.

Английская эскадра не была сильной: у Бордо стояли два военных шлюпа, они блокировали французский корвет и давали отпор американским судам, которые ежедневно выходили в море

в большом количестве. У острова Экс у нас было два хорошо вооруженных фрегата; корвет "Вулкан", одно из крупнейших судов своего класса, и большой бриг стояли на рейде; все эти силы были блокированы английским семидесятичетырехпушечным судном самого маленького класса и одним-двумя шлюпами. Нет ни малейшего сомнения в том, что, рискнув пожертвовать одним или двумя нашими кораблями, мы прошли бы мимо, но старшему капитану не хватило решимости, и он отказался плыть; второй командир был настроен весьма решительно и предпринял бы попытку: первый, вероятно, получил секретные инструкции от Фуше, который уже открыто предал императора, и хотел выдать его. Как бы то ни было, морем ничего нельзя было сделать. Затем император высадился на острове Экс.

“Если бы эта миссия была поручена адмиралу Верхуэлю, - сказал Наполеон, - как было обещано при нашем отъезде из Парижа, вполне вероятно, что он бы отплыл”. Офицеры и команды обоих фрегатов были полны привязанности и энтузиазма. Гарнизон Экса состоял из полутора тысяч моряков, что составляло прекрасный полк; офицеры были так возмущены тем, что фрегат не ходит под парусами, что предложили снарядить две шассемарии водоизмещением по пятнадцать тонн каждая: мичманы хотели управлять ими; но когда этот план был приведен в исполнение, было сказано, что будет очень трудно достичь американского побережья, не заходя в какой-нибудь пункт Испании или Португалии.

В этих обстоятельствах император созвал нечто вроде совета из числа лиц своей свиты: здесь было заявлено, что мы больше не можем рассчитывать на фрегаты или другие вооруженные суда; что шассемарийцы не имеют никаких шансов на успех и могут привести только к захвату английскими крейсерами в открытом море или к попаданию в руки союзников: оставались только две альтернативы; двигаться вглубь страны, еще раз испытать судьбу с оружием в руках; или искать убежища в Англии. В продолжение первого было полторы тысячи моряков, полных рвения и желания действовать: комендантом острова был старый офицер египетской армии, всецело преданный Наполеону: император проследовал бы во главе их в Рошфор, где корпус был бы увеличен за счет гарнизона, который также был чрезвычайно хорошо расположен: гарнизон Ла-Рошели, состоящий из четырех батальонов федеративных войск, предложил свои услуги: с ними мы могли бы тогда присоединиться к генералу Клозелю, столь прочно стоявшему во главе армии в Бордо, или к генералу Клозелю, столь прочно стоявшему во главе армии в Бордо. Ламарк, совершивший чудеса при Вандее; оба этих офицера ожидали встречи с Наполеоном и желали ее: было бы очень легко поддерживать гражданскую войну во внутренних районах страны. Но Париж был взят, и Палаты были распущены; кроме того, во Франции находилось от пятисот до шестисот тысяч неприятельских войск; следовательно, гражданская война не могла иметь иного результата, кроме как привести к уничтожению всех этих великодушных людей, которые были преданы Наполеону. Эта потеря была бы серьезной и непоправимой: она уничтожила бы будущие ресурсы нации, не принесла никаких других преимуществ, кроме предоставления императору возможности рассматривать условия, отвечающие его интересам, и добиваться их выполнения. Но Наполеон отказался от суверенитета; он хотел только спокойного убежища; ему претила мысль о том, что все его друзья погибнут ради достижения столь ничтожного результата; он также не хотел становиться предлогом для разорения провинций; и, прежде всего, он не хотел лишать национальную партию ее самой верной поддержки, которая рано или поздно восстановила бы честь и независимость Франции. Единственным желанием Наполеона было в будущем жить как частное лицо: Америка была самым подходящим местом по его выбору. Но даже Англия с ее позитивными законами также могла бы ответить; и, судя по характеру моей первой беседы с

капитаном Мейтлендом, последний был уполномочен доставить императора и свиту в Англию для справедливого обращения. С этого момента мы находились под защитой британских законов; и народ Англии слишком любил славу, чтобы упустить представившуюся таким образом возможность, которая должна была стать самой гордой страницей его истории. Поэтому было решено сдаться английским крейсерам, как только капитан Мейтленд положительно объявит о своем приказе принять нас. Возобновив переговоры, он ясно заявил, что у него есть полномочия от своего правительства принять императора, если он поднимется на борт "Беллерофонта", и доставить его, а также его свиту, в Англию. Наполеон поднялся на борт не потому, что его вынудили к этому события, поскольку он мог бы остаться во Франции; но потому, что он хотел жить как частное лицо, не хотел больше вмешиваться в государственные дела и решил не вмешивать в них Францию. Он, несомненно, не принял бы этот план, если бы подозревал о недостойном обращении, которое ему готовилось, в чем каждый человек легко убедится. Его письмо принцу-регенту полностью объясняет его уверенность и убежденность в этом вопросе. Капитан Мейтленд, которому это было официально сообщено до того, как император поднялся на борт своего корабля, не сделал никаких замечаний по вышеупомянутому документу, и только благодаря этому обстоятельству признал и санкционировал содержащиеся в нем чувства.

23—го. - Видели Ушант в четыре утра, миновав его ночью. С момента приближения к Ла-Маншу были замечены линейные корабли и фрегаты, плывущие в разных направлениях. Побережье Англии было обнаружено ближе к вечеру.

24—го. Мы бросили якорь в Торбее около восьми часов утра; император встал в шесть и отправился на ют, откуда осмотрел побережье и якорную стоянку. Я остался рядом с ним, чтобы дать объяснения, которые он требовал.

Капитан Мейтленд немедленно отправил гонца к лорду Кейту, главнокомандующему в Плимуте. Генерал Гурго вернулся к нам: он был вынужден отдать письмо принцу-регенту; ему не только отказали в разрешении на посадку, но и запретили всякую связь. Это было дурным предзнаменованием и первым признаком тех бесчисленных невзгод, которые последовали за этим.

Как только стало известно, что император находится на борту "Беллерофонта", бухта покрылась судами и лодками, полными людей. Владелец прекрасного загородного дома, расположенного в виду корабля, прислал его Величеству в подарок различные виды фруктов.

25-го.—Шествие лодок и толпы зрителей продолжались без перерыва. Император наблюдал за ними из окон каюты и иногда показывался сам на палубе. По возвращении с берега капитан Мейтленд вручил мне письмо от леди К., к которому было приложено еще одно от моей жены. Мое удивление было крайним и не меньшим, чем удовлетворение; но первое прошло, когда я сообразил, что длительность перехода дала французским газетам время передать отчет о случившемся на значительное расстояние, так что все, что касалось императора и его свиты, уже было известно в Англии, где нас даже ожидали пять или шесть дней назад. Моя жена поспешила поговорить по этому поводу с леди К., и последняя написала капитану Мейтленду, которому она приложила мои письма, не зная его.

Письмо моей жены выражало чувство нежной скорби; но письмо леди К., которая, находясь в Лондоне, узнала о нашей будущей судьбе, было полно упреков— "Я не был сам себе хозяином,

чтобы так распоряжаться собой; это было преступлением - бросить жену и детей” и т. Д. Печальный результат наших современных систем образования, которые так мало способствуют возвышению наших умов, что мы не можем постичь ни достоинства, ни очарования героических решений и жертв! Мы думаем, что все было сказано и каждая просьба оправдана, когда выдвигается угроза частным интересам и домашним удовольствиям, — не представляя, что первейший долг по отношению к жене - создать ей почетное положение, и что самое богатое наследство, которое мы можем оставить нашим детям, - это пример некоторых добродетелей и имя, с которым связана толика истинной славы.

26—го. - Ночью поступил приказ кораблю немедленно возвращаться в Плимут: отплыв рано утром, мы достигли нашего нового пункта назначения в четыре часа дня, через десять дней после нашего отплытия из Рошфора, через двадцать семь после выхода из Парижа и через тридцать пять после отречения императора. С этого дня наш горизонт сильно затянуло тучами. Вокруг корабля были расставлены вооруженные шлюпки; тех, кого привлекло любопытство, отгоняли, даже стреляя в них из ружей. Лорд Кейт, находившийся в бухте, не поднялся на борт. Два фрегата подали сигнал к немедленному отплытию; нам сказали, что чрезвычайный курьер доставил депеши для отдаленной страны. Утром часть нашей группы была распределена по другим судам. Казалось, теперь все взирали на нас с угрюмым интересом; до корабля дошли самые зловещие слухи; было упомянуто несколько мест назначения, одно страшнее другого.

Заключение в Лондонском Тауэре было наименее ужасающим, и некоторые говорили о острове Святой Елены. Тем временем два фрегата, которые сильно привлекли мое внимание, снялись с якоря, хотя ветер был встречный для того, чтобы покинуть рейд, подошли к нам и встали на якорь по обоим бортам, почти касаясь "Беллерофонта". После этого какой-то человек шепнул мне, что эти корабли должны были принять нас ночью и отплыть на остров Святой Елены.

Я никогда не смогу передать эффект, произведенный этими ужасными словами! Холодный пот выступил по всему моему телу: это был неожиданный смертный приговор! Безжалостные палачи схватили меня: я был оторван от всего, что связывало меня с жизнью. Я горестно простираю руки к тем, кто был мне дорог, но напрасно; моя участь была неизбежна! Эта мысль вместе с толпой других, возникших в таком же беспорядке, вызвала настоящую душевную бурю. Это было похоже на борьбу души, стремящейся вырваться из своего земного обиталища! От этого у меня поседел волосы! - К счастью, кризис был непродолжительным, и, как оказалось, разум восторжествовал; да так, что с этого момента я казался выше всего мира. Я почувствовал, что отныне могу бросить вызов несправедливости, жестокому обращению и страданиям. Прежде всего, я поклялся, что ни жалобы, ни просьбы не должны ускользать от меня. Но пусть те из моих товарищей, которым я казался спокойным в тех роковых обстоятельствах, не обвиняют меня в недостатке чувств! Их агония была продолжительной в деталях — моя сработала сразу.

Вскоре после этого мне вспомнилось одно из таких совпадений, не самое экстраординарное в моей жизни. Двадцать лет назад, во время моей эмиграции в Англию, не обладая никакими мирскими благами, я отказался искать определенного счастья в Индии, потому что она была слишком отдаленной, а я считал себя слишком старым. Теперь, когда я стал на двадцать лет старше, я был готов бросить свою семью, друзей, состояние и удовольствия, чтобы стать добровольным изгнанником за две тысячи миль отсюда, посреди океана, *ни за что*. Но нет, я ошибаюсь! чувство, которое сейчас руководило мной, было бесконечно выше богатств,

которыми я тогда пренебрегал: я сопровождал того, кто правил миром и будет привлекать внимание потомков.

Император, как обычно, продолжал появляться на палубе. Иногда я видел его в его каюте, но не сообщал о том, что слышал: я хотел утешить его, а не быть его мучителем. Слухи, однако, дошли до него: но он так свободно и уверенно поднялся на борт "Беллерофонта"; он был так настойчиво приглашен самими англичанами; он так безоговорочно рассматривал свое письмо принцу-регенту, переданное лично капитану Мейтленду, как молчаливое условие; он, фактически, действовал с таким великодушием на протяжении всего процесса, что с негодованием отвергал все страхи, которые пытались в нем возбудить, даже не позволяя окружающим сомневаться.

27-28—е. Было бы трудно описать наши муки и тревогу в этот момент: большинство из нас были немыми и неодошевленными. Малейшее обстоятельство— которое становилось известно с берега, мнение, каким бы незначительным оно ни было, высказанное на борту, ничего не значащая заметка в ежедневной газете становились предметом наших самых серьезных споров и причиной постоянных колебаний между нашими надеждами и страхами. Самые незначительные сообщения разыскивались с жадностью; любого, кто появлялся, убеждали изложить благоприятную версию обманчивых ожиданий: так мало энтузиазма и активности нашего национального характера способствуют тому, чтобы наделить нас той стоической покорностью, тем невозмутимым спокойствием, которые можно приобрести только благодаря устоявшимся принципам и позитивным доктринам, усвоенным с раннего детства.

Против нас были выпущены общественные газеты, особенно министерские; это был протест министров, готовивших удар, который они собирались нанести. Было бы нелегко составить представление об ужасах, лжи и проклятиях, накопившихся на наши головы; и всегда есть часть, доведенная до сведения толпы, какой бы благожелательной она ни была, так что поведение окружающих нас людей стало менее непринужденным, в то время как их вежливость стала смущенной, а выражения лиц - более сдержанными.

Лорд Кит, объявивший о себе некоторое время назад, появился совсем недавно. Было очевидно, что нашей компании избегали, нашего разговора избегали. Бумаги содержали отчет о мерах, которые должны были быть приняты; но, поскольку ничего официального не появилось, и в деталях были некоторые противоречия, мы были вынуждены льстить себе относительно конечного результата: таким образом, оставаясь в том состоянии неизвестности, которое хуже, чем знание самых болезненных истин. Тем не менее, наше прибытие в Англию произвело необычную сенсацию: присутствие императора возбудило любопытство, граничащее с безумием. Сами газеты сообщили нам об этом обстоятельстве, хотя и осудили его. Казалось, вся Англия спешит в Плимут. Человек, выехавший из Лондона, услышав о моем приезде, был вынужден остановиться по дороге из-за нехватки почтовых лошадей и ночлега. Пролив был покрыт огромным количеством лодок, за некоторые из которых, как мы слышали, было заплачено более пятидесяти фунтов.

Император, которому я читал все газеты, не выказывал ни малейшего ослабления самообладания ни своим разговором, ни общими привычками. Было известно, что он всегда появлялся на палубе к пяти часам. Незадолго до этого часа все лодки собрались рядом друг с другом; их были тысячи; и они были так тесно связаны, что воды между ними уже не было видно; они больше походили на толпу, собравшуюся на общественной площади, чем на что-либо

другое. Когда император вышел, шум и жестикуляция стольких людей представляли собой самое поразительное зрелище: в то же время было очень легко понять, что ничего враждебного не подразумевалось, и что, если их привело любопытство, они почувствовали интерес, уходя; мы даже могли видеть, что последнее чувство продолжало усиливаться; сначала люди просто смотрели в сторону корабля, в конце отдавали честь; некоторые оставались непокрытыми и иногда заходили так далеко, что приветствовали. Среди них начали появляться даже наши символы. Несколько человек обоего пола пришли, украшенные красными гвоздиками, но в глазах Министерства и его сторонников это обернулось только во вред нам, так что наши страдания стали еще острее.

Именно при таких обстоятельствах император, который, несмотря на свое спокойное поведение, не мог не быть поражен услышанным, продиктовал мне документ, достойный служить образцом для юристов, в котором обсуждалось и защищалось его реальное политическое положение; мы нашли способ передать его на берег, но у меня не сохранилось копии.

МИНИСТЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ.

29-30—е число. За два предыдущих дня распространилось сообщение о том, что заместитель государственного секретаря прибывает из Лондона, чтобы официально уведомить о решениях министров в отношении императора. Соответственно, он появился; это был сэр Чарльз Банбери: он поднялся на борт в сопровождении лорда Кейта и доставил депешу, приказывающую перевезти императора на остров Святой Елены и ограничивающую число лиц, которые должны были сопровождать Наполеона, тремя, исключая, однако, герцога де Ровиго и генерала Лальманда, включенных в список запрещенных.

Я не был вызван к императору. Исполнители приговора говорили по-французски и понимали его; их впустили поодиночке. С тех пор я слышал, что он возражал не менее энергично, чем логически, против насилия, совершенного над его личностью. “Он был гостем Англии, - сказал он, - а не ее пленником; он прибыл по собственному желанию, чтобы отдать себя под защиту ее законов; в его лице были нарушены самые священные права гостеприимства; он никогда бы добровольно не подчинился оскорблению, которым ему угрожали; только насилие могло обязать его сделать это и т. Д.”

Император дал мне для перевода министерский документ, копия которого приводится ниже:

СООБЩЕНИЕ, СДЕЛАННОЕ ЛОРДОМ КИТОМ ОТ ИМЕНИ АНГЛИЙСКИХ МИНИСТРОВ.

“Поскольку генералу Бонапарте, возможно, будет удобно узнать без дальнейшего промедления о намерениях британского правительства в отношении него, ваша светлость сообщит следующую информацию:

“Было бы несовместимо с нашим долгом по отношению к нашей стране и союзникам его Величества, если бы генерал Бонапарт располагал средствами, позволяющими снова нарушить покой Европы. Именно по этой причине становится абсолютно необходимым ограничить его личную свободу в той мере, в какой этого требует вышеупомянутая важная цель.

“На острове Святой Елены был выбран в качестве своего будущего места проживания; климат здоров, и его локальное положение позволит его лечить больше снисхождения, чем могли быть допущены в каком-нибудь другом месте, из-за необходимой предосторожности, которые было бы необходимо применять для обеспечения безопасности его персоны.

“Генералу Бонапарте разрешается выбрать из числа лиц, сопровождавших его в Англию (за исключением генералов Савари и Лаллемана) трех офицеров, которые вместе с его врачом получают разрешение сопровождать его на остров Святой Елены; этим лицам не будет разрешено покинуть остров без санкции британского правительства.

“Контр-адмирал сэр Джордж Кокберн, назначенный главнокомандующим на мысе Доброй Надежды и в прилегающих морях, доставит генерала Буонапарте и его свиту на остров Святой Елены; и он получит подробные инструкции относительно исполнения этой обязанности.

“Сэр Г. Кокберн, скорее всего, будет готов к отплытию через несколько дней; по этой причине желательно, чтобы генерал Бонапарте без промедления сделал выбор лиц, которые должны сопровождать его”.

Хотя мы ожидали, что нас доставят на остров Святой Елены, это объявление произвело на нас глубокое впечатление: оно повергло всех нас в состояние оцепенения. Император, однако, не преминул появиться на палубе, как обычно, с тем же выражением лица; и, как и прежде, спокойно оглядел толпу, которая, казалось, так жаждала его увидеть.

31—е число. - Теперь наше положение стало поистине ужасным; наши страдания не поддавались никакому описанию; наше существование было готово прекратиться в отношении Европы, нашей страны, семей и друзей, а также наших удовольствий и привычек. Это правда, нас не заставляли следовать за императором; но наш выбор был выбором мучеников; вопрос заключался в отречении от веры или смерти. Добавилось еще одно обстоятельство, которое значительно усилило наши мучения; это было исключение генералов Савари и Лальманда, которых это повергло в крайний ужас; они не видели перед собой ничего, кроме эшафота, и были убеждены, что министры Англии, не делая различия между политическими актами революции и преступлениями, совершенными в минуту спокойствия, выдадут их своим врагам на заклятие. Это было бы таким нарушением всех законов, таким позором для самой Англии, что можно было бы почти поддаться искушению вызвать ее на это; но так могли говорить только те, кто подпадал под тот же запрет. Во всяком случае, мы без колебаний пожелали, чтобы каждый из нас был среди тех, кого выберет император; у нас был только один страх - оказаться исключенными.

1 августа.— Мы все еще продолжали в том же состоянии. Я получил письмо из Лондона, в котором меня настойчиво убеждали, что я был бы крайне неправ, более того, что было бы даже преступлением эмигрировать самому. Человек, написавший таким образом, также обратился к капитану Мейтленду, умоляя его помочь своими усилиями и советом отговорить меня от такого решения. Но я резко остановил его, заметив, что в моем возрасте люди обычно действуют обдуманно.

Я каждый день читаю императору газеты. То ли под влиянием великодушия, то ли из-за того, что мнения начали разделяться, среди нас было двое, которые с большой теплотой отстаивали

наше дело, в какой-то мере компенсируя грубую ложь и непристойные оскорбления, которыми были полны остальные. Мы тешили себя надеждой, что ненависть, внушаемая врагом, сменится интересом, который, естественно, должны вызывать блестящие действия; что Англия изобилует благородными сердцами и возвышенными умами, которые, несомненно, станут нашими горячими защитниками.

Количество лодок увеличивалось с каждым днем. Наполеон продолжал появляться в свое обычное время, и прием становился все более лестным.

За императором следовали люди всех рангов и состояний; для большинства из нас он все еще оставался как бы в Тюильри; только великий маршал и герцог де Ровиго видели его постоянно. Некоторые подходили к нему и разговаривали с ним не чаще, чем если бы мы были в Париже. Меня вызывали в течение дня, когда требовалось перевести какие-либо бумаги или письма, пока император незаметно не приобрел привычку посылать за мной каждый вечер около восьми часов, чтобы я побеседовал с ним короткое время.

В разговоре этим вечером, коснувшись различных других тем, он спросил меня, не хотел бы я сопровождать его на остров Святой Елены. Я ответил с величайшей откровенностью, облегченной моими истинными чувствами, заметив его Величеству, что, покидая Париж, я пренебрег всеми шансами; и что, следовательно, на острове Святой Елены нет ничего, что могло бы сделать его исключением. Однако вокруг него собралось очень много нас, в то время как выходить разрешили только троим. Поскольку некоторые люди считали преступлением с моей стороны оставить свою семью, было необходимо в отношении последней и моей собственной совести знать, что я могу быть полезен и приятен ему — что, фактически, я требовал, чтобы меня выбрали; но что это последнее замечание не проистекало из каких-либо скрытых мотивов, поскольку моя жизнь отныне была в его распоряжении без каких-либо ограничений.

Во время этого занятия мадам Бертран, не будучи вызванной и даже не назвав своего имени, ворвалась в каюту и в исступлении умоляла императора не ехать на остров Святой Елены и не брать с собой ее мужа. Но, заметив изумление, хладнокровие и спокойный ответ Наполеона, она выбежала так же стремительно, как и вошла. Император, все еще удивленный, повернулся ко мне и сказал: “Ты можешь понять все это? Разве она не сумасшедшая? Мгновение спустя послышались громкие крики, и все, казалось, побежали к корме корабля. Когда меня попросили позвонить в колокольчик и узнать причину, я узнал, что мадам Бертран, выйдя из каюты, попыталась броситься в море, но с величайшим трудом была предотвращена. По этой сцене легко судить о наших чувствах!

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА ИМПЕРАТОРА.

2d-3d. Утром герцог де Ровиго сказал мне, что я непременно отправлюсь на остров Святой Елены: незадолго до этого в разговоре с императором его величество сказал ему, что, если бы его сопровождали только двое, я все равно был бы одним из них, поскольку он думал, что я мог бы дать ему некоторое утешение. Я в долгу перед откровенностью и добротой герцога за удовлетворение от ознакомления с этим лестным заверением и искренне благодарен,

поскольку, если бы не он, я никогда бы об этом не узнал. Император не сказал ни слова в ответ на мой ответ; таков был его обычай, как я еще буду иметь возможность показать.

У меня не конкретное знакомство с любым из тех, кто следовал за императором, за исключением генерал и Мадам Бертран, который указал мне великий ~~внимание~~ **внимание** во время моей миссии в Иллирии, где он был наместником. До тех пор я никогда не разговаривал с герцогом де Ровиго, поскольку определенные предчувствия заставляли меня держаться на расстоянии; однако едва мы обменялись несколькими словами, как мои угрызения совести были полностью устранены. Савари был искренне привязан к императору; я знал, что он обладал теплотой сердца, искренностью и прямоот характера - качествами, которые делали его восприимчивым к настоящей дружбе; поэтому, я осмелюсь сказать, мы должны были стать очень близки.

За мной снова послал император, который, коснувшись разных предметов, заговорил о Святой Елене, спрашивая меня, что это за место и возможно ли там существовать? и тому подобные вопросы. “Но, ” сказал он, “ в конце концов, вполне ли я уверен, что поеду туда? Зависит ли человек от других, когда он хочет, чтобы его зависимость прекратилась?” — Мы продолжали ходить взад и вперед по каюте; он казался спокойным, хотя и взволнованным, и несколько отсутствующим.

“Друг мой, ” продолжал император, “ иногда у меня возникает мысль уйти от вас, и это было бы не очень трудно; необходимо только вызвать небольшое умственное возбуждение, и я скоро спасусь.— Все будет кончено, и тогда вы сможете спокойно воссоединиться со своими семьями. Это тем легче, что мои внутренние принципы не препятствуют этому: я один из тех, кто считает, что страдания другого мира были лишь вообразены как противовес тем неадекватным соблазнам, которые предлагаются нам там. Бог никогда не пожелал бы такого противоречия своей бесконечной доброте, особенно для поступка такого рода; и что это, в конце концов, как не желание вернуться к нему немного раньше?”

Я горячо протестовал против подобных представлений. Поэты и философы говорили, что это зрелище, достойное Божества, - видеть, как люди борются с судьбой: неудачи и постоянство имели свою славу. Такой великий и благородный персонаж, как он, не мог опуститься до уровня вульгарных умов; тот, кто с такой славой правил нами, кто вызывал восхищение и влиял на судьбы мира, не мог кончить подобно отчаянному игроку или разочарованному любовнику. Что тогда стало бы со всеми теми, кто смотрел на него снизу вверх и возлагал на него свои надежды? Неужели он таким образом оставил бы поле боя своим врагам? Тревоги, которую последний подтолкнул его к этому, было, несомненно, достаточно, чтобы заставить его сопротивляться: кто мог разгадать тайны времени или осмелиться утверждать, что принесет будущее? Чего только не может произойти из-за простой смены министерства, смерти принца, наперсника, малейшей страсти или самого пустякового спора?

“Некоторые из этих предложений имеют вес, ” сказал император, “ но что мы можем сделать в этом пустынном месте?” — “Сир, - ответил я, - мы будем жить прошлым: в нем достаточно того, что удовлетворяет нас. Разве мы не наслаждаемся жизнью цезаря и Александра? Мы будем обладать еще большим, вы сами прочтете, сир!” “Пусть будет так!” - ответил Наполеон. “Мы напишем наши мемуары. Да, мы должны найти себе занятие, ибо занятие - это коса времени. В конце концов, человек должен исполнять свое предназначение; это моя великая доктрина: ^[8]

пусть! С этого момента вновь приняв вид непринужденный и даже веселый, он перешел к темам, совершенно не связанным с нашей ситуацией.

ОТПЛЫТИЕ ИЗ ПЛИМУТА.—ПРОДОЛЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ В Ла—МАНШЕ.-ПРОТЕСТ.

4.ночью поступил приказ отплыть рано утром; мы подняли паруса, и это обстоятельство сильно озадачило нас. Из газет, официальных сообщений и частных разговоров мы узнали, что нас должен был доставить на остров Святой Елены "Нортумберленд": мы знали, что этот корабль все еще доукомплектовывался в Портсмуте или Чатеме, так что мы все еще могли рассчитывать на задержку в восемь-десять дней. "Беллерофонт" был слишком стар для такого путешествия, на нем не хватало провизии; к тому же дул встречный ветер; поэтому, когда мы увидели корабль, возвращающийся вверх по Ла-Маншу, наши сомнения и догадки возобновились, но какими бы они ни были, все было желанным по сравнению с идеей транспортировки на остров Святой Елены.

Тем не менее нам пришло в голову, что в такой решающий момент император был обязан официально выступить против этого насилия; что касается самого Наполеона, то он придавал этому мало значения и не стал бы беспокоиться по этому поводу. Однако, сказали мы, это будет оружием в руках наших друзей и оставит у общественности повод для памяти, а также основания для защиты. Поэтому я рискнул прочесть документ, который я подготовил для его величества, общим смыслом которого он, казалось, остался доволен; после исключения нескольких фраз и исправления других он был подписан и отправлен лорду Киту. Ниже приводится дословная копия этого документа.

ПРОТЕСТУЮ.

“Настоящим я торжественно протестую перед лицом небес и человечества против насилия, которому меня подвергают, и нарушения моих самых священных прав, заключающегося в насильственном лишении меня личности и свободы. Я добровольно поднялся на борт "Беллерофонта" - я не пленник, я гость Англии. Я прибыл по наущению самого капитана, который сказал, что у него есть приказ от правительства принять и доставить меня в Англию вместе с моей свитой, если я не возражаю. Я с уверенностью заявил, что нахожусь под защитой законов Англии. Оказавшись на борту "Беллерофонта", я имел право на гостеприимство британского народа. Если правительство, отдавая капитану "Беллерофонта" приказ принять меня и моих спутников, только хотело расставить ловушку, оно утратило свою честь и опозорило свой флаг.

“Если этот акт будет доведен до конца, англичанам впредь будет напрасно говорить о своей искренности, своих законах и свободах. Британская вера будет утрачена из-за гостеприимства "Беллерофонта".

“Я обращаюсь к истории: она скажет, что враг, который двадцать лет вел войну против английского народа, пришел спонтанно, в час несчастья, искать убежища по их законам. Какое еще более поразительное доказательство своего уважения и уверенности он мог привести? Но как Англия ответила на такой акт великодушия? Оно притворилось, что протягивает руку гостеприимства этому врагу; и, самоуверенно сдавшись, он был принесен в жертву!

(Подпись) “Наполеон”.

"Беллерофонт" в море, пятница, 4 августа 1815 года.

Герцог де Ровиго сказал мне, что император потребовал разрешения отправить меня к принцу-регенту в Лондон, но получил упорный отказ.

Море было беспокойным, и дул сильный ветер. Большинство из нас страдали морской болезнью. Но на что не может повлиять преобладание ума над физическими недостатками! Это был, пожалуй, единственный раз в моей жизни, когда мне не мешала такая погода. Покинув Плимут-Саунд, мы повернули на восток по ветру, но вскоре нас сильно потянуло, и мы лавировали взад и вперед, не будучи в состоянии понять причину этого нового источника мучений.

5.—Весь этот день прошел в том же духе. Во время беседы с императором тем вечером он дал мне два подтверждения доверия, но сейчас я не могу передать их на бумаге.^[9]

БРОСИЛ ЯКОРЬ У СТАРТОВОЙ ТОЧКИ.—ЛИЦАМ, ДОПУЩЕННЫМ К СОПРОВОЖДЕНИЮ ИМПЕРАТОРА.

6. Около полудня мы бросили якорь недалеко от Начальной точки, где не было никакого укрытия, хотя нам оставалось пройти совсем небольшое расстояние, чтобы бросить якорь в Торбее: это обстоятельство вызвало большое удивление с нашей стороны. Мы, однако, слышали, что был отдан приказ встретить "Нортумберленд", отправление которого из Портсмута требовалось со всей возможной поспешностью. Соответственно, этот корабль вскоре появился с двумя фрегатами, полными войск, которые должны были составить гарнизон острова Святой Елены. Эти три корабля бросили якорь недалеко от нас; после чего связь между всей эскадрой стала очень активной. Меры предосторожности для предотвращения подхода лодок все еще принимались. Тем временем тайна нашего поспешного отплытия из Плимута и всех последующих маневров была раскрыта. Как нам сказали, лорд Кейт получил уведомление по телеграфу о том, что государственное должностное лицо только что покинуло Лондон с судебным приказом *хабеас корпус* предъявить претензии к личности императора во имя законов или какого-либо компетентного суда. Мы не могли ни установить мотивы, ни детали этого обстоятельства: адмиралу, добавлялось, едва хватило времени, чтобы избежать этого затруднения; мы слышали, что ему внезапно пришлось подняться на борт брига и покинуть Плимутский пролив. Это был мотив, который удерживал нас подальше от Торбея.

Адмиралы Кейт и Кокберн поднялись на борт "Беллерофонта"; флаг последнего развевался на борту "Нортумберленда": у них было совещание с императором, которому они передали выдержку из инструкций относительно нашей транспортировки на остров Святой Елены и пребывания там. В них говорилось, что все наши вещи должны быть осмотрены с целью изъятия денег, векселей и бриллиантов, принадлежащих императору, а также нам самим, которые должны быть сохранены для нас; мы также слышали, что у нас одновременно заберут оружие и что затем нас переведут в Нортумберленд. Документы были следующими:

ПРИКАЗ ОТ ЛОРДА КЕЙТА КАПИТАНУ МЕЙТЛЕНДА С "БЕЛЛЕРОФОНТА".

“Все вооружение любого вида должно быть отобрано у французов любого ранга, находящихся на борту корабля его Величества под вашим командованием. Это оружие будет тщательно упаковано и останется в вашем распоряжении до тех пор, пока люди, которым оно принадлежит, будут оставаться на борту "Беллерофонта". Затем они будут находиться под присмотром капитана судна, на которое указанные лица могут быть переведены”.

Залив Старт, 6 августа 1815 года.

ИНСТРУКЦИИ МИНИСТРОВ АДМИРАЛУ КОКБЕРНУ.

“Когда генерал Буонапарте покинет "Беллерофонт", чтобы подняться на борт "Нортумберленда", для адмирала Кокберна наступит самый подходящий момент для осмотра вещей, которые генерал Буонапарте мог взять с собой. Адмирал разрешит взять багаж, вина (*вина!* замечание, поистине достойное английских министров) и провизии, которую генерал, возможно, привез с собой для взятия на борт "Нортумберленда". Считается, что в багаж включен его столовый сервиз, если только он не настолько значителен, чтобы казаться скорее предметом, подлежащим обращению в наличные деньги, чем для реального использования. Его деньги, бриллианты и товарное имущество (следовательно, также переводные векселя), какого бы вида они ни были, должны быть возвращены. Адмирал заявит генералу, что британское правительство ни в коем случае не намерено конфисковывать его имущество, а просто хочет взять на себя управление его имуществом, чтобы помешать ему использовать его в качестве средства для содействия его побегу.

Осмотр должен быть произведен в присутствии лица, назначенного генералом Бонапарте, опись имущества, подлежащего хранению, должна быть подписана этим лицом, а также контр-адмиралом или лицом, которого мы назначим для составления описи. Проценты или основная сумма (в зависимости от того, является ли его имущество более или менее значительным) должны направляться на его содержание, и в этом отношении основное управление должно быть оставлено за ним. С этой целью он может время от времени сообщать о своих пожеланиях адмиралу до прибытия нового губернатора острова Святой Елены, а затем последнему; и, если против его предложения не будет высказано возражений, адмирал или губернатор могут отдать необходимые распоряжения, и выплата будет оплачена векселями Казначейства его Величества. В случае смерти (*какая предусмотрительность!*) он может распорядиться своим имуществом в соответствии с последней волей и может быть уверен, что содержание его завещания будет добросовестно исполнено. Поскольку может быть предпринята попытка выдать часть его имущества за собственность лиц из его свиты, следует указать, что на имущество его приближенных распространяются те же правила.

“Адмиралу не разрешается брать на борт какое-либо лицо, направляющееся на остров Святой Елены, без согласия такого лица, которому он предварительно должен объяснить необходимость соблюдения всех правил, которые может быть сочтено целесообразным установить для обеспечения безопасности личности генерала. Генералу должно быть известно, что, если он предпримет какую-либо попытку к бегству, он подвергнет себя строгому тюремному заключению; и что любой из его окружения, кто может быть уличен в попытке облегчить его побег, понесет такое же наказание. (Впоследствии Парламентский акт признал последнее преступление смертным приговором.)

“Все письма, которые должны быть адресованы ему или кому-либо из его свиты, должны быть доставлены в первую очередь адмиралу или губернатору, которые должны прочитать их перед отправкой: те же правила должны соблюдаться в отношении писем, написанных генералом или его свитой.

“Генерал должен быть проинформирован о том, что губернатор и адмирал получили четкие приказы направить правительству его Величества любой запрос или представление, которые он сочтет нужным сделать: в этом вопросе ничто не остается на их усмотрение; но бумага, на которой должны быть написаны такие представления, должна оставаться открытой, чтобы они могли дополнить такие замечания, какие сочтут целесообразными”.

Было бы нелегко представить себе силу и природу наших чувств в этот решающий момент, когда на наши головы обрушились возмущение, насилие и несправедливость.

Вынужденный сократить свою свиту до трех человек, император выбрал великого маршала, господина де Монтолона и меня. Гурго, в отчаянии от мысли, что его могут оставить позади, вступил в переговоры по этому вопросу и преуспел. Поскольку инструкции позволяли Наполеону взять с собой только трех офицеров, было решено, что я должен рассматриваться исключительно в гражданском качестве и принять четвертого с помощью этого толкования.

РАЗГОВОР С ЛОРДОМ КИТОМ.—ОСМОТР ВЕЩЕЙ ИМПЕРАТОРА.—ОН ПОКИДАЕТ "БЕЛЛЕРОФОНТ".—РАЗЛУКА.-МЫ ОТПЛЫВАЕМ НА ОСТРОВ СВЯТОЙ. ЕЛЕНА.

7. Император обратился к лорду Киту с видом нового протеста против насилия, совершенного над его личностью при насильственном удалении его с "Беллерофонта". Я взял его с собой на борт "Тоннанта". Адмирал Кейт, приятной наружности пожилой человек с безупречными манерами, принял меня с большой вежливостью, но он тщательно избегал затрагивать тему протеста, заметив, что даст ответ в письменном виде.

Это меня не остановило. Я рассказал о положении Наполеона, который был очень нездоров, его ноги сильно распухли; и указал его светлости, как желательно, чтобы императора не отправляли в отставку так внезапно. Он ответил, что я был моряком и поэтому должен следить за тем, чтобы якорная стоянка была небезопасной, что, безусловно, было правдой.

Я объяснил отвращение императора к тому, чтобы его вещи обыскивали и разбрасывали повсюду, как предлагалось; заверив его, что Наполеон бесконечно предпочел бы, чтобы их выбросили в море. Адмирал ответил, что, поскольку это положительный приказ, он должен ему подчиниться. Наконец, я спросил, возможно ли, что те, кто назначен для поиска, зайдут так далеко, что лишат императора его меча. Он сказал, что это будет соблюдено, но что Наполеон был единственным человеком, освобожденным от ответственности, поскольку все его последователи будут разоружены. Я показал ему, что я уже был таким: у меня отобрали меч перед тем, как я покинул "Беллерофонт". Секретарь, писавший рядом с нами, заметил лорду Кейту по-английски, что в приказе говорится, что сам Наполеон должен быть разоружен; на что адмирал сухо ответил, также по-английски, насколько я мог понять: “Занимайтесь своими делами, сэр, и предоставьте нам заниматься нашими”.

Все еще продолжая разговор, я пересказал все, что произошло с самого начала. Я сказал, что был участником переговоров и поэтому должен чувствовать себя наиболее остро; и у меня больше прав быть услышанным. Лорд Кит слушал меня с явным нетерпением; мы стояли, и его частые поклоны, очевидно, были направлены на то, чтобы заставить меня удалиться. Когда я сказал ему, что капитан Мейтленд сказал, что ему было поручено доставить нас в Англию, не возбуждая в наших умах подозрения, что мы должны были стать военнопленными; что капитан не мог отрицать, что мы прибыли на борт добровольно и конфиденциально; что письмо императора принцу Уэльскому, которое я ранее передал капитану Мейтленду, должно было неизбежно создать негласные условия, поскольку он не сделал никаких замечаний по этому поводу: наконец, дурное настроение и даже гнев адмирала вырвались наружу, и он резко ответил, что, если бы это было так, капитан Мейтленд, должно быть, был преступником. глупец, ибо его инструкции не содержали ничего подобного; и он был совершенно уверен в этом, поскольку исходили они от него самого. “Но, милорд, ” сказал я, “ позвольте мне заметить в защиту капитана Мейтленда, что ваша светлость говорит с некоторой суровостью, за которую вы можете нести ответственность; ибо не только капитан Мейтленд, но и адмирал Хотэм и все другие офицеры, которых мы видели в то время, вели себя точно так же по отношению к нам; было бы так, если бы их инструкции были такими ясными и определяющими?” Сказав это, я освободил адмирала от своего присутствия: он не сделал попытки продолжить тему, которая, возможно, причиняла ему некоторую боль из-за совести его светлости.

Адмирал Кокберн с помощью офицера таможни осмотрел имущество императора: они изъяли четыре тысячи наполеонов и оставили полторы тысячи на оплату слуг: это были все сокровища императора. Им помогал или, скорее, препятствовал в операции Маршан, камердинер его Величества: это, по-видимому, чрезвычайно огорчило адмирала; хотя его попросили присутствовать, ни один из нас не пожелал присутствовать при акте, который мы расценили как подлый и оскорбительный.

Тем временем настал момент покидания "Беллерофонта". Великий маршал некоторое время совещался с императором наедине; все это время мы оставались во внешней каюте; когда дверь отворилась, герцог де Ровиго, заливаясь слезами, бросился к ногам Наполеона и целовал ему руки. Император, все еще спокойный и собранный, обнял герцога и продолжил свой путь к жилу помещению, любезно приветствуя всех, кто случайно оказался на шканцах. Вся наша группа, которую мы оставили позади, пребывала в состоянии глубочайшей тоски; я не мог не заметить лорду Киту, который в то время стоял рядом со мной: “Вы видите, милорд, что единственные, кто проливает слезы, - это те, кто должен остаться”.

Мы достигли "Нортумберленда" между часом и двумя часами дня. Император оставался на палубе, дружески и весело беседуя с теми англичанами, которые подходили к нему. Лорд Лоутер и некий мистер Литтлтон долго беседовали с ним о политике и правительстве. Я ничего не слышал о том, что произошло; император, казалось, желал, чтобы мы предоставили егосамому себе. Я воспользовался этим свободным моментом, чтобы написать последнее "прощай" моей жене и друзьям: действительно, я чувствовал себя очень нездоровым и очень усталым.

В момент начала взвешивания катер, который курсировал вокруг корабля, чтобы не подпускать людей, столкнулся с лодкой, полной зрителей, недалеко от нас. Фатальность, похоже, привела их издалека, чтобы они стали жертвами этого несчастного случая: я понял, что среди погибших

были две женщины. Так мы наконец отплыли на остров Святой Елены, через тринадцать дней после нашего прибытия в Плимут и через сорок дней после того, как покинули Париж.

Те из сопровождающих, кого Наполеону не разрешили взять с собой, покинули корабль последними, унося с собой смешанные чувства удовлетворения и сожаления. Их отъезд вызвал вторую сцену, не менее трогательную, чем первая. Император удалился в отведенную ему каюту около семи часов.

На английском Министерство горячо порицал уважение который был показан императору на бортборт "Беллерофона", и выданы новые заказы в следствие; так, что совершенно другой стиль, манеры и выражение сказывалось в Нортумберленд. Команда, казалось, выказывала нелепое беспокойство предстать перед императором: было строго предписано не присваивать ему никакого другого титула, кроме *генерала*, и обращаться с ним только как с таковым. Это было остроумное изобретение, счастливая концепция, порожденная дипломатией английских министров; и титул, который они сочли уместным присвоить тому, кого они признали Первым консулом, кого они так часто величали главой французского правительства, с кем они обращались как с императором в Париже, когда лорд Лодердейл был нанят для переговоров и, возможно, даже подписал статьи в Шатийоне. Поэтому в минуту горячности император, намекая на это постановление, заметил: "Они могут называть меня как им заблагорассудится, но они не могут помешать мне быть *самим* собой". На самом деле было не менее причудливо, чем смешно видеть, как министры Англии придают такое значение присвоению только титула генерала тому, кто управлял такой большой частью Европы и произвел на свет семь или восемь королей, из которых некоторые до сих пор сохраняют этот титул, созданный им; кто более десяти лет был императором Франции и был помазан, а также посвящен в этом качестве главой Церкви; тот, кто мог похвастаться двумя или тремя выборами французского народа на верховную власть; кто был признан императором всей континентальной Европой; с кем обращались как с таковым со всеми подобающими правами. суверенов; заключая с ними всевозможные союзы как по крови, так и по интересам: так что он объединил в своем лице все титулы, гражданские, политические и религиозные, существующие среди людей; и которые, по странному, хотя и реальному совпадению, ни один из правящих государей Европы не мог бы в равной степени присвоить главе и основателю его династии. Тем не менее его величество, который намеревался, высадившись в Англии, принять имя и титул полковника Дюрока или Мюирона, больше не думал об этом теперь, когда его законные титулы упорно оспаривались.

ОПИСАНИЕ КАЮТЫ ИМПЕРАТОРА НА БОРТУ "НОРТУМБЕРЛЕНДА".

8-й-9-й. Корабль был в величайшем смятении и, казалось, был весьма перегружен людьми, а также припасами и багажом: мы отплывали в такой большой спешке, что на борту почти ничего не было на своих местах, так что теперь вся команда была занята наведением порядка и подготовкой к путешествию.

Следующие сведения дадут некоторое представление о той части корабля, которую занимали император и его свита. Пространство за бизань-мачтой вмещало две общественные и две личные каюты; первая представляла собой столовую шириной около десяти футов, тянувшуюся во всю ширину корабля и освещавшуюся иллюминаторами на каждом конце и небесным фонарем наверху. Гостиная занимала все оставшееся пространство, уменьшенное двумя симметричными каютами справа и слева, каждая из которых имела вход из столовой или столовой-кают-компания, а другая - из гостиной. Император занимал ту, что слева, где была

устроена его походная кровать; та, что справа, была отведена адмиралу. Прежде всего, было категорически предписано, чтобы гостиная была общей, а не отдавалась в распоряжение императора: до такой смехотворной степени были доведены опасения и забота министерства!

Форма обеденного стола напоминала форму столовой. Император сидел спиной к гостиной или кормовой каюте и смотрел в сторону носа корабля; слева от него сидела мадам Бертран, а справа - адмирал. Справа от адмирала сидела мадам де Монтолон; они занимали одну сторону стола. Следующей этой дамой был капитан Росс, командовавший кораблем; напротив него, в соответствующем конце, сидел г-н де Монтолон, рядом с мадам Бертран; рядом с ним - секретарь адмирала. Оставшееся место занимала сторона стола, противоположная императору, которую, начиная с капитана Росса, занимали великий маршал, генерал, командующий 53-м полком, я и барон Гурго.

Адмирал каждый день приглашал одного или двух офицеров, которые сидели среди нас за столом. Обычно я сидел почти напротив императора. Недавно сформированный оркестр 53-го полка упражнялся во время ужина за счет наших ушей. У нас было два блюда, но не хватало провизии; кроме того, наши вкусы сильно отличались от вкусов наших хозяев. Это правда, они сделали все, что могли; но, в конце концов, не стоило бы быть трудным. Меня поселили с моим сыном по правому борту, рядом с грот-мачтой, в маленькой каюте, обитой брезентом, и в ней было ружье. Мы подняли столько парусов, сколько позволял ветер, чтобы выйти из Ла-Манша, и стояли вдоль побережья Англии, сообщаясь со всеми портами, чтобы раздобыть дополнительные запасы морского инвентаря и пополнить запасы корабля. Большое количество товаров было доставлено нам из Плимута, в порту которого к нам присоединились несколько других судов, а также из Фалмута.

ПОТЕРЯЛИ ИЗ ВИДУ ЗЕМЛЮ.—РАЗМЫШЛЕНИЯ.—АРГУМЕНТ ПРОТИВ АНГЛИЙСКИХ МИНИСТРОВ.

10.—В этот день мы миновали Ла-Манш и потеряли землю из виду. Теперь мы вступили на унылый неизвестный путь, на который обрекла нас судьба. Снова возобновились мои муки; снова дорогие связи, которые я покинул, возобновили свое влияние на мое сердце. Я наслаждался роскошью горя и находил жалкое удовлетворение в его избытке. “Объекты всех моих привязанностей, - воскликнула я, - друзья моего сердца, ради которых я живу, осознайте, что я доказываю, что достойна вас. Пусть эта мысль поддержит и вас; и, о! не забывай меня”.

Тем временем мы продвигались своим курсом и вскоре должны были покинуть Европу. Таким образом, менее чем за шесть недель император отрекся от трона и отдал себя в руки англичан, которые теперь спешно загоняли его на голую скалу посреди безбрежного океана! Это, конечно, не обычный пример удачи и не обычное испытание твердостиума. И все же потомки будут лучше способны судить об этих трех ведущих обстоятельствах, чем мы сегодня. Им придется произносить свои слова на ясном горизонте, в то время как мы окутаны облаками.

Едва Наполеон сошел со своего трона, как те, кто был свидетелем последовавших за этим несчастий нации, сочли его жертву величайшей ошибкой. Когда они услышали о том, что он был пленником в Плимуте, они осудили его великодушие; не было ни одного случая, даже когда он сам позволил отправить себя на остров Святой Елены, который они не сделали бы предметом упреков. Но такова тенденция вульгарных умов: никогда не судить иначе, как по тому, что они видят в данный момент! Однако невозможно судить об одном решении, не принимая во

внимание не только зло, которое неизбежно сопутствует ему, но и то, к которому могло бы привести противоположное решение.

Отрекшись от престола, Наполеон сплотил всех друзей своей страны вокруг одного вопроса — ее безопасности! Он покинул Францию, требуя перед всеми народами ничего, кроме священных прав национальной независимости; он пользовался у союзников любым предлогом, чтобы опустошить и расчленить нашу территорию; он уничтожил всякое представление о своих личных амбициях, положив конец своей карьере мученика за дело, героем которого он был. Если все преимущества, которые могли бы быть получены от его гения и талантов гражданина, не были получены, это следует приписать слабости и предательству временного правительства, которое сменило его на этом посту. Когда он прибыл в Рошфор и командир фрегатов отказался отплыть, должен ли он был отказаться от плодов своего отречения? Должен ли был он вернуться в глубь страны и встать во главе простых отрядов, когда отказался от армий? или он должен был отчаянно поощрять гражданскую войну, которая не привела бы ни к какому благотворному результату, а лишь послужила бы разрушению оставшихся столпов, будущих надежд страны? При таком положении дел он принял самое великодушное решение, достойное его жизни, и полностью опроверг клевету, которая в течение двадцати лет столь нелепым образом накапливалась на его голову. Но что скажет история об этих министрах либеральной нации, хранителях и хранительницах народных прав, которые всегда горячо поддерживали Кориолана, имея вместо Камиллы только цепи?

Что касается упрека в том, что он позволил перевезти себя на остров Святой Елены, то было бы позором отвечать на такое обвинение. Сразиться с противником в кают-компании корабля — убить кого-нибудь его собственной рукой - или попытаться поджечь пороховой склад было бы, в лучшем случае, актом пирата. Достоинство в несчастье, покорность необходимости также имеют свою славу: это то, что делает великими людей, подавленных невзгодами.

Когда английские министры оказались во власти личности Наполеона, страсть оказала на них гораздо большее влияние, чем правосудие или политика. Они пренебрегли торжеством своих законов, отказали в праве на гостеприимство, пренебрегли собственной честью и поставили под угрозу честь своей страны. Они решили сослать своего гостя посреди океана, держать его пленником на скале, в двух тысячах лье от Европы, вдали от всякого общения с человечеством. Казалось, они хотели довериться мукам изгнания, тяготам долгого путешествия, всякого рода лишениям и разъедающему влиянию жаркого климата для осуществления того, что они боялись совершить сами. Однако для того, чтобы привлечь внимание общественности, создать впечатление, что их поведение было совершенно необходимо, газеты были подстрекаемы к разжиганию страстей толпы, возрождая прежнюю клевету и ложь; в то время как министры, со своей стороны, представляли свою собственную решимость как обязательство, заключенное с их союзниками. Мы проявили себя в момент народного ажиотажа, когда было выдвинуто все, что могло сделать нас одиозными. Общественные журналы были полны самых яростных заявлений, злонамеренно восхвалявших каждое действие и выражение предшествующей двадцатилетней борьбы, которые могли ранить национальную гордость или вновь разжечь ее ненависть. И все же, когда вся Англия поспешила на юг, чтобы увидеть нас, во время нашего пребывания в Плимуте, поведения и чувств множества приехавших было достаточно, чтобы убедить нас, что это наигранное раздражение исчезнет само собой. Следовательно, при нашем отъезде у нас появилась надежда, что британский народ с каждым днем будет становиться все более беспристрастным в деле, участниками которого он больше не был; что общественное

мнение в конечном итоге обернется против министров; и что таким образом мы обеспечили им грозные нападки и ужасную ответственность за будущее.

ОБРАЗ ЖИЗНИ ИМПЕРАТОРА НА БОРТУ "НОРТУМБЕРЛЕНДА".

11-14. Наш курс проходил через Бискайский залив и огибал мыс Финистерре. Ветер был попутный, хотя и слабый, а жара невыносимая: ничто не могло быть более однообразным, чем время, которое мы сейчас проводили. Император завтракал в своей каюте в неурочное время; мы завтракали в десять часов по-французски, в то время как англичане продолжали завтракать по-своему в восемь.

Император каждое утро посылал за одним из нас, чтобы узнать, что происходит, как прошла дистанция, каков ветер и другие подробности, связанные с нашим продвижением. Он много читал, к четырем часам оделся и затем прошел в общую каюту; здесь он сыграл в шахматы с одним из участников вечеринки: в пять часов адмирал, вышедший из своей каюты за несколько минут до этого, объявил, что ужин подан.

Хорошо известно, что Наполеон едва ли когда-либо обедал более пятнадцати минут; здесь только на два блюда уходило от часа до полутора: это было для него самым серьезным раздражением, хотя он никогда не упоминал об этом; черты его лица, жесты и манеры всегда демонстрировали совершенное безразличие. Ни новая система приготовления пищи, ни различия, ни качество блюд никогда не вызывали у него порицания или одобрения; он никогда не высказывал никаких пожеланий или возражений по этому поводу. Его сопровождали два камердинера, стоявшие за его стулом. Сначала адмирал имел обыкновение предлагать помощь императору, но признание Наполеона было выражено так холодно, что эта практика была прекращена. Адмирал продолжал быть очень внимательным, но с тех пор только указывал слугам, что предпочтительнее; они одни занимались этими делами, к которым император, казалось, был совершенно безразличен, ничего не видя, не замечая и не ища. Обычно он был молчалив, оставаясь посреди разговора, как будто совершенно не был знаком с этим языком, хотя это был французский. Если он и заговаривал, то только для того, чтобы задать какой-нибудь технический или научный вопрос и обратиться с несколькими словами к тем, кого адмирал иногда приглашал на ужин. Я был тем человеком, к которому император обычно обращался со своими вопросами, чтобы переводить их.

Едва ли нужно напоминать, что англичане привыкли подолгу оставаться за столом после десерта, выпивая и беседуя: император, уже утомленный утомительным обедом, никогда не смог бы вынести этого обычая, и поэтому с первого дня он встал сразу после того, как был разлит кофе, и вышел на палубу в сопровождении великого маршала и меня. Это смутило адмирала, который воспользовался случаем, чтобы выразить свое удивление своим офицерам; но мадам Бертран, чей родной язык — английский, тепло ответила: “Не забывают, адмирал, что ваш гость - человек, который правил значительной частью мира, и что короли когда-то боролись за честь быть допущенными к его столу”. “Совершенно верно”, - согласился адмирал; и этот офицер, обладающий здравым смыслом, подобающей уступчивостью манер, а иногда и большой элегантностью, с этого момента делал все возможное, чтобы угодить императору в его привычках. Он сократил время сидения за столом, заказав кофе для Наполеона и тех, кто сопровождал его, еще до того, как остальная компания закончила свой ужин. Как только Наполеон выпил свой кофе, он вышел из каюты; после чего все встали, пока он не вышел из комнаты, а затем продолжали пить вино еще в течение часа.

Император оставался на палубе до наступления темноты в сопровождении Великого маршала и меня. Это стало регулярной практикой, и ею редко пренебрегали. Вернувшись в кормовую каюту, он садился играть с нами в "винг-э-эн" и обычно удалялся примерно через полчаса.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ УДАЧА ИМПЕРАТОРА.

15-го.—Сегодня утром мы попросили разрешения предстать перед императором и все вошли в его каюту одновременно. Он не знал о причине этого визита: — это был его день рождения, который, казалось, совершенно ускользнул из его памяти. Мы привыкли видеть его в ту годовщину на гораздо большей сцене и в разгар его могущества, но никогда наши пожелания не были более искренними, а сердца - более полными привязанности, чем в этот раз.

Дни теперь в точности походили друг на друга: по вечерам мы постоянно играли в *винг-э-ун*; адмирал и несколько его офицеров время от времени присутствовали на вечеринке. Император имел обыкновение уходить в отставку, проиграв, по обычаю, свои десять или двенадцать наполеонов; это случалось с ним ежедневно, потому что он упорно оставлял свою ставку на столе до тех пор, пока она не приносила значительную сумму. Сегодня он прибавил от восьмидесяти до ста. Адмирал сдал карты: император все еще хотел оставить свой выигрыш, чтобы посмотреть, как далеко он сможет зайти; но подумал, что адмиралу было бы так же приятно, если бы он остался там, где был. Император побеждал шестнадцать раз и мог выиграть более шестидесяти тысяч наполеонов. Пока все присутствующие рассуждали о том, что ему так необыкновенно улыбнулась фортуна, один английский офицер заметил, что сегодня годовщина его дня рождения.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ.—ЗАНЯТИЯ.—ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СЕМЬЯ ИМПЕРАТОРА.—АНЕКДОТЫ.

16-21. 16-го мы обогнули мыс Финистерре, 18-го миновали мыс Сент-Винсент и на следующий день были у Гибралтарского пролива. Продолжая наш курс вдоль африканского побережья к Мадейре, ничего заслуживающего внимания не произошло, поскольку в наших привычках и способах проводить время было совершенное единообразие; если и было какое-то различие, то оно могло проистекать только из предмета нашего разговора.

Император обычно все утро оставался в своей каюте: жара была настолько невыносимой, что на нем было только очень легкое платье. Он не мог заснуть и часто вставал по ночам. Чтение было его главным занятием. За мной посылали почти каждое утро, и я переводил "Британскую энциклопедию" и другие книги, имевшиеся на борту, независимо от того, что в них говорилось о Святой Елене или странах, вблизи которых мы плыли. Это привело к тому, что мой Исторический атлас был подвергнут пересмотру. Наполеон лишь мельком взглянул на нее на борту "Беллерофонта", и до этого времени он имел лишь очень смутное представление об этой работе. Теперь я имел удовольствие видеть его в руках императора в течение нескольких дней и слышать, как он выражал самое теплое одобрение моим трудам. Количество и расположение порядке материала, казалось, особенно понравились ему: на самом деле до сих пор он был мало знаком с книгой. Обойдя все остальные, его главное внимание привлекли географические карты, особенно карта мира, которая, казалось, в первую очередь привлекла его внимание и аплодисменты. Я не пытался убедить его, что география была самой слабой

частью работы, в ней было гораздо меньше труда и изысканий, чем в других частях; общие таблицы было нелегко превзойти ни по методу, ни по симметрии, ни по удобству использования; в то время как каждая из генеалогических таблиц представляла собой миниатюрную историю страны, которой они касались, и о которой они были, во всех отношениях, как полным анализом, так и коллекцией элементарных материалов.

Император спросил меня, использовался ли этот труд во всех наших системах образования; добавив, что, если бы он был ему лучше известен, им были бы снабжены все школы и лицеи. Далее он спросил, почему я опубликовал его под заимствованным названием *Le Sage*? Я ответил, что в Англии, сразу после моей эмиграции, был опубликован очень несовершенный очерк, в то время, когда мы не могли признать свои имена эмигрантами за границей, не подвергая опасности наши отношения во Франции; “и, возможно, - сказал я, смеясь, - я тогда еще не излечился от предрассудков своей юности, подобно бретонским дворянам, которые, занимаясь торговлей, сдавали свои шпаги секретарю Гражданского суда, чтобы не уронить своего семейного достоинства”.

Как уже отмечалось, император всегда вставал из-за стола задолго до остальной компании: великий Великий маршал и я всегда следовали за ним на шканцы, где меня часто оставляли с ним наедине, поскольку генералу Бертрону часто приходилось ухаживать за своей женой, которая сильно страдала от морской болезни.

После предварительных замечаний о погоде, ходе корабля и ветрах Наполеон обычно заводил разговор или вспоминал предыдущий или какой-либо другой предыдущий день; и когда он делал восемь или девять кругов по всей длине палубы, он садился на второе орудие от трапа по левому борту. Гардемарины вскоре заметили это обычное пристрастие, так что с тех пор пушка стала называться *императорской*.

Именно там Наполеон часто беседовал с нами часами, и я впервые узнал часть того, что я собираюсь рассказать: делая это, я хочу заметить, что в то же время добавлю все, что я собрал в различных последующих беседах; таким образом, представляя с одной точки зрения все, что я услышал, заслуживающее внимания по этому вопросу.

Имя Бонапарт может писаться либо *Бонапарт*, либо *Буонапарте*; как известно всем итальянцам. Отец Наполеона всегда вводил *и*; а его дядя, архидьякон Люсьен (который пережил отца Наполеона и был родителем Наполеона и его братьев), в то же время и под той же крышей написал это *Бонапарт*. В юности Наполеон следовал примеру своего отца. Получив командование армией Италии, он позаботился о том, чтобы не изменять орфографию, которая соответствовала духу языка; но в более поздний период, оказавшись среди французов, он пожелал перенять их орфографию и с тех пор писал свое имя Бонапарт.

Эта семья на протяжении многих лет была выдающейся фигурой на территории Болоньи: она была очень могущественна в Тревизо; ее можно найти занесенной в Золотую книгу Болоньи, а также среди патрициев Флоренции. Когда Наполеон, как главнокомандующий итальянской армией, вступил в Тревизо во главе своей победоносной армии, основные жители вышли встретиться, принеся документы о праве собственности и записи, доказывающие, что его семья когда-то была одной из самых выдающихся в их городе.

На собеседовании в Дрездене, перед русской кампанией, император Франциск однажды сказал Наполеону, в то время своему зятю, что его семья правила в Тревизо как суверены: факт,

в котором не могло быть сомнений, поскольку Франциск распорядился составить и представить ему все документы, подтверждающие это. Наполеон с улыбкой ответил, что он ничего не желает знать об этом и что он предпочитает быть Родольфом Габсбургским из своей собственной семьи. Франциск придавал этому вопросу гораздо большее значение: он сказал, что не имело большого значения то, что он перешел из состояния богатства в состояние бедности; но то, что он занимал высокий пост, превыше всего, и что этот факт должен быть доведен до сведения Марии Луизы, которой это доставило бы бесконечное удовольствие.

Когда во время итальянской кампании Наполеон вступил в Болонью, Марескальки, Капрара и Альдини, с тех пор столь известные во Франции, а в то время депутаты сената своего родного города, пришли по собственной воле, чтобы вручить золотую книгу, в которую были вписаны имя и герб его предков.

Во Флоренции есть несколько домов, которые свидетельствуют о прежнем существовании там семьи Буонапарте; на многих домах даже сохранились гербы семьи.

Чезари, корсиканец или болонец, проживающий в Лондоне, который был шокирован тем, как британское правительство получило мирное письмо Наполеона о вступлении в консульство, опубликовал генеалогическое уведомление, в котором он установил союз императора с древним домом *Эсте, Вельфов* или *Гвельфов*, предположительно являющимся прародителем нынешней королевской семьи Англии.^[10]

Герцог де Фельтр, посол Франции в Тоскане, привез в Париж из Галереи Медичи портрет некоего Бонапарта, женившегося на принцессе из семьи великого герцога. Мать папы римского Николая V. или Павла V. из Сарцаны также была Бонапарте.

Именно Буонапарте вел переговоры о заключении договора, по которому Ливорно был обменян на Сарзану. Именно некоему Бонапарту мы обязаны одной из старейших комедий, написанных в период возрождения литературы, под названием "*Вдова*". Его до сих пор можно увидеть в Королевской библиотеке в Париже.^[11]

Когда Наполеон выступил против Рима во главе французской армии и получил предложения папы в Толентино, один из неприятельских переговорщиков заметил, что он был единственным французом, выступившим против Рима после коннетабля де Бурбона; но что делало это обстоятельство еще более странным, так это то, что история первой экспедиции была написана его предком, казнившим вторую, то есть синьором Никколо Буонапарте, который на самом деле оставил нам труд под названием "*Разграбление Рима коннетаблем де Бурбоном*". Бурбон.^[12]

Отсюда, возможно, или от упомянутого выше папы римского, имя Никколо, которое авторы некоторых брошюр выдавали за имя императора, а не Наполеона. Этот труд можно найти в большинстве библиотек; ему предшествует "*История дома Бонапарте*", напечатанная около сорока или пятидесяти лет назад и отредактированная доктором Вакчей, профессором из Пизы.

Месье де Четто, посол Баварии, часто говорил мне, что в архивах Мюнхена хранится огромное количество документов на итальянском языке, которые доказывают древность и важность семьи Буонапарте.

Во время своего пребывания у власти Наполеон всегда отказывался предпринимать какие-либо усилия или даже вступать в разговор на эту тему. Первая попытка обратить его внимание на этот

вопрос была предпринята во время его консульства и была настолько обескуражена, что никто никогда не пытался возобновить дискуссию. Какой-то человек опубликовал генеалогию, в которой ему удалось связать семью Наполеона с некоторыми северными королями. Наполеон высмеял этот образец лести в публичных газетах, авторы которых в заключение заметили, что дворянство Первого консула восходит только к *Монтенотту* или к 18 Брюмера.

Эта семья, как и многие другие, пострадала от многочисленных революций, опустошивших города Италии. Проблемы Флоренции поместили Буонапарте в число *фуорусчители*, или эмигрантов. Один из членов семьи сначала удалился в Сарцану, а оттуда отправился на Корсику, с этого острова его потомки всегда продолжали отправлять своих детей в Тоскану, где они получали образование под присмотром ветви, оставшейся в Сан-Миниато. Вторые сыновья этой ветви на протяжении нескольких поколений носили имя Наполеон, которое происходило от предка с таким именем, прославленного в анналах Италии.

По пути во Флоренцию, после похода на Ливорно, Наполеон переночевал в доме старого аббата Буонапарте в Сан-Миниато, который с большим величием относился ко всему своему штабу. Искерпав все семейные воспоминания, аббат сказал молодому генералу, что собирается предъявить самый ценный документ из всех. Наполеон думал, что собирается показать ему прекрасное генеалогическое древо, хорошо рассчитанное на удовлетворение его тщеславия (сказал он, смеясь); но это был мемориал, регулярно составленный в честь отца Буонавентуры Буонапарте, монаха-капуцина из Болоньи, давно причисленного к лику блаженных, но еще не канонизированного из-за огромных затрат, которых это потребовало. “Папа не откажет вам, - сказал добрый аббат, - если вы попросите его; и если потребуется выплатить сумму сейчас, для вас это будет сущий пустяк”. Наполеон от души посмеялся над этой простотой, так мало гармонизировавшей с нравами того времени: старику и в голову не приходило, что святые больше не в моде.

По прибытии во Флоренцию Наполеон решил, что его тезке было бы весьма приятно послать ему ленту ордена Святого Стефана, кавалером которого он был всего лишь; но благочестивый аббат гораздо меньше беспокоился о благосклонности этого мира, чем о религиозной справедливости, на которую он так настойчиво претендовал; и, как впоследствии выяснилось, не без оснований. Папа римский, когда он прибыл в Париж, чтобы короновать императора, также повторил притязания отца Буонавентуры. “Несомненно, это был он,” сказал папа, “который со своего места среди блаженных вел своего родственника, так сказать, за руку по славному земному пути, который тот прошел; и который спас Наполеона посреди стольких опасностей и сражений”. Император, однако, всегда оставался глух к этим замечаниям, оставляя на усмотрение святого отца заботу о славе Буонавентуры. Что касается старого аббата Сан-Миниато, то он оставил свое состояние Наполеону, который подарил его одному из государственных учреждений Тосканы.

Было бы, однако, очень трудно связать какие-либо генеалогические данные в этом месте из бесед императора, который часто говорил, что никогда не заглядывал ни в один из своих пергаментов: они всегда оставались в руках его брата Иосифа, которого он называл “специалистом по генеалогии семьи”. И, чтобы я не забыл об этом, я упомяну здесь тот факт, что Наполеон, собираясь отплыть, передал своему брату пакет, содержащий все оригиналы писем, адресованных ему государями Европы, написанных их собственной рукой. Я часто выражал

императору свое сожаление по поводу того, что он расстался со столь драгоценной исторической рукописью.^[13]

Шарль Бонапарт, отец Наполеона, был чрезвычайно высок, красив и хорошо сложен; его образование было хорошо получено в Риме и Пизе, где он изучал юриспруденцию: говорят, что он обладал большим духом и энергией. Именно он, когда ее предложили передать Франции, произнес в народном собрании Корсики речь, которая наэлектризовала всю страну: в то время ему было не более двадцати лет. “Если бы это зависело только от желания стать свободными, - сказал он, - все нации были бы свободными; однако история учит нас, что очень немногие достигли благ свободы, потому что лишь немногие обладали достаточной энергией, мужеством и добродетелью, чтобы заслужить их”.

Когда остров был завоеван, он хотел сопровождать Паоли в его эмиграции, но старый дядя, архидьякон Люсьен, который пользовался над ним родительской властью, помешал его отъезду.

В 1779 году Шарль Бонапарт был избран депутатом от корсиканской знати в Париже, куда он привез с собой юного Наполеона, которому тогда было всего десять лет. По пути он проезжал через Флоренцию и получил рекомендательное письмо от великого герцога Леопольда к своей сестре, королеве Франции. Этим знаком внимания он был обязан своему известному положению, респектабельности своего имени и семьи в Тоскане.



Charles Bonaparte.

Шарль Бонапарт.

Лондон. Опубликовано для Генри Колберна. Январь 1836 года.

В указанный выше период на Корсике было два французских генерала, настолько враждебно относившихся друг к другу, что в их ссорах образовались две партии; одним из них был г-н де Марбеф, человек мягкий и популярный, а другим, г-ном де Нарбонн Пелле, отличавшийся надменностью и жестокостью. Последний, по своему происхождению и высшим интересам, должно быть, был опасным человеком для своего соперника: к счастью для г-на де Марбефа, его гораздо больше любили на острове. Когда депутация во главе с Шарлем Бонапартом прибыла в Версаль, с ним посоветовались по поводу спора, и теплота его показаний принесла

Марбефу триумф. Архиепископ Лионский, племянник Марбефа, счел своим долгом навестить депутата и поблагодарить его за оказанную услугу. Когда юного Наполеона поместили в военную школу Бриенна, архиепископ дал ему особую рекомендацию семье Бриенна, которая жила там большую часть года: отсюда дружелюбное отношение Марбефов и Бриеннов к детям семьи Бонапарте. Клевете была присвоена другая причина, но простого сопоставления дат вполне достаточно, чтобы доказать ее абсурдность.

Старый г-н де Марбеф, командовавший войсками на Корсике, жил в Аяччо, где семья Шарля Бонапарта была одной из главных. Мадам Буонапарте была самой обворожительной и красивой женщиной в городе, и для генерала было вполне естественно часто бывать в ее доме, предпочитая его многим другим курортным местам.

Шарль Бонапарт умер в возрасте тридцати восьми лет от уплотнения желудочных желез. Он испытал временное исцеление во время одного из своих визитов в Париж, но стал жертвой второго нападения в Монпелье, где был похоронен в одном из женских монастырей города.

Во время консульства знатные люди Монпелье через своего соотечественника Шапталя, министра внутренних дел, попросили разрешения Первого консула установить памятник в память о его отце. Наполеон поблагодарил их за добрые намерения, но отклонил их просьбу. “Не будем тревожить покой мертвых, - сказал он, - пусть их прах пребудет в мире. Я тоже потерял своего деда и прадеда; почему бы не воздвигнуть им памятники? Это может завести слишком далеко. Если бы мой отец умер вчера, было бы уместно и естественно, чтобы мое горе сопровождалось каким-нибудь сигнальным знаком уважения. Но его смерть произошла двадцать лет назад: это событие не представляет общественного интереса, и бесполезно воскрешать воспоминания о нем”. В последующий период Луи Бонапарт без ведома Наполеона приказал вскрыть останки своего отца и перевезти их в Сен-Ле, где воздвиг памятник его памяти.

Шарль Бонапарт был полной противоположностью набожности; он даже написал несколько антирелигиозных стихотворений; и все же, по словам императора, на момент его смерти в Монпелье для него не хватало священников. В этом отношении он сильно отличался от своего брата архидьякона Люсьена, очень набожного и ортодоксального священнослужителя, который умер задолго до него, в очень преклонном возрасте. На смертном одре он сильно обиделся на Феша, который, будучи к тому времени священником, подбежал к нему в своей накидке и стихаре, чтобы помочь ему в его последние минуты. Люсьен умолял позволить ему умереть с миром, и он испустил дух в окружении членов своей семьи, давая им философские советы и патриархальные благословения.

Император часто говорил о своем старом дяде, который был ему вторым отцом и который долгое время был главой семьи. Он был архидьяконом Аяччо, одним из главных сановников острова. Его благоразумие и экономность восстановили дела семьи, которые были сильно расстроены расточительностью Чарльза. Старого дядю очень почитали, и он пользовался значительным авторитетом в округе: крестьяне добровольно предоставляли свои споры на его решение, и он свободно давал им свои советы и благословение.



Летиция Буонапарте

Опубликована для Генри Колберна в декабре 1835 года.

Шарль Бонапарт женился на мадемуазель Летиции Рамолини, мать которой после смерти своего первого мужа вышла замуж за капитана Феша, офицера одного из швейцарских полков, которые генуэзцы обычно содержали на острове. Кардинал Феш был потомком этого второго брака и, следовательно, приходился сводным братом мадам и дядей императору.

Мадам была одной из самых красивых женщин своего времени, и ее славили по всей Корсике. Паоли во времена своего могущества, приняв посольство из Алжира или Туниса, пожелал дать берберийским посланцам некоторое представление о достопримечательностях острова, и для

этой цели он собрал всех самых красивых женщин Корсики, среди которых лидировала мадам. Впоследствии, когда она приехала в Бриенну повидаться с сыном, ее личное обаяние было замечено даже в Париже.

Во время войны за свободу Корсики мадам Буонапарте разделяла опасности своего мужа, который был энтузиастом этого дела. В различных его экспедициях она часто сопровождала его верхом, пока была беременна Наполеоном. Она была женщиной необычайной силы ума, соединенной с немалой гордостью и возвышенностью духа. Она была матерью тринадцати детей, и у нее могло быть гораздо больше, потому что в тридцать лет она овдовела. Из этих тринадцати детей в живых остались только пять мальчиков и три девочки, и все они сыграли выдающиеся роли в правление Наполеона.

Жозеф, старший в семье, изначально предназначался для церкви из-за влияния Марбефа, архиепископа Лионского, который покровительствовал многочисленным доходам. Он прошел обычный курс обучения, но когда настал момент для принятия санов, он отказался стать священником. Он последовательно был королем Неаполя и Испании.

Людовик был королем Голландии, а Джером королем Вестфалии. Элиза была великой герцогиней Тосканской; Каролина - королевой Неаполя; а Полина - принцессой Боргезе. Люсьен, который из-за своей женитьбы и ошибочного направления характера, несомненно, лишился короны, искупил все свои прошлые ошибки, бросившись в объятия императора по возвращении с Эльбы, в момент, когда Наполеон был далек от уверенности в своих перспективах. Люсьен, император, говаривал, вынес бурной карьере в молодости: в возрасте пятнадцати лет он был взят во Францию M. Semonville, который вскоре сделало его рьяным революционером и горячим clubist. По этому поводу император сказал, что в многочисленных пасквилях, опубликованных против него, были некоторые обращения или письма с подписями, среди прочих, Брута Бонапарта, которые приписывались ему, Наполеону; он не стал бы утверждать, добавил он, что эти обращения не были написаны кем-то из членов семьи, но он может заявить, что они не были его сочинением.

Я имел возможность ознакомиться с чувствами принца Люсьена по возвращении императора с Эльбы и могу сказать, что для любого человека было бы трудно быть более честным и непоколебимым в своих политических взглядах или проявлять большую привязанность и доброжелательность к своему брату.

МАДЕЙРА И др.—СИЛЬНЫЙ ШТОРМ.—ШАХМАТЫ.

22-26-го. 22-го мы оказались в пределах видимости мадейры и ночью вышли из порта. Только два судна бросили якорь, чтобы принять на борт припасы для эскадры. Дул очень сильный ветер, и море было чрезвычайно беспокойным. Император почувствовал недомогание, и я тоже был болен. Внезапно поднялся шторм; воздух был чрезвычайно горячим и, казалось, был пропитан мелкими частицами песка — теперь на нас обрушились эманации ужасных ветров из африканских пустынь. Такая погода продержалась весь следующий день. Наше сообщение с берегом стало чрезвычайно затруднительным. Английский консул поднялся на борт и сообщил нам, что на Мадейре уже много лет не было такого урагана; урожай был полностью уничтожен, все окна в городе были разбиты, и на улицах было едва возможно дышать. Все это время мы продолжали лавировать перед городом; что мы продолжали делать в течение всей следующей ночи и 24-го, когда взяли на борт несколько волов и запасы другой провизии, такой

как незрелые апельсины, тухлые персики и безвкусные груши; инжир и виноград были, однако, превосходны. Вечером мы двинулись в путь с большой скоростью; ветер все еще дул сильный. 25-го и 26-го мы делали привал в течение части каждого дня, чтобы распределить провизию между судами, составляющими эскадру; в остальное время мы плавали плавно и быстро.

Между тем не происходило ничего, что могло бы нарушить однообразие происходящего. Каждый день тянулся медленно и прибавлялся к прошедшему промежутку, который в целом казался коротким, потому что не представлял интереса и не характеризовался каким-либо примечательным происшествием.

Император пополнил число своих развлечений игрой в пикет, в которую он регулярно играл около трех часов дня. За этим последовало несколько партий в шахматы с великим маршалом месье де Монтолоном или каким-то другим человеком до обеда. На борту судна не было ни одного хорошего шахматиста. Император был всего лишь безразличным игроком; с одними он выигрывал, с другими проигрывал, и это обстоятельство однажды вечером заставило его сказать: “Как получается, что я часто проигрываю тем, кто никогда не может победить того, кого я почти всегда побеждаю? Не кажется ли это противоречивым? Как можно решить эту проблему?” - сказал он, подмигивая, чтобы показать, что его не обманула постоянная вежливость того, кто действительно был лучшим игроком.

Мы больше не играли по вечерам в *винг-э-ун*: мы отказались от этой игры из-за того, что играли слишком высоко, чем, по-видимому, были недовольны императору, ибо он был большим врагом азартных игр. Вернувшись после дневной прогулки по палубе. Наполеон сыграл две или три партии в шахматы и рано удалился отдыхать.

КАНАРСКИЕ ОСТРОВА.—ПЕРЕСЕКАЕМ ТРОПИК.—ПОДРОБНОСТИ ДЕТСТВА ИМПЕРАТОРА.—НАПОЛЕОН В БРИЕННЕ.—ПИШЕГРЮ.—НАПОЛЕОН В ВОЕННОЙ ШКОЛЕ В ПАРИЖЕ.—В АРТИЛЛЕРИИ.—ЕГО ТОВАРИЩИ.—НАПОЛЕОН В НАЧАЛЕ РЕВОЛЮЦИИ.

27—31-е число. На рассвете в воскресенье, 27—го, мы оказались среди Канарских островов, которые мы миновали в течение дня, плывя со скоростью десять или двенадцать узлов в час, не заметив знаменитого пика Тенерифе - обстоятельство тем более необычное, что в ясную погоду он виден на расстоянии шестидесяти лье.

29-го числа мы пересекли тропик и наблюдали множество летучих рыб вокруг корабля. 31-го, в одиннадцать часов вечера, один из матросов выбросился за борт; это был напившийся негр, который боялся ожидавшей его порки. В течение вечера он несколько раз пытался прыгнуть за борт, и наконец ему это удалось. Однако вскоре он раскаялся и громко закричал. Он плавал очень хорошо; но хотя была немедленно отправлена лодка и были предприняты все усилия для его спасения, он погиб. Крики этого человека в море произвели сильное впечатление на борту судна. Через мгновение команда засуетилась во всех направлениях: шум был очень сильный, а волнение всеобщее.

Когда я спускался с палубы в каюту, мичман, юноша лет десяти-двенадцати с интересным лицом, думая, что я собираюсь сообщить императору о том, что произошло, схватил меня за сюртук и тоном, выражавшим самое нежное участие, воскликнул: “Ах, сэр, не пугайте его!

Скажи ему, что шум - это пустяки; что это всего лишь человек, упавший за борт ". Любезный и невинный юноша! он выразил свои чувства, а не мысли!

В целом мичманы, которых на борту корабля было несколько человек, вели себя с подчеркнутым уважением и вниманием к императору. Они каждый вечер повторяли сцену, которая производила глубокое впечатление на наши чувства. Ранним утром матросы подняли наверх свои гамаки и поместили их в большие сетки по бортам корабля; и около шести вечера они унесли их по сигналу свистка. Те, кто запаздывал с выполнением этой обязанности, получали определенное наказание. По поданному сигналу поднялась большая суматоха; и отрадно было видеть, как гардемарины в этот момент образовали круг вокруг императора, стоял ли он посреди палубы или опирался на свое любимое ружье. Онис тревогой следили за его движениями и знаками или словами приказывали матросам не мешать ему. Император часто наблюдал за этим поведением и отмечал, что юношеские сердца всегда склонны к энтузиазму.

Теперь я перейду к подробностям, которые я собирал в разное время, касающимся первых лет жизни императора.

Наполеон родился около полудня 15 августа (в день Успения) 1769 года. Его мать, которая была одержимаобладала огромной физической и умственной энергией и которая во время беременности не боялась опасностей войны, пожелала посетить мессу из-за торжественности дня: однако в церкви ей стало плохо, и по возвращении домой она приняла роды прежде, чем ее успели отнести в ее комнату. Ребенка, как только он родился, положили на старомодный ковер, изображавший во всю длину героев басни или, возможно, "Илиады". Этим ребенком был Наполеон.

В детстве Наполеон был беспокойным, ловким, живым и подвижным до крайности. Он обычно говорил, что получил наиболее полное превосходство над своим старшим братом Жозефом. Последний подвергался избиениям и жестокому обращению; жалобы передавались матери, и она начинала ругаться еще до того, как бедный Джозеф успевал открыть рот.

В возрасте десяти лет Наполеона отправили в военную школу в Бриенне. Его имя, которое со своим корсиканским акцентом он произносил так, словно оно писалось *Napolloné*, из-за сходства звучания, принесло ему среди его юных товарищей прозвище *la paille au nez* (солома в носу). В этот период в характере Наполеона произошла большая перемена. Вопреки всем апокрифическим историям, которые содержат анекдоты из его жизни, в Бриенне он был кротким, тихим и восприимчивым. Однажды квартирмейстер, который был человеком сурового нрава и никогда не давал себе труда учитывать физические и моральные особенности характера каждого отдельного ученого, приговорил Наполеона в качестве наказания носить саржевый сюртук и принимать обед на коленях у дверей трапезной. Наполеон, обладавший огромной долей гордости и самомнения, был настолько подавлен этим позором, что у него началась сильная рвота, и он перенес тяжелый нервный припадок. Директор школы, случайно проходивший мимо, освободил его от наказания, упрекнув квартального учителя в недостаточной проницательности; а отец Патро, профессор математики, был очень возмущен, обнаружив, что к его первому математику относились с таким неуважением.

^[14]“По достижении половой зрелости характер наполеона стал угрюмым и сдержанным; его страсть к чтению достигла предела; и он жадно поглощал содержание каждой книги, которая

попадалась ему на пути. Пишегрю был в то время его квартирмейстером и наставником по четырем правилам арифметики.

Пишегрю был уроженцем Франш-Конте, где его семья была фермерами. Монахи-минимы из Шампани были назначены руководить военной школой в Бриенне. Однако из-за их бедности так мало людей были склонены вступить в их орден, что они оказались неспособными справиться с возложенной на них задачей; и они обратились за помощью к монахам-минимам Франш-Конте, одним из которых был отец Патро. Тетя Пишегрю, монахиня Ла Шарите, последовала за Патро, чтобы присматривать за лазаретом, и ее сопровождал ее племянник, юноша, который был принят в школу, чтобы получать образование бесплатно. Пишегрю, который был чрезвычайно умен, по достижении подходящего возраста был назначен квартирмейстером и наставником под руководством отца Патро, который обучал его математике. Он намеревался стать монахом, что было единственной целью его честолюбия и желаний его тети. Но отец Патро отговорил его от этого намерения, заверив, что профессия не соответствует возрасту и что ему следует надеяться на что-то лучшее: он уговорил его поступить в артиллерию, где Революция нашла ему младшего офицера. Известна его военная карьера: — он был завоевателем Голландии. Таким образом, отец Патро имел честь причислять к своим ученикам двух величайших полководцев современной Франции.

Впоследствии отец Патро был секуляризован месье де Бриеном, архиепископом Санса и кардиналом де Ломени, который сделал его одним из своих главных викариев и доверил ему управление своими многочисленными благотворительными фондами.

“Во время Революции отец Патро, хотя его взгляды были во многом противоположны взглядам его покровителя, тем не менее приложил все усилия, чтобы спасти его, и с этой целью обратился к Дантону, который был уроженцем той же части Франции, к которой принадлежали кардинал и он сам. Но все было напрасно, и предполагается, что Патро, по обычаю древних, оказал кардиналу услугу, раздобыв для него отравленное снадобье, чтобы спасти его от эшафота.

“Мадам де Ломени, племянница кардинала, перед тем как революционный трибунал пожертвовал ее жизнью, доверила отцу Патро заботу о двух своих дочерях, которые были еще в детском возрасте. Когда миновала минута ужаса, их тетя мадам де Бриенн, избежавшая бури и сохранившая значительную часть своего состояния, обратилась к отцу Патро с просьбой о детях; но он отказался отдать их на том основании, что их мать велела ему увести их от мира и посвятить работе крестьянами. Он задумал буквально исполнять эти образные команды и был близок к тому, чтобы передать их двум своим собственным племянникам. ‘Я был тогда,’ сказал Наполеон, ‘генералом Внутренней армии и стал посредником в восстановлении двух детей, что было достигнуто не без труда. Патро применил все возможные средства сопротивления. Этими дочерьми мадам де Ломени были две дамы, которых вы с тех пор знаете под именами мадам де Марнезия и прекрасная мадам де Канизис, герцогиня де Виченца. [Виченца](#).

Отец Патро, возобновив знакомство со своим старым учеником, последовал за ним и вступил в Итальянскую армию, где доказал, что лучше умеет рассчитывать снаряды, чем следить за их действием. При Монтенотте, Миллезимо и Дего он проявил самую ребяческую трусость. Во время боя он был занят не молитвой, как Моисей, а плачем. Главнокомандующий назначил его администратором доменов в Милане, от чего он получал значительную прибыль. По возвращении Наполеона из Египта он представился ему: это был уже не маленький монашек-

минимализм из Шампани, а тучный финансист, обладавший состоянием свыше миллиона. Два года спустя он снова добивался встречи с Первым консулом в Мальмезоне: теперь он выглядел жалким, удрученным и бедно одетым. 'Как это?' - спросил консул. 'Вы видите перед собой разорившегося человека, - ответил Патро, - человека, доведенного до нищеты, жертву жестокого несчастья'. Первый консул решил проверить правдивость этого утверждения; он обнаружил, что отец Патро начал заниматься ростовщичеством. Великий вычислитель потерял свое состояние из-за банкротства, выдавая кредиты с большим риском под высокие проценты. 'Я уже выплатил свой долг, ' сказал первый консул при следующей встрече с ним. 'Я больше ничего не могу для вас сделать; я не могу дважды обогатить человека'. Он удовлетворился назначением Патро пенсии, достаточной для его существования.

"Наполеон сохранил лишь слабое представление о Пишегрю; он помнил, что тот был высоким человеком с довольно красным лицом. Пишегрю, напротив, по-видимому, сохранил поразительные воспоминания о молодом Наполеоне. Когда Пишегрю присоединился к партии роялистов, его спросили, нельзя ли будет одержать верх над главнокомандующим итальянской армией. "Пытаться это было бы только напрасной тратой времени", - сказал он. "Исходя из того, что я знал его мальчиком, я уверен, что у него должен быть самый непреклонный характер: он принял решение и не изменит его".

Императора часто очень забавляли истории и анекдоты, рассказываемые о его детстве в многочисленных небольших публикациях, которые он сам опубликовал: он признает точность едва ли какой-либо из них. Есть одно, касающееся его утверждения в военной школе Парижа, которое, однако, он признал правдивым. Это следующее: архиепископ, который конфирмовал его, выразив свое удивление именем Наполеона, сказал, что не знает ни о каком таком святом и что такого имени нет в календаре; мальчик быстро ответил, что это не может быть правилом, поскольку святых огромное количество, а дней всего 365.

Наполеон никогда не отмечал свой праздник до заключения Конкордата: его святой покровитель был незнакомцем во французском календаре, и даже там, где записано его имя, дата его праздника остается неопределенной. Папа, однако, назначил его на 15 августа, которое было одновременно днем рождения императора и днем подписания Конкордата.

[15]"В 1783 году Наполеон был одним из учеников, которых на обычном конкурсе в Бриенне определили для отправки в военную школу в Париже, чтобы закончить свое образование. Выбор ежегодно производился инспектором, который посещал двенадцать военных училищ. Эту должность занимал шевалье де Кералио, генерал-офицер и автор труда по военной тактике. Он также был воспитателем нынешнего [покойного] короля Баварии, который в юности носил титул герцога Де-Пон. Кералио был дружелюбным стариком и вполне годился для исполнения обязанностей инспектора военных училищ. Он любил мальчиков, играл с ними, когда они сдавали экзамены, и разрешал тем, кто лучше всего проявил себя к его удовлетворению, обедать с ним за столом монахов. Он был особенно привязан к молодому Наполеону и получал удовольствие, побуждая его к активным действиям. Он выделил его для отправки в Париж, хотя, по-видимому, в то время тот еще не достиг необходимого возраста. Юноша не слишком продвинулся ни в одной области образования, кроме математики, и монахи предположили, что было бы лучше подождать до следующего года, чтобы дать время для дальнейшего совершенствования. Но шевалье де Кералио ни в коем случае не согласился бы на это. "Я знаю, что делаю, - сказал он, - и если я нарушаю правила, то не из—за влияния семьи: я ничего не

знаю о друзьях этого юноши. Мной движет только мое собственное мнение о его достоинствах. Я вижу в нем искру гения, которую нельзя воспитать слишком рано. ' Достойный шевалье внезапно скончался, не успев привести свое решение в исполнение; но его преемник, господин де Реньо, который, возможно, не проявил бы и половины его проницательности, тем не менее выполнил свое намерение, и молодой Наполеон был отправлен в Париж".

В этот период у него начали проявляться качества высшего порядка: решительность характера, глубокая рефлексия и энергичные концепции. Похоже, что с самого раннего детства родители возлагали на него все свои надежды. Его отец, находясь на смертном одре в Монпелье, хотя Жозеф был рядом с ним, говорил только о Наполеоне, который тогда учился в военном училище. В бреду, охватившем его в последние минуты жизни, он беспрестанно призывал Наполеона прийти к нему на помощь со своимогромным мечом. Двоюродный дедушка Люсьен, который на смертном одре был окружен всеми своими родственниками, сказал, обращаясь к Жозефу: "Ты старший в семье, но вот ее глава (указывая на Наполеона). Никогда не теряй его из виду". Император обычно смеялся и говорил: "Это было настоящее лишение наследства: это была сцена Иакова и Исава".

Поскольку я сам получил образование в парижской военной школе, хотя и в более ранний период, чем тот, когда ее посещал Наполеон, я имел возможность, вернувшись из эмиграции, беседовать об императоре с учителями, которые были общими для нас обоих.

Г-н де л'Эгиль, наш учитель истории, имел обыкновение хвастаться, что записи военной школы содержат доказательства того, что он предсказал великую карьеру, которой суждено было стать его ученику; и что он часто восхвалял в своих записях глубину его размышлений и проницательность его суждений. Он сообщил мне, что Первый консул часто приглашал его позавтракать в Мальмезоне и что ему всегда доставляло удовольствие беседовать о своих старых уроках. "То, что произвело на меня самое глубокое впечатление, " сказал он однажды г-ну де л'Эгилью, - было восстание коннетабля де Бурбона, хотя вы и не представили его нам в должном свете. Вы сделали вид, что его великим преступлением было то, что он сражался против своего короля; что, конечно, было всего лишь пустяковой ошибкой в те дни разделенной знати и суверенитета, особенно учитывая вопиющую несправедливость, жертвой которой он стал. Его великим, его настоящим, его единственным преступлением, на котором вы недостаточно подробно остановились, было то, что он присоединился к иностранцам, чтобы напасть на свою родную страну".

Мсье Домайрон, наш преподаватель художественной литературы, сообщил мне, что его всегда поражала необычность усиления Наполеона, которые, по его словам, были подобны граниту, нагретому вулканом.

Только у одного человека сложилось о нем ошибочное представление; это был мсье Бауэр, скучный грузный немецкий мастер. Юный Наполеон никогда не делал особых успехов в немецком языке, что оскорбляло г-на Бауэра, который ставил немецкий превыше всего, и в результате у него сложилось самое презрительное мнение о способностях своего ученика. Однажды, когда Наполеона не было на месте, мсье Бауэр спросил, где он, и ему ответили, что он присутствует на экзамене по классу артиллерии. "Что? он что-нибудь знает?" - С иронией сказал мсье Бауэр. " Ну что вы, сэр, он лучший математик в школе, - последовал ответ. " Ах! Я всегда слышал об этом и всегда верил, что никто, кроме дурака, не может выучить математику ". "Было бы любопытно, - сказал император, - узнать, прожил ли господин Бауэр достаточно

долго, чтобы увидеть, как я поднимаюсь в мире, и насладиться подтверждением своего собственного суждения”.

Наполеону едва исполнилось восемнадцать лет, когда аббат Рейналь, пораженный обширностью его познаний, оценил его заслуги так высоко, что сделал его одним из украшений своих научных *дневников*. Наконец, знаменитый Паоли, который после долгого внушения Наполеону своего рода благоговения обнаружил последнего во главе партии, направленной против него, в тот момент, когда он проявил благосклонность к англичанам, имел обыкновение говорить— “Этот молодой человек сформирован по старинному образцу. Он один из людей Плутарха.

В 1785 году Наполеон, который был назначен одновременно кадетом и офицером артиллерии, бросил военную школу, чтобы поступить в полк ла-Фер в звании второго лейтенанта; отсюда он был произведен в чин первого лейтенанта Гренобльского полка.

Наполеон, бросив военную школу, отправился в свой полк в Валанс. В первую зиму, которую он провел там, его товарищами по столовой были Ларибуассьер, которого во времена империи он назначил генеральным инспектором артиллерии; Сорбье, сменивший Ларибуассьера на этом посту; д'Эдувиль-младший, впоследствии полномочный министр во Франкфурте; Малле, брат того, кто возглавил беспорядки в Париже в 1813 году; офицер по имени Мабилль, которого по возвращении из эмиграции император назначил на должность в почтовом ведомстве; Роллан де Вилларсо, впоследствии префект Низма; Десмацци-младший, его товарищ по военной школе и друг его юности, который после восшествия Наполеона на престол стал хранителем императорского гардероба.

В корпусе были офицеры, более или менее обеспеченные в своих обстоятельствах; Наполеон принадлежал к числу первых. Он получал от своей семьи 1200 франков в год, что составляло тогда полное жалованье офицера. В полку было два человека, которые могли позволить себе содержать кабриолеты или что-то вроде карет, и на них смотрели как на очень великих людей. Сорбье был одним из этих двоих: его компаньоны заставили его возить их по городу, и они отплатили за это шутками и каламбурами. Сорбье был сыном врача в Мулене.

В Валансе Наполеон рано познакомился с мадам дю Коломбье, дамой лет пятидесяти, наделенной многими редкими и достойными уважения качествами и считавшейся самой выдающейся личностью в городе. Она питала большое уважение к молодому артиллерийскому офицеру, и благодаря ее знакомству он вращался в лучшем обществе Валанса и его окрестностей. Она познакомила его с аббатом де Сен-Рюфом, пожилым состоятельным человеком, которого часто навещали самые выдающиеся люди страны. За благосклонность, которой он пользовался, Наполеон был обязан его обширной информации в сочетании с легкостью и силой, с которыми он использовал ее в своих целях. Мадам дю Коломбье часто предсказывала, что он станет выдающимся человеком. Смерть этой дамы произошла примерно во время начала Революции: это было событие, к которому она проявляла большой интерес, и в последние минуты ее жизни было слышно, как она говорила, что, если бы с молодым Наполеоном не случилось несчастья, он, несомненно, сыграл бы выдающуюся роль в событиях того времени. Император никогда не говорил о мадам дю Коломбье иначе, как с выражением самой нежной благодарности; и он без колебаний признавал, что ценные знакомства и превосходное общество в обществе, которые она обеспечила ему, оказали большое влияние на его судьбу.

Веселье, которым наслаждался Наполеон в этот период своей жизни, вызывало большую зависть со стороны его товарищей-офицеров. Они были недовольны тем, что он так часто отсутствовал среди них, хотя его поступок не мог быть для них разумным основанием для обиды. К счастью, комендант, господин д'Уртюбье, справедливо оценил его характер: он проявил к нему большую доброту и предоставил ему возможность выполнять свои военные обязанности и в то же время наслаждаться удовольствиями общества.

Наполеон почувствовал привязанность к мадемуазель дю Коломбье, которая, со своей стороны, не была равнодушна к его достоинствам. Это была первая любовь обоих; и это была та любовь, которая, как можно было ожидать, должна была возникнуть в их возрасте и с их образованием. “Мы были самыми невинными созданиями, какие только можно вообразить, - любил говорить император. - мы устраивали вместе небольшие собрания: я хорошо помню одно, которое состоялось летним утром, как раз на рассвете. Трудно поверить, что все наше счастье состояло в том, чтобы вместе есть вишни”.

Было сказано, что мать хотела заключить этот брак, а отец воспротивился ему на том основании, что своим союзом они погубят друг друга; в то время как каждому по отдельности была уготована удачная карьера. Но эта история не соответствует действительности, как и другой анекдот, связанный с браком с мадемуазель Клэри, впоследствии мадам Бернадотт, ныне королевой Швеции.

В 1805 году император, готовясь к коронации королем Италии, проезжая через Лион, снова увидел мадемуазель дю Коломбье, которая теперь сменила имя на мадам де Брессье. Она получила доступ к нему с некоторым трудом, поскольку он был окружен королевским этикетом. Наполеон был счастлив снова увидеть ее; но он обнаружил, что она сильно изменилась к худшему. Он сделал для ее мужа то, о чем она просила, и назначил ее фрейлиной одной из своих сестер.

Мадемуазель де Лорансен и Сен-Жермен были в то время главными тостующими в Валансе, где они разделяли всеобщее восхищение. Последняя вышла замуж за месье де Монталиве, которого в то время также знал император и который впоследствии был назначен министром внутренних дел. “Он был честным человеком, - сказал Наполеон, - и, я полагаю, оставался крепко привязанным ко мне”.

Когда императору было около восемнадцати-двадцати лет, он отличался обширными знаниями, обладал рефлексивным складом ума и сильными способностями к рассуждению. Его чтение было очень обширным, и он глубоко размышлял над приобретенным таким образом багажом знаний, большую часть которых, как он обычно говорил, он, вероятно, с тех пор утратил. Его искрометное остроумие и энергичный язык отличали его повсюду, куда бы он ни пошел: он был любимцем всех, особенно прекрасного пола, которому он зарекомендовал себя элегантностью и новизной своих идей, а также смелостью своих аргументов. Что касается мужчин, то они часто боялись вступать с ним в те дискуссии, на которые его вела естественная уверенность в своих силах.

Многие люди, знавшие его в ранний период жизни, предсказывали его выдающуюся карьеру; и они смотрели на события его жизни без удивления. В раннем возрасте он анонимно получил премию Лионской академии за следующий вопрос, предложенный Рейналем: *“Какие принципы и институты рассчитаны на то, чтобы продвинуть человечество к максимально*

возможной степени счастья?” Анонимный мемориал привлек большое внимание: он идеально соответствовал идеям того времени. Она началась с вопроса, в чем состоит счастье, и ответ был таков: в совершенном наслаждении жизнью способом, наиболее соответствующим нашей моральной и физической организации. Став императором, Наполеон однажды беседовал на эту тему с г-ном де Талейраном: последний, как искусный придворный, вскоре после этого подарил ему знаменитый мемориал, который он раздобыл в архиве Лионской академии. Император взял его и, прочитав несколько страниц, бросил в огонь это первое произведение своей юности. “Мы никогда не можем продумать все”, - сказал Наполеон, и г-н де Талейран не позаботился о том, чтобы скопировать это.

Принц де Конде однажды посетил артиллерийское училище в Оксоне, и кадеты сочли за высокую честь пройти экзамен у этого военного князя. Комендант, несмотря на иерархию, поставил молодого Наполеона во главе полигона, отдав предпочтение другим лицам более высокого ранга. Случилось так, что за день до экзамена все пушки полигона были заряжены, но Наполеон был слишком настороже, чтобы попасться на эту уловку своих товарищей или, возможно, на ловушку знаменитого путешественника.

Принято считать, что Наполеон в отрочестве был неразговорчив, угрюм и угрюмо-унылым; напротив, он отличался очень живым характером. Он никогда не казался более восхищенным, чем когда рассказывал нам о различных трюках, которые он привык разыгрывать, когда учился в Артиллерийском училище. Описывая радостные моменты своей ранней юности, он, кажется, забывает о несчастьях, которые держат его в плену.

Там был старый комендант, старше восьмидесяти лет, к которому кадеты питали очень большое уважение, несмотря на многочисленные шутки, которые они над ним отпускали. Однажды, когда он проверял их стрельбу из пушки и следил за каждым выстрелом в бинокль, он заявил, что они были далеки от попадания в цель, и спросил тех, кто находился рядом с ним, видели ли они попадание мяча. Никто не заметил, как молодые люди ускользали от мяча каждый раз, когда наносили удар. Старый генерал был довольно сметлив; после пяти или шести выстрелов ему пришлось в голову сосчитать шары. Трюк был раскрыт. Генерал счел ее очень хорошей, но, тем не менее, приказал арестовать всех, кто в ней участвовал.

Кадеты время от времени обижались на кого-нибудь из своих капитанов или решали отомстить другим, на кого у них был зуб. Тогда они решили изгнать их из общества и довести до необходимости подвергнуть себя своего рода аресту. Четверо или пятеро кадетов взялись за выполнение этого плана. Они набросились на свою жертву, преследовали ее в любой компании, и ему не давали раскрыть рта без того, чтобы ему не противоречили методично и логично, хотя всегда со строгим соблюдением вежливости: в конце концов бедняга обнаружил, что уход - его единственная альтернатива.

“В другой раз, ” рассказывал Наполеон, - одному из моих товарищей, который, к несчастью, жил надо мной, вздумалось научиться играть на рожке, и он издавал такой отвратительный шум, что полностью мешал занятиям тех, кто находился в пределах слышимости. Однажды мы встретились на лестнице; ‘Тебе не надоело играть на рожке?’ - спросил я. “Вовсе нет”, - ответил он. ‘Во всяком случае, ты утомляешь других людей’. ‘Я сожалею об этом’. ‘Было бы лучше, если бы вы отправились практиковать в другое место’. ‘Я хозяин в своей квартире’. ‘Возможно, вас научат сомневаться на этот счет. ”Едва ли у кого-нибудь хватит смелости попытаться научить меня этому”. Последовал вызов; но прежде чем противники встретились, дело было передано

на рассмотрение совета кадетов, и было решено, что одному следует упражняться в игре на рожке на большем расстоянии, а другому следует быть более сговорчивым.

Во время кампании 1814 года император снова встретил своего валторниста в окрестностях Суассона или Лана: он жил в своем поместье и сообщил некоторые важные сведения о позиции противника. Император сделал его одним из своих адъютантов; этим офицером был полковник Бюсси.

Приданный своему артиллерийскому полку, Наполеон пользовался любой возможностью пообщаться в обществе, где он неизменно производил приятное впечатление. Женщины того времени высоко ценили остроумие противоположного пола; это было качество, которое никогда не переставало завоевывать их расположение. Наполеон в этот период совершил то, что он назвал своим Сентиментальным путешествием из Валенсии в Мон-Сени в Бургундии, и он намеревался написать отчет о нем в манере Стерна. Верный Демацци принадлежал к этой партии: он постоянно был с ним, и его рассказ о частной жизни Наполеона, если соединить его с подробностями его общественной карьеры, составил бы совершенную историю императора. Тогда стало бы ясно, что, какой бы необычной ни была его жизнь в отношении ее происшествий, все же ничто не могло быть более простым или естественным, чем ее течение.

Обстоятельства и размышления значительно изменили его характер. Даже его стиль выражения, сейчас такой лаконичный, в молодости был рассеянным и выразительным. Во время работы Законодательного собрания Наполеон принял серьезный вид и стал менее общительным, чем раньше. Итальянская армия также ознаменовала новую эпоху в его характере. Его крайняя молодость, когда он принял командование армией, обусловила необходимость того, чтобы он проявлял большую сдержанность и предельную строгость нравов. “Это было совершенно необходимо,” сказал он, “чтобы я мог командовать людьми, стоящими намного выше меня по возрасту. Я придерживался линии поведения, поистине безупречной и образцовой. Я показал себя кем-то вроде Катона. Я, должно быть, казался таким в глазах всех. Я был философом и мудрецом”. В этом образе он появился в “Театре мира”.

Наполеон находился в гарнизоне в Валансе, когда вспыхнула Революция. В то время считалось особенно важным побудить офицеров-артиллеристов эмигрировать; и офицеры, со своей стороны, очень сильно разделились во мнениях. Наполеон, насквозь проникнутый представлениями эпохи, обладавший природным инстинктом к великим деяниям и страстью к национальной славе, поддержал дело Революции, и его пример оказал влияние на большинство полка. Он был горячим патриотом Учредительного собрания, но Законодательное собрание ознаменовало новый период в его идеях и мнениях.

Он был в Париже 21 июня 1792 года и был свидетелем восстания жителей предместий, которые прошли через сад Тюильри и ворвались во дворец. Там было всего 6000 человек; просто беспорядочная толпа, язык и одежда которой доказывали, что они принадлежат к самому низшему классу общества.

Наполеон также был свидетелем событий 10 августа, в ходе которых нападавшие не были ни выше рангом, ни более грозными по численности.

В 1793 году Наполеон находился на Корсике, где командовал Национальной гвардией. Он выступил против Паоли, как только у него возникло подозрение, что ветеран, к которому он до сих пор был так сильно привязан, вынашивает план предать остров англичанам. Следовательно,

это неправда, как это обычно сообщалось, что Наполеон или кто-то из членов его семьи был в свое время в Англии, предлагая набрать корсиканский полк для английской службы.

Англичане и Паоли утомили корсиканских патриотов и сожгли Аяччо. Дом Буонапартов был уничтожен во время общего пожара, и семье пришлось бежать на Континент. Они обосновались в Марселе, откуда Наполеон направился в Париж. Он прибыл как раз в тот момент, когда марсельские федералисты сдали англичанам Тулон.

ОСТРОВА ЗЕЛЕННОГО МЫСА.—НАПОЛЕОН ПРИ ОСАДЕ ТУЛОНА.—ВОЗВЫШЕНИЕ ДЮРОКА И ЖЮНО.—НАПОЛЕОН ССОРИТСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАРОДА.—ССОРЫ С ОБРИ.—АНЕКДОТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ВАНДЕМЬЕРА.—НАПОЛЕОНОВСКИЙ ГЕНЕРАЛ АРМИИ ИТАЛИИ.—ЦЕЛОСТНОСТЬ ЕГО ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.—ЕГО БЕСКОРЫСТИЕ.—ПРОЗВИЩЕ ПТИ-КАПОРАЛЬ.-РАЗНИЦА Между СИСТЕМОЙ ДИРЕКТОРИИ И СИСТЕМОЙ ГЕНЕРАЛА АРМИИ ИТАЛИИ.

1-6 сентября. 1 сентября мы определили, исходя из нашей широты, что в течение дня должны увидеть острова Кабо-Верд. Однако небо было затянуто тучами, и ночью мы ничего не могли разглядеть. Адмирал, убежденный, что в определении нашей долготы произошла ошибка, приготовился взять курс на запад вправо, чтобы поравняться с островами, когда шедший впереди нас бриг сигналом сообщил, что обнаружил их слева. Ночью яростно дул юго-восточный ветер, и если бы наша ошибка была обратной той, какой она была, и адмирал действительно повернул вправо, не исключено, что мы были бы сбиты с курса; доказательство того, что, несмотря на успехи науки, ошибки очень часто случаются и что шансы на навигацию очень велики. Поскольку ветер продолжал дуть сильный, а море бушевало, адмирал предпочел продолжить свой курс, а не ждать, чтобы набрать воды, которой, как он полагал, у него уже было достаточно. Теперь все обещало благополучный переход; мы уже очень далеко продвинулись по нашему курсу. Все обстоятельства по-прежнему благоприятствовали; погода стояла мягкая, и мы могли бы даже считать наше путешествие приятным, если бы предприняли его в соответствии с нашими собственными планами и склонностями; но как могли мы забыть наши прошлые невзгоды или закрыть глаза на будущее?

Только оккупация могла бы позволить нам поддерживать вялость и скуку наших дней. Я взялся учить своего сына английскому языку, и император, которому я сообщил об успехах, которых он добивается, выразил желание тоже учиться. Я постарался составить очень простой план его обучения, чтобы избавить его от лишних хлопот. Это очень хорошо удавалось в течение двух или трех дней; носкука, вызванная изучением, была, по крайней мере, равна той, которой оно должно было противодействовать, и английский язык был отложен в сторону. Император иногда упрекал меня в том, что я прекратил свои уроки: я отвечал, что у меня готово лекарство, если у него хватит смелости принять его. В остальном, особенно перед англичанами, его манеры и привычки всегда были одинаковыми: с его губ никогда не срывалось ни единого ропота или пожелания; он неизменно казался довольным, терпеливым и добродушным.

Адмирал, который, я полагаю, из-за нашей репутации проявил большую чопорность при нашем отплытии из Англии, постепенно отбросил свою сдержанность и с каждым днем проявлял все больший интерес к своему пленнику. Он представлял опасность, которой подвергался, выходя на палубу после обеда из-за вечерней сырости; император тогда иногда брал его под руку и продлевал беседу, которая неизменно доставляла ему огромное удовольствие. Меня заверили,

что адмирал тщательно записал все подробности, которые ему удалось собрать. Если это правда, то замечания, которые император однажды сделал за обедом о военно—морских делах — о французских ресурсах на юге; о тех, которые он уже создал, и о тех, которые он обдумывал; и о портах и гаванях Средиземного моря: все это адмирал выслушал с глубоким вниманием и как будто боялся прервать - составят главу, поистине ценную для моряка.

Теперь я вернусь к деталям, собранным во время нашей обычной беседы. Нижеследующее относится к осаде Тулона.

В сентябре 1793 года Наполеон Бонапарт, которому тогда шел двадцать четвертый год, был еще неизвестен миру, которому суждено было греметь его именем. Он был подполковником артиллерии и пробыл в Париже всего несколько недель, покинув Корсику, где политические события вынудили его уступить фракции Паоли. Англичане овладели Тулоном; требовался опытный артиллерийский офицер для руководства осадными операциями, и Наполеон был зациклен на этом. Там история подхватит его, чтобы никогда больше не покидать; там начинается его бессмертие.

Я ссылаюсь на Мемуары об Итальянской кампании, чтобы узнать о плане нападения, который он принял, и о том, каким образом этот план был приведен в исполнение. Там будет видно, что это он, и только он, взял крепость. Несомненно, это был великий триумф, но, чтобы оценить его по достоинству, необходимо было бы сравнить план атаки с отчетом об эвакуации; первый является буквальным предсказанием, а другой - исполнением слово в слово. С этого момента молодой командующий артиллерией пользовался высочайшей репутацией. Император никогда не вспоминает об этом периоде без удовольствия и всегда упоминает его как самый счастливый период своей жизни. Взятие Тулона было его первым успешным достижением, и оно, естественно, вызывает самые теплые воспоминания. История итальянской кампании представит точную картину трех главнокомандующих, сменявших друг друга во время осады: непостижимого невежества Карто, мрачной жестокости Доппета и честного мужества Дюгомье. О них я здесь ничего не буду говорить.

При первом всплеске революции во французской армии не было ничего, кроме беспорядка в *материальной части* и невежества *личного* состава, что объяснялось как неразберихой того времени, так и быстротой и нерегулярностью, с которой производились продвижения по службе. Следующий рассказ даст представление о состоянии дел и нравах того времени:

По прибытии в штаб-квартиру Наполеон встретил генерала Карто, красивого мужчину, с головы до ног увешанного золотыми галунами, который спросил его, с каким поручением его послали. Молодой офицер скромно предъявил письмо, предписывавшее ему руководить под командованием генерала действиями артиллерии. “В этом не было никакой необходимости”, - сказал красивый мужчина, подкручивая усы. “Нам не нужна помощь, чтобы вернуть Тулон; однако, добро пожаловать, и вы можете разделить славу сожжения города завтра, не испытав ни малейшей усталости”. И он заставил его остаться, чтобы поужинать с ним.

Компания из тридцати человек села за стол; одному генералу прислуживали как принцу, в то время как все остальные умирали с голоду; обстоятельство, которое в те дни равенства странным образом потрясло нового гостя. На следующее утро, на рассвете, генерал вывез его в своем кабриолете, чтобы полюбоваться, как он сказал, подготовкой к атаке. Как только он пересек возвышенность и оказался в пределах видимости дороги, они вышли из экипажа и

направились к виноградникам на обочине. Затем комендант артиллерии заметил какие-то боеприпасы и какие-то подкопы, за которые для него было буквально невозможно хотеть в малейшей степени дать отчет. “Дюпа, ” надменно сказал генерал, поворачиваясь к своему адъютанту, своему доверенному лицу, “ это наши батареи?” — “Да, генерал”. — “А наш парк?” — “Там, совсем рядом.” - “А наши раскаленные ядра?”- “Вон в тех домах, где две роты все утро были заняты их обогревом”. — “Но как мы сможем нести эти раскаленные шары?” Это соображение, казалось, совершенно озадачило их обоих, и они обратились к офицеру артиллерии с просьбой узнать, не может ли он, благодаря своим научным познаниям, объяснить, как этой штукой следует управлять. Наполеон, который испытал бы большое искушение принять все это за розыгрыш, если бы его следователи проявили меньшее простодушие, поскольку они находились более чем в полутора лигах от объекта нападения, призвал на помощь всю серьезность, которой он был мастер, и попытался убедить их, прежде чем беспокоиться о раскаленных шарах, попробовать дальность выстрела холодными. После долгих хлопот он, наконец, убедил их последовать его совету, но только после того, как ему очень повезло использовать технический термин *coup d'épreuve* (пробный выстрел), который пришелся им по вкусу и склонил их к его мнению. Затем они провели эксперимент, но выстрел не достиг и трети требуемого расстояния, и генерал и Дюпа начали ругать марсельцев и аристократов, которые, по их словам, злонамеренно испортили порох. Тем временем подъехал верхом представитель народа: это был Гаспарин, интеллигентный человек, служивший в армии. — Наполеон, поняв, как обстоят дела, и смело решив, каким курсом он намеревался следовать, немедленно напустил на себя большую уверенность и убедил представителя доверить ему все руководство делом. Он без колебаний разоблачил беспримерное невежество всех, кто был рядом с ним, и с этого момента взял на себя все руководство осадой.

Карто был человеком настолько ограниченного интеллекта, что было невозможно заставить его понять, что для облегчения взятия Тулона необходимо будет атаковать у выхода из дороги. Когда комендант артиллерии иногда указывал на этот выход на карте и говорил ему, что *там находится Тулон*, Карто подозревал, что тот очень плохо разбирается в географии; и когда, несмотря на его сопротивление, полномочный представитель принял решение о выборе этого отдаленного пункта для атаки, генерала преследовала мысль о предательских замыслах, и он часто с большим беспокойством замечал, что Тулон находится не в том направлении.

Карто хотел однажды обязать коменданта установить батарею, расположив заднюю часть орудий так близко к фасаду дома, чтобы не оставалось места для отдачи. В другой раз, вернувшись с утреннего парада, он послал за комендантом, чтобы сообщить ему, что только что обнаружил позицию, с которой батарея из шести-двенадцати орудий безошибочно возьмет Тулон за несколько дней: это был небольшой холм, с которого можно было контролировать три или четыре форта и несколько точек города. Он был взбешен отказом коменданта артиллерии, который заметил ему, что, хотя батарея командует каждым пунктом, она сама командует каждым пунктом; что двенадцати орудиям противостоят сто пятьдесят; и этого простого вычитания будет достаточно, чтобы показать ему его невыгодное положение. У коменданта инженерного управления спросили его мнение, и, поскольку он без колебаний согласился с мнением коменданта артиллерии, Карто сказал, что с этими образованными подразделениями ничего нельзя сделать, поскольку все они идут рука об руку. Наконец, чтобы положить конец постоянно возникающим трудностям, представитель решил, что Карто должен сообщить коменданту артиллерии свой общий план атаки и что последний должен разработать детали в соответствии с правилами своего ведомства. Памятный план Карто заключался в следующем: “Генерал

артиллерии будет штурмовать Тулон в течение трех дней, по истечении которых я атакую его тремя колоннами и возьму его”.

Однако в Париже инженерный комитет считал эту итоговую меру скорее юмористической, чем мудрой, и это стало одной из причин, приведших к пересмотру решения Карто. Недостатка в планах действительно не было; поскольку возвращение Тулона было предложено в качестве предмета для соревнования в народных обществах, планы сыпались со всех сторон. Наполеон говорит, что за время осады он, должно быть, получил по меньшей мере шестьсот ранений. Именно представителю Гаспарину Наполеон был обязан триумфом своего плана (того, который привел к захвату Тулона) над возражениями комитетов Конвента. Он сохранил благодарное воспоминание об этом обстоятельстве: по его словам, именно Гаспарин положил начало его карьере.^[16]

Во всех спорах между Карто и комендантом артиллерии, которые обычно происходили в присутствии жены генерала, последняя неизменно принимала сторону офицера артиллерии, с большой *наивностью* говоря своему мужу: “Оставь молодого человека в покое, он знает об этом больше тебя, потому что никогда не спрашивает твоего совета; кроме того, именно ты должен отчитываться: слава будет твоей”.

Эта женщина была не лишена некоторой доли здравого смысла. Когда она вернулась в Париж после смерти своего мужа, марсельские якобинцы устроили великолепный праздник в честь опальной семьи. В ходе вечера разговор случайно зашел о коменданте артиллерии, которого с энтузиазмом похвалили. “Не рассчитывайте на него, - сказала она, - этот молодой человек слишком понятлив, чтобы долго оставаться *санкюлотом*”. На что генерал воскликнул громким голосом: “Жена Карто, неужели вы тогда выставите нас всех дураками?” “Нет, я этого не говорил, моя дорогая, но... Я должен сказать тебе, что он не в твоём вкусе.

Однажды в штаб-квартиру с парижской дороги прибыла великолепная карета; за ней последовала вторая, потом третья; наконец появилось не менее пятнадцати человек. Можно себе представить, сколь велико было изумление и любопытство, вызванные подобным обстоятельством в те времена республиканской простоты. Сам *великий монарх* не мог бы совершить путешествие с большей помпой. Вся кавалькада была закуплена по реквизиции в столице; несколько экипажей принадлежали Двору. Из них вышло около шестидесяти солдат приятной наружности и осведомились о главнокомандующем; они подошли к нему с важным видом послов: “Гражданин генерал, ” сказал оратор отряда, “ мы прибыли из Парижа; патриоты возмущены вашим бездействием и задержкой. Земля Республики давно осквернена; она приходит в ярость при мысли, что оскорбление все еще остается неотмщенным: она спрашивает, почему Тулон до сих пор не взят? Почему английский флот до сих пор не уничтожен? В своем негодовании она воззвала к своим храбрым сыновьям; мы подчинились ее призыву и сгораем от нетерпения оправдать ее ожидания. Мы артиллеристы-добровольцы из Парижа: снабдите нас оружием, и завтра мы выступим на врага”. Генерал, сбитый с толку таким обращением, обратился к коменданту артиллерии, который шепотом пообещал избавить его от этих героев на следующее утро. Их хорошо приняли, и на рассвете артиллерийский начальник повел их на берег моря и предоставил в их распоряжение несколько орудий. Удивленные, обнаружив, что они обнажены с головы до ног, они спросили, нет ли здесь укрытия или погон. Им ответили, что все эти вещи вышли из моды; что патриотизм отменил их. Тем временем английский фрегат дал бортовой залп и обратил в бегство всех хвастунов. По всему лагерю

раздался только один крик; некоторые открыто бежали, а остальные тихо смешались с осаждающими.

Теперь воцарились беспорядок и анархия. Дюпа, заместитель главнокомандующего, человек бездарный, был занят и постоянно вмешивался вместе с артиллеристами в устройство их полевого обоза и батарей. Был составлен план, как избавиться от него. Они выставили его на посмешище и подначивали друг друга, пока не стали очень неистовыми в своих шутках. Внезапно среди них появился Дюпа со всей своей обычной уверенностью, отдавая приказы и расспрашивая обо всем, что видел. Он получал невежливые ответы, и раздавались высокие слова. Шум распространился со всех сторон; крики "*Аристократ*" и "*Фонарь*" раздавались изо всех уст; Дюпа прищепил свою лошадь и больше не возвращался, чтобы досаждать им.

Командующего артиллерией можно было увидеть повсюду. Его активность и знания давали ему решающее влияние на остальную армию. Всякий раз, когда неприятель предпринимал вылазку или вынуждал осаждающих прибегать к быстрым и неожиданным передвижениям, начальники колонн и отрядов всегда были уверены, что воскликнут: "Бегите к коменданту артиллерии и спросите его, что нам делать; он разбирается в местности лучше, чем кто-либо другой". Этот совет был единодушно принят безропотно. Он не щадил себя; под ним погибло несколько лошадей, а один англичанин нанес ему штыковую рану в левое бедро, которая на короткое время грозила ампутацией.

Однажды, находясь на батарее, где был убит один из артиллеристов, он схватил трамбовку и собственноручно зарядил ее десять или двенадцать раз. Несколько дней спустя на него напала сильная кожная болезнь. Никто не мог понять, где он подхватил ее, пока Мюирон, его адъютант, не обнаружил, что мертвый стрелок был заражен этой болезнью. В пылу молодости и активности на службе командующий артиллерией удовлетворился незначительными средствами, и расстройство исчезло; но яд только глубже проник в его организм, он надолго подорвал его здоровье и едва не стоил ему жизни. От этого расстройства произошли худоба, немощь тела и болезненный цвет лица, которыми отличались главнокомандующие итальянской и египетской армиями.

Лишь гораздо позже, в Тюильри, Корвизару удалось путем наложения многочисленных волдырей на груди вернуть себе совершенное здоровье; и именно тогда он приобрел тучность, за которую его с тех пор заметили.

Из коменданта артиллерии в армии Тулона Наполеон мог бы стать главнокомандующим еще до окончания осады. В самый день нападения на *Малый Гибралтар* генерал Дюгомье, который откладывал его на несколько дней, захотел отложить его еще дольше; около трех или четырех часов пополудни представители послали за Наполеоном: они были недовольны Дюгомье, особенно из-за его промедления; они хотели лишиться его командования и передать его начальнику артиллерии, который отказался принять его. Наполеон отправился к генералу, которого он уважал и любил, сообщил ему о том, что произошло, и убедил его решиться на атаку. Около восьми или девяти вечера, когда все приготовления были завершены, и как раз в тот момент, когда атака должна была вот-вот начаться, в положении дел произошло изменение, и представители отменили атаку. Дюгомье, однако, все еще находясь под влиянием коменданта артиллерии, настаивал: если бы он потерпел неудачу, то должен был бы лишиться головы. Таков был ход дел и справедливость того времени.

Записки, которые парижские комитеты обнаружили в канцелярии артиллерийского департамента, касающиеся Наполеона, впервые привлекли их внимание к его поведению при осаде Тулона. Они увидели, что, несмотря на его молодость и низость ранга, как только он появился там, он стал хозяином.— Это был естественный эффект преобладания знаний, активности и энергии над невежеством и замешательством момента. Фактически он был завоевателем Тулона, и все же в официальных донесениях его имя почти не упоминается. Он овладел городом еще до того, как армия едва ли могла мечтать об этом. После взятия Маленького Гибралтара, который он всегда считал ключом ко всему предприятию, он сказал старому Дюгомье, изнемогавшему от усталости: “Иди отдохни — мы взяли Тулон — ты можешь переночевать там послезавтра”. Когда Дюгомье убедился, что дело действительно сделано, — когда он вспомнил, что молодой комендант артиллерии всегда точно предсказывал, что произойдет, - его охватил энтузиазм и восхищение; он никогда не устал восхвалять его. Совершенно верно, как сообщают некоторые публикации того периода, что Дюгомье проинформировал парижские комитеты о том, что с ним был молодой человек, заслуживающий особого внимания; поскольку, какую бы сторону он ни принял, ему, несомненно, суждено было бросить большой вес на чашу весов. Когда Дюгомье вступил в армию Восточных Пиренеев, он хотел взять с собой молодого коменданта артиллерии, но этого он не смог сделать. Он, однако, говорил о нем беспрестанно; и в последующий период, когда та же самая армия после заключения мира с Испанией была отправлена для усиления итальянской армии, главнокомандующим которой Наполеон вскоре после этого стал, он обнаружил по прибытии, что в результате всего, что Дюгомье сказал о нем, у офицеров, по его собственному выражению, едва хватало глаз, чтобы смотреть на него.

Что касается Наполеона, то его успех при Тулоне не слишком удивил его; он наслаждался им, по его словам, с живым удовлетворением, без примеси удивления. Не менее счастлив он был и на следующий год в Саорджио, где его операции были достойны восхищения: за несколько дней он добился того, чего тщетно добивался в течение двух лет. “Вандемьер и даже Монтенотт, - сказал император, - никогда не побуждали меня смотреть на себя как на человека высшего класса; только после Лоди я был поражен возможностью стать решающим действующим лицом на сцене политических событий. Именно тогда зажглась первая искра моего честолюбия”. Он, однако, упомянул, что впоследствии, в Вандемьере, во время своего командования армией внутренних дел, он разработал план кампании, которая должна была завершиться мирным договором на вершине Симмеринга, и этот план вскоре после этого он привел в исполнение в Леобене. Возможно, его до сих пор можно найти в официальных архивах. Хорошо известная ярость того времени была еще более усилена под стенами Тулона собранием двухсот депутатов от соседних народных объединений, которые прибыли туда с целью подстрекательства к самым жестоким мерам. К ним следует отнести бесчинства, которые тогда совершались и на которые жаловалась вся армия. Когда впоследствии Наполеон прославился, были предприняты попытки обвинить его в этих зверствах. “Было бы унижительно, - сказал император, - думать о том, чтобы отвечать на подобную клевету”.

Как только Наполеон принял командование артиллерией в Тулоне, он воспользовался обстоятельствами, чтобы обеспечить возвращение многих своих старых товарищей, которые сначала оставили службу из-за своего происхождения или политических принципов. Он добился назначения полковника. Гассенди командующим марсельским арсеналом. Упрямство и суровость этого человека хорошо известны: они часто подвергали его опасности; не раз

Наполеону требовались вся бдительность и осторожность, чтобы уберечь его от последствий раздражения, которое вызывало его поведение.

Господство, которое Наполеон приобрел благодаря своим услугам в порту и арсенале Тулона, дало ему возможность спасти нескольких несчастных членов эмигрантской семьи Шабриан, или Шабрийан, которые были застигнуты штормами на море и выброшены на французский берег. Их собирались казнить, поскольку закон был решающим в отношении эмигрантов, которые могли вернуться во Францию. В свою защиту они настаивали на том, что их возвращение было чисто случайным и противоречило их собственным желаниям; единственной милостью, о которой они просили, было разрешение отплыть; но все было напрасно: они погибли бы, если бы командующий артиллерией не позаботился о собственной безопасности и не раздобыл для них крытую лодку, которую он отослал от французского побережья под предлогом дела, связанного с его ведомством. Во время правления Наполеона эти люди воспользовались случаем, чтобы выразить ему свою благодарность и сообщить, что они бережно хранили орден, который спас им жизни.

Наполеон сам в разное время подвергался ярости революционных убийц. Всякий раз, когда он основывал новую батарею, многочисленные патриотические делегации, находившиеся в лагере, добивались чести назвать ее в их честь. Наполеон назвал одну из них "батареей патриотов Юга": это было достаточным основанием для того, чтобы его осудили и обвинили в федерализме; и если бы он был менее полезным человеком, его бы арестовали или, другими словами, принесли в жертву. Короче говоря, язык не подходит для описания безумия и ужаса того времени. Например, император рассказал нам, что, занимаясь укреплением побережья в Марселе, он был свидетелем ужасного приговора купцу Хьюзу, человеку восьмидесяти четырех лет, глухому и почти слепому. Несмотря на его возраст и немощи, его жестокие палачи объявили его виновным в заговоре: его настоящим преступлением было то, что он стоил восемнадцать миллионов. Он и сам знал об этом и предложил передать свое состояние трибуналу при условии, что ему будет позволено сохранить пятьсот тысяч франков, на которые, по его словам, он долго не проживет. Но это предложение было отвергнуто, и ему отрубили голову. "При этом зрелище, - сказал Наполеон, - я подумал, что наступил конец света!" - выражение, которое он привык употреблять по любому экстраординарному поводу. Баррас и Фрерон были авторами этих зверств. Император отдал должное Робеспьеру, сказав, что видел длинные письма, написанные им своему брату, Робеспьеру младшему, который в то время был представителем армии Юга, в которых он горячо выступал против этих эксцессов и отрицал их, заявляя, что они опозорят и погубят Революцию.

Находясь в Тулоне, Наполеон подружился со многими людьми, которые впоследствии стали очень известными. Он выделил в свите молодого офицера, таланты которого ему сначала было очень трудно развить, но от которого он впоследствии получил величайшие услуги: это был Дюрок, который, несмотря на весьма невзрачную внешность, был наделен талантом самого основательного и полезного рода: он любил императора таким, какой он есть, был предан его интересам и в то же время знал, как сказать ему правду в нужное время. Впоследствии он был назначен герцогом де Фриуль и великим маршалом дворца. Он поставил императорский дом на отличную основу и сохранил самый совершенный порядок. После его смерти император подумал, что понес невосполнимую утрату, и многие другие люди придерживались того же мнения. Император сказал мне, что Дюрок был единственным человеком, который пользовался его близостью и полным доверием.

Во время возведения одной из первых батарей, которую Наполеон по прибытии в Тулон направил против англичан, он спросил, есть ли среди присутствующих сержант или капрал, умеющий писать. Из рядов выступил человек и написал под его диктовку на эполете. Едва записка была закончена, как пушечное ядро, выпущенное в направлении батареи, упало недалеко от этого места, и бумага была немедленно засыпана рыхлой землей, выброшенной пулей. “Что ж, ” сказал писатель, “ песок мне не понадобится”. Это замечание вместе с хладнокровием, с которым оно было сделано, привлекло внимание Наполеона и принесло состояние сержанту. Этим человеком был Жюно, впоследствии герцог Абрантеш, генерал-полковник гусарского полка, комендант Португалии и генерал-губернатор Иллирии, где он проявлял признаки психического отчуждения, которые усилились по его возвращении во Францию, где он нанес себе ужасные раны. Он умер жертвой неводержанности, которая подорвала как его здоровье, так и рассудок.

Наполеон, получив звание генерала артиллерии и командующего этим подразделением Итальянской армии, перенес туда все превосходство и влияние, которые он приобрел до Тулона; однако, тем не менее, он испытывал неудачи и даже опасности. Представитель Лапорта ненадолго арестовал его в Ницце за то, что он отказался подчиниться его авторитету. Другой представитель вынес ему приговор о объявлении вне закона, поскольку он не позволил ему использовать всех своих артиллерийских лошадей для почтовой службы. Наконец, декретом, который так и не был приведен в исполнение, он был вызван в суд Конвента за то, что предложил определенные военные меры относительно укреплений в Марселе.

Когда его прикрепили к армии Ниццы или Италии, он стал большим фаворитом представителя Робеспьера младшего, которого он описал как обладающего качествами, сильно отличающимися от его брата: последнего Наполеон никогда не видел. Робеспьер младший, когда его брат отозвал его в Париж незадолго до 9 Термидора, приложил все усилия, чтобы уговорить Наполеона сопровождать его. “Если бы я не оказал решительного сопротивления, - заметил император, - кто знает, к чему привел бы меня этот первый шаг и какая иная судьба была бы мне уготована?”

В Армии Ниццы был еще один Представитель, незначительный человек. Его жена, чрезвычайно красивая и обаятельная женщина, разделяла его власть и даже узурпировала ее; она была уроженкой Версаля. И муж, и жена уделяли генералу артиллерии большое внимание; они чрезвычайно полюбили его и обращались с ним самым любезным образом. Это было большим преимуществом для молодого генерала, поскольку в то время, при отсутствии или неэффективности законов, представитель народа был человеком огромной власти.

Человек, о котором здесь идет речь, был одним из тех, кто в Конвенте больше всего способствовал привлечению внимания к Наполеону во время вандемьерского кризиса: это было естественным следствием глубокого впечатления, произведенного характером и способностями молодого генерала.

Император рассказывает, что после того, как он взошел на трон, он снова увидел свою старую знакомую, прекрасную представительницу Ниццы. Она так сильно изменилась, что ее едва можно было узнать; ее муж умер, и она была доведена до крайней нищеты. Император с готовностью удовлетворил все, о чем она просила: “Он осуществил, - сказал он, - все ее мечты и даже вышел за их пределы”. Хотя она жила в Версале, прошло много лет, прежде чем ей удалось получить доступ к нему. Письма, петиции, молибы всех мастей оказались тщетными:

“Так трудно, “ сказал император, - достучаться до государя, даже когда он не желает отказывать себе”. Наконец, однажды, находясь на охоте в Версале, Наполеон случайно упомянул об этой даме в разговоре с Бертье, который тоже был уроженцем тех мест и знал ее в юности; и он, который никогда еще не соизволил упомянуть о ней и тем более внять ее просьбам, на следующий день представил ее государю. “Но почему вы не были представлены мне через наших общих знакомых в армии Ниццы?” - спросил император. “Многие из них теперь великие люди и находятся в постоянной близости со мной”. “Увы! - сир, - ответила она, - наше знакомство прекратилось, когда они стали великими, и меня постигло несчастье.

Император однажды сообщил мне некоторые подробности, касающиеся этой старой дружбы: “Я был, — сказал он, - очень молод, когда впервые познакомился с этой дамой; я гордился благоприятным впечатлением, которое произвел на нее, и пользовался любой возможностью, чтобы оказать ей все внимание, какое было в моих силах. Я упомяну одно обстоятельство, чтобы показать, как иногда злоупотребляют властью и от чего может зависеть судьба людей: ибо я не хуже остальных. Однажды я прогуливался с женой Представителя, осматривая наши позиции в окрестностях Кол ди Тенде, когда мне внезапно пришло в голову подкинуть ей идею о сражении, и с этой целью я приказал атаковать передовой пост. Мы были победителями, это правда; но в этом деле не было никакой выгоды. Нападение было простой прихотью, и все же оно стоило жизни нескольким людям. Я никогда не переставал упрекать себя всякий раз, когда оглядывался назад на это дело”.

События Термидора привели к изменениям в комитетах Конвента, и Обри, бывший капитан артиллерии, был назначен руководить Военным комитетом, и он перестроил армию. Он не забывал себя; он дослужился до звания генерала артиллерии и оказал покровительство нескольким своим старым товарищам, в ущерб младшим офицерам, которых он уволил. Наполеон, которому в то время едва исполнилось двадцать пять лет, стал генералом пехоты и был избран на службу в Вандею. Это обстоятельство побудило его уволиться из Итальянской армии, чтобы искренне протестовать против перемен, которые по всем параметрам его не удовлетворяли. Считая Обри непреклонным и даже оскорбленным его справедливыми заявлениями, он подал в отставку. Прошло совсем немного времени, прежде чем он снова был принят на работу в Топографический комитет, который следил за передвижениями армии и составлял планы кампаний: таким образом, он был занят в период 13 Вандемьера.

Увещевания Наполеона Обри по поводу его нового назначения представляли собой идеальную сцену: он яростно настаивал, потому что у него были факты, подтверждающие его слова; Обри был упрям и ожесточен, потому что в его руках была власть. Он сказал Наполеону, что тот слишком молод и что он должен позволить людям постарше уйти перед ним; Наполеон ответил, что солдат быстро стареет на поле боя, и что *он* только что вернулся с него. У Обри никогда не было никаких помолвок. Они дошли до очень высоких слов.

Я сообщил императору, что, вернувшись из эмиграции, я долгое время занимал на улице Сен-Флорентен точно такую же квартиру, в которой произошла эта сцена. Я часто слышал, как об этом говорили; и хотя это описывали недружелюбные языки, каждый, тем не менее, проявлял

большой интерес к описанию деталей и к попыткам угадать, в какой части комнаты был сделан тот или иной жест или произнесено какое-либо примечательное слово.

История знаменитого дня Вандемьера, оказавшего столь важное влияние на судьбу Революции и Наполеона, покажет, что он некоторое время колебался, прежде чем взяться за защиту Конвента.

В ночь, последовавшую за тем днем, Наполеон явился в Комитет сорока, который был учрежден в Тюильри. Он хотел закупить минометы и боеприпасы в Медоне; но президент (Камбасерес) проявил такую осмотрительность, что, несмотря на опасности, которыми был отмечен этот день, отказался подписать приказ; и просто, чтобы уладить дело, попросил предоставить орудия и боеприпасы в распоряжение генерала.

Во время своего командования Парижем, впоследствии 13 Вандемьера, Наполеону пришлось столкнуться с большим дефицитом, что вызвало несколько народных волнений. Однажды, когда обычная раздача не состоялась, у булочных собрались толпы людей. Наполеон прогуливался по городу с отрядом своего штаба, чтобы сохранить общественное спокойствие. Вокруг него собралась толпа людей, в основном женщин, громко требовавших хлеба. Толпа увеличивалась, крики усиливались, и положение Наполеона и его офицеров стало критическим. Женщина чудовищных размеров и тучности особенно бросалась в глаза своими жестами и восклицаниями. “Эти славные ребята в эполетах, ” сказала она, указывая на офицеров, “ смеются над нашим горем: пока они могут есть и толстеть, им все равно, умрут ли бедняги с голоду”. Наполеон повернулся к ней и сказал: “Добрая женщина, посмотри на меня; кто толще, ты или я?” Наполеон был в то время чрезвычайно худым: “Я был всего лишь листком пергамента”, - сказал он. Общий взрыв смеха обезоружил ярость толпы, и штабные офицеры продолжили свой обход.

Повествование о тринадцатом Вандемьере показывает, как Наполеон познакомился с мадам де Богарне и как он заключил брак, который был так сильно искажен в отчетах того времени. Как только его представили мадам де Богарне, он почти каждый вечер проводил в ее доме, который посещала самая приятная компания Парижа. Когда большинство гостей расходилось, обычно оставались г-н де Монтескью, отец главного камергера, герцог де Нивернуа, столь известный своим остроумием, и еще несколько человек. Они обычно оглядывались, чтобы убедиться, что все двери закрыты, и тогда говорили: “Давайте присядем и поболтаем о старом дворе; давайте совершим экскурсию в Версаль”.

Бедность казны и нехватка денег были настолько велики во время Республики, что после отъезда генерала Бонапарта в итальянскую армию все его усилия, объединенные с усилиями Директории, увенчались успехом только в том, что удалось собрать 2000 луидоров, которые он вез с собой в своей карете. С этой суммой он отправился завоевывать Италию и продвигаться к мировой империи. Любопытен следующий факт: в тот же день был опубликован приказ за подписью Бертье, предписывающий главнокомандующему по прибытии в штаб-квартиру в Ницце раздать разным генералам сумму в четыре луидора наличными, чтобы они могли приступить к кампании. В течение значительного времени никто не видел такого понятия, как настоящие деньги. Этот порядок дня отражает обстоятельства времени более правдиво, чем целые тома, написанные на эту тему.

Как только Наполеон вступил в армию, он показал себя человеком, рожденным для командования. С этого момента он заполнил театр военных действий мира;^[17] он оккупировал всю Европу; он был метеором, сверкающим на небосводе; он концентрировал все внимание, приковывал к себе все мысли и был предметом всех разговоров. С того времени каждая газета, каждое издание, каждый памятник стали свидетельством его подвигов. Его имя было начертано на каждой странице и в каждой строке и звучало из всех уст.

С момента его появления в командовании в его манерах, поведении и языке произошла полная революция. Декре часто рассказывал мне, что он был в Тулоне, когда впервые услышал о назначении Наполеона командующим итальянской армией. Он хорошо знал его по Парижу и считал себя с ним совершенно знакомым человеком. “Таким образом, - сказал он, - когда мы узнали, что новый генерал вот-вот проедет через город, я немедленно предложил всем моим товарищам представить их ему, гордясь своей близостью с ним. Я поспешила к нему, полная нетерпения и радости; дверь квартиры была распахнута, и я была готова броситься к нему со своей обычной фамильярностью, но его поза, его взгляд, тон его голоса внезапно остановили меня. Ни в его внешности, ни в манерах не было ничего оскорбительного, но впечатление, которое он производил, было достаточным, чтобы помешать мне когда-либо снова попытаться преодолеть разделявшее нас расстояние”.

Более того, полководчество Наполеона характеризовалось мастерством, энергией и чистотой его военного управления; его постоянной ненавистью к казнокрадству любого рода и полным пренебрежением к собственным частным интересам. “Когда я вернулся из итальянской кампании, ” сказал он, “ у меня не было при себе 300 000 франков. Я легко мог бы привезти 10 или 12 миллионов; эта сумма могла бы быть моей. Я никогда не оформлял никаких счетов, и у меня никогда ничего не просили. Я ожидал, что по возвращении получу какую-нибудь большую национальную награду. Было публично объявлено, что "Шамбор" должен был достаться мне, и я был бы очень рад получить его, но Директория отвергла эту идею. Однако я перевел во Францию по меньшей мере 50 000 000 долларов на службу государству. Я полагаю, это был первый случай в современной истории, когда армия вносила свой вклад в поддержание страны, которой она принадлежала, вместо того, чтобы быть обузой для нее ”.

Когда Наполеон заключал договор с герцогом Моденским, Саличетти, правительственный комиссар при армии, который до сих пор был с ним в безразличных отношениях, вошел в его кабинет. — Командор д'Эсте, - сказал он, - брат герцога, находится здесь с четырьмя миллионами золотом, которые хранятся в четырех сундуках. Он пришел от имени своего брата просить вас принять их, и я советую вам это сделать. Я ваш соотечественник и знаю о ваших семейных делах. Директория и Законодательный орган никогда не признают ваши услуги. Эти деньги принадлежат вам; берите их без зазрения совести и без огласки. Вклад герцога будет пропорционально уменьшен, и он будет очень рад обрести покровителя”. — “Благодарю вас, — холодно ответил Наполеон. - Я не отдам себя за эту сумму во власть герцога Моденского. Я хочу оставаться свободным”.

Главнокомандующий той же армией часто рассказывал, что он был свидетелем предложения семи миллионов золотом, сделанного подобным образом Наполеону правительством Венеции, чтобы спасти его от разрушения, но это предложение было отклонено. Император улыбнулся при виде восхищения, проявленного этим финансистом, которому отказ его генерала показался сверхчеловеческим поступком — поступком гораздо более трудным и благородным, чем

одерживание побед. Император с некоторой долей самодовольства рассказывал об этих анекдотах, свидетельствующих о его бескорыстии. Однако он заметил, что был неправ и что такой образ действий был самым непредусмотрительным, какой он мог избрать, независимо от того, было ли его намерение стать главой партии и приобрести влияние или остаться на положении частного лица; ибо по возвращении он обнаружил себя почти нищим; и он мог бы продолжить карьеру в абсолютной бедности, в то время как его подчиненные генералы и комиссары сколачивали большие состояния. “Но, ” добавил он, “ если бы мой комиссар видел, как я брал взятку, кто может сказать, как далеко он мог бы зайти? Мой отказ был, по крайней мере, сдерживающим фактором для него.

“Когда я был поставлен во главе дел в качестве консула, только подав пример бескорыстия и проявив максимальную бдительность, я смог добиться успеха в изменении поведения Администрации и положить конец ужасному зрелищу директорских казнокрадств. Мне стоило огромного труда преодолеть склонности первых лиц государства, поведение которых при мне со временем стало строгим и безукоризненным. Я был вынужден постоянно держать их в страхе. Как часто я не повторял на своих советах, что, если бы вина моего собственного брата была признана, я бы без колебаний уволил его!”

Ни один человек в мире никогда не имел в своем распоряжении большего богатства и не присваивал себе меньшего. — Наполеон, по его собственному свидетельству, хранил в подвалах Тюильри целых четыреста миллионов золотых монет. Его необычайное состояние составляло более семисот миллионов. Он сказал, что пожертвовал более пятисот миллионов на нужды армии. И, что весьма удивительно, тот, кто распространял такие кучи богатства, никогда не обладал никакой собственной частной собственностью! Он собрал в Музее сокровища, которые невозможно было оценить, и все же у него никогда не было ни одной собственной картины или диковинки.

По возвращении из Италии и накануне отъезда в Египет он завладел Мальмезоном и поместил там почти все свое имущество. Он купил его на имя своей жены, которая была старше его, и, следовательно, в случае, если бы он пережил ее, он, должно быть, утратил бы все права на него. Дело в том, как он сам сказал, что у него никогда не было вкуса или стремления к богатству.

“Если я сейчас и обладаю какой-либо вещью”,^[18] продолжил он, “то это благодаря мерам, которые были приняты после моего отъезда: но даже в этом случае от ничтожной вероятности зависело, найдется ли в мире вещь, которую я мог бы назвать своей, или нет. Но у каждого свои относительные идеи. У меня склонность к созданию, а не к обладанию. Мое богатство состояло в славе и известности: Симплон и Лувр были в глазах народа и иностранцев большей моей собственностью, чем могли бы быть частные владения. Я покупал бриллианты для короны, ремонтировал и украшал императорские дворцы; и иногда я не мог отделаться от мысли, что расходы, расточаемые Жозефиной на ее оранжереи и галерею, были настоящим ущербом для моего *Ботанического сада* и моего *Парижского музея*”.

Приняв командование итальянской армией, Наполеон, несмотря на свою чрезвычайную молодость, сразу же произвел на войска впечатление духа подчинения, уверенности и абсолютной преданности. Армия была покорена его гением, а не соблазнена его популярностью: в целом он был очень суров и сдержан. На протяжении всей своей жизни он неизменно пренебрегал попытками добиться благосклонности толпы недостойными средствами; возможно, он даже довел это чувство до такой степени, которая, возможно, была

ему вредна. Странный обычай установился в итальянской армии вследствие молодости командира или по какой-либо другой причине. После каждого сражения старшие солдаты обычно собирали совет и присваивали новое звание своему молодому генералу, который, когда появлялся в лагере, был принят ветеранами и отдал честь своим новым титулом. Они произвели его в чин капрала в Лоди и сержанта в Кастильоне; отсюда и прозвище “*Малый капораль*”, которое солдаты долгое время применяли к Наполеону. Как тонка цепочка, соединяющая самые тривиальные обстоятельства с самыми важными событиями! Возможно, именно это прозвище способствовало его чудесному успеху при возвращении в 1815 году. - Когда он произносил речь перед первым встреченным батальоном, с которым счел необходимым вступить в переговоры, голос из рядов воскликнул: “*Да здравствует нотр—пти Капораль! Капорал!*” мы никогда не будем сражаться против него!”

Администрация Директории и главнокомандующего армией Италии казались двумя разными правительствами. Директория во Франции приговаривала эмигрантов к смертной казни: армия Италии никогда не применяла смертную казнь ни к одному из них. Директория, узнав, что Вурмзер осажден в Мантуе, зашла так далеко, что написала Наполеону, напоминая ему, что он эмигрант; но Наполеон, взяв его в плен, страстно стремился выразить трогательную дань уважения его старости. Директория использовала самые оскорбительные формы в общении с папой римским: генерал армии Италии обращался к нему со словами “Святейший отец” и писал ему с уважением. Директория стремилась свергнуть власть папы римского: Наполеон сохранил ее. Директория изгоняла и запрещала священников: Наполеон приказывал своим солдатам, где бы они ни встречались, помнить, что они французы и их братья. Директория уничтожила бы все остатки аристократии; Наполеон написал демократии Генуи, обвиняя их в насилии; и не колеблясь заявил, что, если генуэзцы придают какое-либо значение сохранению его уважения, они должны научиться уважать статую Дориа и учреждения, которым они обязаны своей славой.

ИМПЕРАТОР РЕШАЕТ НАПИСАТЬ СВОИ МЕМУАРЫ.

7—й-9-й. Мы продолжали наш курс, и ничто не нарушало окружавшего нас однообразия. Все наши дни были похожи друг на друга; только правильность моего дневника информировала меня о дне недели или месяце. К счастью, мое время было занято, и поэтому день обычно протекал с определенной степенью легкости. Материалы, которые я собрал во время дневной беседы, заняли меня настолько, что не оставляли свободного времени до следующего дня.

Тем временем император заметил, что я был очень занят, и даже заподозрил, чем я был занят. Он решил удостовериться в этом факте и получил на вид несколько страниц моего дневника: он не был недоволен этим. Несколько раз коснувшись этой темы, он заметил, что такая работа была бы скорее интересной, чем полезной. Военные события, например, описываемые таким образом в ходе обычной беседы, были бы скудными, неполными и лишенными цели: они были бы просто анекдотами, часто самого ребяческого толка, вместо грандиозных операций и результатов. Я охотно воспользовался благоприятным случаем: я полностью разделял его мнение и осмелился высказать мысль о том, чтобы он продиктовал мне планы кампаний в Италии. “Это принесло бы пользу стране, — заметил я, — стало бы настоящим памятником национальной славы. У нас нет свободного времени, наши часы утомительны; занятие поможет нам отвлечься, и некоторые моменты могут быть не лишены удовольствия”. Эта идея стала предметом различных разговоров.

Наконец император принял решение, и в субботу, 9 сентября, он позвал меня в свою каюту и впервые продиктовал мне некоторые подробности, касающиеся осады Тулона.

ПАССАТ.-ЛИНИЯ.

10-13. Приближаясь к Линии, мы встретились с так называемыми пассатами, то есть ветрами, постоянно дующими с востока. Наука объясняет это явление достаточно удовлетворительным образом. Когда судно, плывущее из Европы, впервые сталкивается с этими ветрами, они дуют с северо-востока; по мере того, как судно приближается к Линии, ветры становятся более восточными. Под Линией обычно следует ожидать затишья. Когда Линия пересекается, ветер постепенно меняется на южный, пока не подует в юго-восточном направлении. Наконец, после прохождения тропиков пассаты исчезают, и встречаются переменные ветры, как в наших европейских регионах. Корабль, плывущий из Европы на остров Святой Елены, всегда движется в западном направлении из-за этих постоянных восточных ветров. Было бы очень трудно добраться до этого острова прямым курсом; и, действительно, это никогда не предпринималось. Судно стоит в стороне от переменных ветров на южной широте, а затем прокладывает курс к мысу Доброй Надежды, чтобы соответствовать пассатам с юго-востока, которые несут его с попутным ветром к острову Святой Елены.

Выбираются два различных курса, чтобы воспользоваться переменными ветрами южных широт; первый заключается в пересечении линии примерно на 20-м или 24-м градусе долготы, считая от лондонского меридиана: те, кто предпочитает этот курс, утверждают, что он менее подвержен экваториальным штилям и что, хотя он часто имеет недостаток, заключающийся в том, что судно находится в пределах видимости Бразилии, все же он позволяет ему проделать эту часть своего путешествия за короткое время. Адмирал Кокберн, который был склонен рассматривать этот курс как предрассудок и рутину, высказался в пользу второго метода, который заключался в том, чтобы держаться больше к востоку; и, следуя частным примерам, с которыми он был знаком, он попытался пересечь Линию примерно на 2-м или 3-м градусах долготы. Он не сомневался, что, держась навстречу переменным ветрам, пройдет достаточно близко от острова Святой Елены, чтобы значительно сократить свой переход, даже если ему не удастся достичь острова, лавируя, не выходя из-под пассатов.

Ветры, к нашему великому удивлению, изменили направление на западное (обстоятельство, о котором адмирал сообщил нам, было более распространенным, чем мы предполагали), и это склоняло в пользу его мнения. Он оставил плохих парусников своей эскадры по мере того, как они отставали, и решил достичь места своего назначения со всей возможной скоростью.

БУРЯ.—РАССМОТРЕНИЕ НЕКОТОРЫХ НАВЕТОВ НА ИМПЕРАТОРА.—ОБЩИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ.

14-18-го. После нескольких небольших штормов и нескольких затиший 16-го, к великой радости команды, прошел сильный дождь. Жара была очень умеренной; действительно, можно сказать, что, за исключением шторма на Мадейре, мы неизменно наслаждались мягкой погодой. Но воды на борту корабля было очень мало, и в целях экономии команда воспользовалась возможностью собрать дождевую воду, которую каждый матрос запасал для собственного использования. Сильный дождь хлынул как раз в тот момент, когда император поднялся на палубу, чтобы совершить свою послеобеденную прогулку. Но это не помешало ему заняться обычными делами; он просто попросил принести его знаменитый серый плащ,

который англичане рассматривали с глубоким интересом. Великий маршал и я сопровождали императора на его прогулке. Сильный дождь лил больше часа; когда император покинул палубу, мне было очень трудно снять с себя мокрую одежду; почти все, что на мне было надето, промокло насквозь.

В течение нескольких последующих дней погода оставалась очень дождливой; это несколько затрудняло мои работы, так как сырость проникала в нашу убогую маленькую каюту; а с другой стороны, ходить по палубе было не очень приятно. Это был первый раз за все время нашего путешествия, когда у нас было что-то вроде продолжительной сырой погоды, и это нас совершенно сбilo с толку. Промежутки между моими занятиями я заполнял беседами с офицерами корабля. Я не был ни с кем из них в близких отношениях, но я поддерживал со всеми ними ежедневные отношения вежливости. Они любили говорить с нами о французских делах, и их невежество во всем, что касалось Франции и французского народа, было почти невероятным. Мы вызывали взаимное удивление друг у друга: они удивляли нас своими выродившимися политическими принципами, а мы удивляли их нашими новыми идеями и манерами, о которых они раньше не имели никакого представления. Они, конечно, знали о Франции бесконечно меньше, чем о Китае.

Один из старших офицеров корабля в знакомой беседе случайно сказал— “Я полагаю, вы были бы очень встревожены, если бы мы высадили вас на побережье Франции?”— “Почему же так?” “Потому что, - ответил он, - король, возможно, заставит вас дорого заплатить за то, что вы покинули свою страну, чтобы последовать за другим Монархом; а также потому, что вы носите кокарду, которую он запретил.” И этот язык становится английским?” заметил я. “Вы, должно быть, действительно дегенерат! Вы, это правда, далеки от периода вашей революции, к которому вы так справедливо применяете эпитет *славный*. Но мы, те, кто ближе к нашим, благодаря которым мы так многого достигли, можем сказать вам, что каждое сказанное вами слово - ересь. Во-первых, наше наказание зависит не от соизволения короля; мы подчиняемся только закону. Теперь против нас не существует закона; и если бы какой-либо закон был нарушен с целью применения к нашему делу, вашим долгом было бы защитить нас. Ваш генерал поклялся сделать это капитуляцией Парижа; и это было бы вечным позором для английского министерства, если бы оно разрешило жертвовать жизнями, которые торжественно гарантировала их общественная вера.

“Во-вторых, мы не следуем за другим сувереном. То, что император Наполеон был нашим сувереном, является неоспоримым фактом; но он отрекся от престола, и его правление подходит к концу. Вы смешиваете частные действия с партийными мерами; любовь и преданность - с политическими взглядами. Наконец, что касается наших цветов, которые, кажется, вас так поразили, то это всего лишь остатки нашего старого костюма. Мы носим их сегодня только потому, что носили их вчера. Человек не может с безразличием отбросить в сторону то, к чему он привязан; это может быть сделано только по принуждению или необходимости. Почему вы не лишили нас наших цветов, когда вы лишили нас оружия? — одно действие было бы столь же разумным, как и другое. Мы здесь только как частные лица; мы не проповедуем мятеж. Мы не можем отрицать, что эти цвета дороги нам: мы привязаны к ним, потому что они видели нашу победу над всеми нашими врагами; потому что мы с триумфом пронесли их по каждой столице Европы; и потому что мы носили их, когда были первой нацией в мире”.

В другой раз один из офицеров, взглянув на необычайную превратность недавних событий, сказал— “Кто знает, может быть, нам еще не суждено исправить те несчастья, которые мы причинили вам? Каково было бы ваше удивление, если бы Веллингтон однажды проводил Наполеона обратно в Париж?” “Я был бы в самом деле удивлен, - ответил я. - Но я, конечно, отказался бы от чести быть одним из участников вечеринки: такой ценой я без колебаний отказался бы от самого Наполеона!” Но на этот счет я могу быть спокоен, ибо могу поклясться, что Наполеон никогда не подвергнет меня такому испытанию. Именно от него я перенял эти чувства: именно он излечил меня от противоположного учения, которое я называю заблуждением моей юности”.

Англичане очень любили задавать нам вопросы об императоре, чей характер и склонности, как они впоследствии признали, были представлены им в самых ложных красках. Они заметили, что не их вина, если у них сложилось ошибочное представление о его характере: они знали его только по произведениям, опубликованным в Англии, которые все были сильно преувеличены и во многом нанесли ему ущерб: у них на борту корабля было несколько таких публикаций.— Однажды мне довелось взглянуть на книгу самого злобного характера: в другой раз, когда я собирался взглянуть на книгу, которую читал один из офицеров, он внезапно закрыл ее, заметив, что в ней столько насилия против императора, что он не смог заставить себя показать мне ее. В другой раз адмирал спросил меня о некоторых предположениях, содержащихся в различных работах в его библиотеке, некоторые из которых, по его словам, пользовались определенной степенью доверия, в то время как все они произвели большую сенсацию в Англии. Это обстоятельство натолкнуло меня на мысль последовательно изучить все работы такого рода, находившиеся на борту корабля, чтобы записать свое мнение о них в моем дневнике, полагая, что столь благоприятная возможность получить, если я захочу, информацию по тем вопросам, которые, возможно, стоило бы изучить, больше никогда не представится.

Прежде чем я начну свой обзор этих работ, я должен позволить себе высказать несколько общих замечаний: их будет достаточно, чтобы предвосхитить многие из бесчисленных обвинений, которые посыплются на мой счет. Клевета и ложь - это оружие гражданского или политического, внешнего или внутреннего врага. Они являются ресурсом побежденных и слабых, тех, кто руководствуется ненавистью или страхом.— Они - пища в гостиницах и мусор в общественных местах: они беснуются с еще большей яростью по мере того, как возвышается их объект: нет ничего, чего бы они не осмелились обнародовать. Чем абсурднее, нелепее и невероятнее могут быть клевета и ложь, тем охотнее они принимаются и повторяются из уст в уста. Триумф и успех - всего лишь новые причины раздражения: моральная буря неизбежно будет нарастать; и, разразившись в момент несчастья, она ускорит и завершит падение и станет огромным рычагом воздействия на общественное мнение.

Ни один человек никогда не подвергался таким нападкам и оскорблениям, как Наполеон. Ни один человек никогда не был объектом такого количества памфлетов, клеветы, жестоких и абсурдных историй и ложных утверждений. Да и не могло быть иначе. Наполеон, поднявшийся от заурядной жизни к высшему знанию; продвигающийся во главе революции, которую он сам цивилизовал; втянутый этими двумя обстоятельствами в смертельное состязание с остальной Европой — состязание, в котором он был побежден только потому, что хотел покончить с ним слишком быстро, — Наполеон, объединивший в себе гений, силу, судьбу своей собственной власти, завоевателя своих соседей и, в какой—то мере, универсального монарха — *Мариуса* в

глазах аристократов Европы, *Программы для будущего*. демагоги, *цезари* республиканцев, не могли не поднять против себя ураган страстей как внутри страны, так и за рубежом.

Отчаяние, политика и ярость в каждой стране делали его объектом ненависти и тревоги. Таким образом, все, что было сказано против него, не может вызывать удивления: удивительно только, что не было произнесено больше клеветы и что она не произвела гораздо большего эффекта. Когда он наслаждался своей властью, он никогда никому не позволял отвечать на нападки, которые были совершены в его адрес. “Страдания, связанные с такими ответами, - сказал он, - только придали бы дополнительный вес обвинениям, которые они должны были опровергнуть. Было бы сказано, что все, что было написано в мою защиту, было заказано и оплачено. Неумелая похвала тех, кто меня окружал, уже в некоторых случаях была для меня более пагубной, чем все оскорбления, объектом которых я был. Факты были самыми убедительными ответами. Прекрасного памятника, еще одного хорошего закона или нового триумфа было достаточно, чтобы опровергнуть тысячи подобных вымыслов. Декламация проходит, но дела остаются!”

Это, несомненно, верно в отношении потомков. Великие люди прошлых времен передаются нам свободными от эфемерных обвинений их современников. Но это не так при жизни отдельного человека; и в 1814 году Наполеон на жестоком опыте убедился, что даже поступки могут исчезнуть перед яростью декламации. В момент своего падения он был совершенно ошеломлен потоком оскорблений. Но ему, чья жизнь была так богата на чудеса, предстояло преодолеть этот неблагоприятный удар судьбы и почти сразу же блистательно восстать из собственных руин. Его чудесное возвращение, безусловно, не имеет аналогов как по своему исполнению, так и по своим результатам. Восторг, вызванный этим, проник в соседние страны, где публично или тайно возносились молитвы за его успех; и он, который в 1814 году был побежден и преследовался как бич человеческой природы, внезапно возник в 1815 году как надежда своих собратьев.

Клевета и ложь в данном случае потеряли свою жертву, промахнувшись мимо цели. Здравый смысл человечества в значительной мере воздал справедливость Наполеону, и оскорблениям, которые были обрушены на него, теперь никто бы не поверил. “Яд перестал действовать на Митридата, - сказал император, просматривая на днях несколько новых наветов на себя, - и с 1814 года клевета не может причинить мне вреда”.

Во всеобщем шуме, который был направлен против него, когда он пользовался своей властью, Англия играла наиболее заметную роль.

В Англии в полную силу поддерживались две огромные машины; одна управлялась эмигрантами, для которых не было ничего слишком плохого; а другая находилась под контролем английских министров, которые установили систему диффамации и которые регулярно организовывали ее действие и последствия. Они содержали на жалованье памфлетистов и клеветников во всех уголках Европы; им были определены их задачи, и их планы нападения регулярно разрабатывались и комбинировались.

Английское министерство расширило применение этих мощных двигателей в Англии больше, чем где бы то ни было. Англичане, которые были более свободными и просвещенными, чем другие нации, больше нуждались в возбуждении. Из этой системы английские министры извлекли двойное преимущество: возбудили общественное мнение против общего врага и

отвлекли внимание от своего собственного поведения, направив народный шум и возмущение на характер и поведение других: таким образом, их собственный характер и поведение были ограждены от расследования и взаимных обвинений, которые они могли бы счесть не очень приятными. Так, убийство Павла в Санкт-Петербурге и наших посланников в Персии; захват Нэппертанди в вольном городе Гамбурге; захват в мирное время двух богатых испанских фрегатов; приобретение всей Индии; удержание Мальты и мыса Доброй Надежды вопреки международным договорам; макиавеллистский разрыв Амьенского мирного договора; несправедливый захват наших кораблей до нового объявления войны: датский флот, захваченный с таким холодным и ироничным вероломством, и т.д. и т.п.; все эти агрессивные действия были упущены из виду в общей агитации, которая была искусно разожжена против иностранной державы.

Чтобы справедливо оценить обвинения, которые были выдвинуты против Наполеона в многочисленных публикациях, написанных против него, необходимо учитывать страсти и обстоятельства; с презрением отвергать все, что является апокрифическим, анонимным и чисто декларативным; и придерживаться исключительно фактов и доказательств, которые, несомненно, были бы представлены теми, кто после свержения своего врага завладел подлинными документами, архивами государственных ведомств и судов, короче говоря, всеми источниками истины, которые обычно можно найти в обществе. Но ничего не было опубликовано, ничего не было выдвинуто вперед; и, следовательно, сколько из этих чудовищных строительных лесов рухнет на землю. И, чтобы быть еще более строго справедливыми, если мы захотим судить о Наполеоне по примеру его сверстников или великих людей в аналогичных обстоятельствах; то есть, сравнивая его с основателями династий или теми, кто взошел на трон благодаря народным волнениям, тогда можно с уверенностью сказать, что ему нет равных и что он сияет среди всего, что ему противостоит. Было бы пустой тратой времени приводить бесчисленные примеры из древней и современной истории: они доступны каждому. Необходимо только сослаться на две рассматриваемые здесь страны.

Сражался ли Наполеон, подобно Хьюгу Капету, против своего государя? Из-за него ли он погиб в плену?

Поступал ли Наполеон подобно принцам нынешнего дома Брауншвейгов, которые в 1715 и 1745 годах заставляли эшафот жертвами — жертвами, которым нынешние английские министры из-за своей непоследовательной политики и принципов, которые они теперь исповедуют, не оставляют иного титула, кроме титула верных подданных, умирающих за своего законного государя?

Путь, которым Наполеон пришел к верховной власти, совершенно прост и естествен; он единственный в истории; сами обстоятельства его возвышения делают его беспрецедентным. “Я не узурпировал корону, - сказал он однажды Государственному совету, - я вытащил ее из грязи; народ возложил ее на мою голову: пусть уважают их поступки!”

И, приняв таким образом корону, Наполеон вернул Франции прежнее положение в европейском обществе, положил конец ее ужасам и возродил ее характер. Он освободил нас от всех зол нашего фатального кризиса и сохранил за нами все преимущества, вытекающие из него. “Я взошел на трон незапятнанным ни одним из преступлений моего положения”, - сказал он однажды. “Как мало основателей династий могут сказать то же самое!”

Никогда, ни в один период нашей истории, милости не распределялись с такой беспристрастностью; никогда заслуги не выискивались и не вознаграждались столь без разбора; государственные деньги не использовались с такой пользой; искусства и науки не поощрялись лучше, а слава и лоск страны не поднимались на такую высоту. “Я желаю, - сказал он однажды Государственному совету, - чтобы звание француза было самым лучшим и желанным на земле; чтобы француз, путешествующий по любой части Европы, мог подумать и почувствовать себя дома”.

Если казалось, что свобода время от времени подвергается посягательствам, если казалось, что власть иногда выходит за свои пределы, обстоятельства делали эти меры необходимыми и неизбежными. Наши нынешние несчастья, хотя и слишком поздно, заставили нас осознать эту истину; теперь мы отдаем должное, хотя и слишком поздно, мужеству, рассудительности и дальновидности, которые тогда продиктовали эти шаги. Несомненно, что в этом отношении политическое падение Наполеона значительно усилило его влияние. Кто теперь может сомневаться в том, что его слава и блеск его характера были бесконечно приумножены его несчастьями?

Если в работах, оказавшихся на моем пути, будут представлены какие-либо обстоятельства, связанные с этими общими соображениями, они станут объектом моего особого внимания. Я не собираюсь вступать в политическую полемику; я не буду обращаться к партийным деятелям, чьи мнения основаны на их интересах и страстях; я обращаюсь только к хладнокровному другу истины или к непредубежденному писателю, который в будущем сможет беспристрастно искать материалы: я обращаюсь только к ним; в их глазах мои показания будут выше анонимных свидетельств и будут равняться тому, что носит достоверный характер.

Первой работой, на которую я обратил внимание, была *Антигалликанская*, о которой я расскажу позже.

ЗАНЯТИЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

19-22-го. Мы продолжили наш курс при том же ветре, том же небе и той же температуре. Наше путешествие было однообразным, но приятным; наши дни были долгими, но занятость помогала им незаметно проходить. Теперь император начал регулярно диктовать мне свои кампании в Италии. Я уже написал несколько глав. Первые несколько дней император относился к этому занятию с безразличием; но регулярность и оперативность, с которыми я излагал ему свою повседневную задачу, вместе с достигнутыми нами успехами вскоре возбудили его интерес, и, наконец, удовольствие, которое он получал от этой диктовки, сделало ее для него абсолютно необходимой. Он обязательно посылал за мной около одиннадцати часов каждое утро и, казалось, сам с нетерпением ждал этого часа. Я всегда читал ему то, что он продиктовал накануне, а затем он вносил исправления и диктовал дальше. Таким образом, время быстро пролетело до четырех часов, когда он позвал своего камердинера. Затем он направился в кают-компанию и провел время до обеда, играя в пикет или шахматы.

Император диктует очень быстро, почти так же быстро, как говорит в обычной беседе. Поэтому я был вынужден изобрести своего рода иероглифическое письмо: и я, в свою очередь, диктовал своему сыну. Я был достаточно счастлив, что смог собрать почти буквально каждое предложение, исходившее от него. Теперь у меня не было ни минуты свободной; во время обеда кто-нибудь обязательно подходил и сообщал мне, что вся компания сидит за столом. К счастью,

мое место было рядом с дверью, которая всегда была открыта. Некоторое время назад я сменил свое место по просьбе капитана Росса, командира судна, который, поскольку не говорил по-французски, пользовался возможностью время от времени спрашивать меня о значении слов; поэтому я занял свое место между ним и великим маршалом. Капитан Росс был человеком с приятными манерами и был чрезвычайно добр и внимателен к нам. Я научился, согласно английскому обычаю, приглашать его выпить бокал вина, выпивая свой за здоровье его жены, а затем он пил за мое здоровье. Это была наша ежедневная практика.

После обеда император никогда не упускал случая упомянуть о своей утренней диктовке, как будто был доволен тем занятием и развлечением, которое она ему доставила. В этих случаях, а также всякий раз, когда мне случалось встречаться с ним в течение дня, он обращался ко мне в шутовском тоне: “Ах! мудрый Лас Кейсес!— Прославленный мемориалист! — Осквернение острова Святой Елены”; и другие подобные выражения. Затем он часто добавлял: “Мои дорогие Лас Кейсы, эти мемуары станут такими же знаменитыми, как и все, что им предшествовало. Вы проживете столько же, сколько любой предыдущий автор мемуаров. Невозможно будет останавливаться на великих событиях нашего времени или писать обо мне, не упомянув вас”. Затем, возобновляя свою шутку, он добавлял: “В конце концов, скажут, он, должно быть, хорошо знал Наполеона; он был его государственным советником, его камергером, его верным товарищем. Мы не можем не верить ему, потому что он был честным человеком и не способен вводить в заблуждение”.

СЛУЧАЙНОЕ ЯВЛЕНИЕ.—ПРОХОЖДЕНИЕ ОЧЕРЕДИ.—КРЕЩЕНИЕ.

23-25. К нашему великому удивлению, западный ветер все еще продолжался; это было своего рода явление в этих регионах, и до сих пор оно было нам очень на руку. Но что касается явлений, то 23-го числа случай произвел одно из гораздо более необычных, когда мы пересекли Линию в 0° широты, 0° долготы и 0° склонения. Это обстоятельство, которое случайно может повториться, возможно, только раз в столетие, поскольку необходимо прибыть точно на первый меридиан около полудня, чтобы пересечь Линию в тот же час и прибыть туда одновременно с солнцем.

Это был день большого веселья и беспорядка среди команды: это была церемония, которую наши моряки называют *Крестинами*, а англичане - *великим днем бритья*. Матросы наряжаются самым гротескным образом; один из них переодевается Нептуном, и все люди на борту корабля, которые ранее не пересекали Черту, формально представляются ему; по их подбородкам проводят огромной бритвой с мыльной пеной, сделанной из смолы; на них выливают ведра воды, и громкие взрывы смеха, сопровождающие их отступление, завершают их посвящение в великую мистерию. Никого не щадят, и с офицерами обычно обращаются более грубо, чем с самыми низшими матросами. Адмирал, который ранее забавлялся, пытаясь встревожить нас ожиданием этой ужасной церемонии, теперь очень вежливо избавил нас от неудобств и насмешек, сопутствующих ей. Мы были со всеми знаками внимания и уважения представлены грубому богу, который сделал каждому из нас комплимент на свой манер: и так закончилось наше испытание.

Император пользовался неукоснительным уважением на протяжении всего этого сатурналийского праздника, в то время как уважение обычно никому не выражается. Узнав о соблюдении приличий по отношению к нему, он приказал раздать сто Наполеонов гротескному

"Нептуну" и его команде, чему адмирал воспротивился, возможно, из соображений благоразумия, а также вежливости.

ИЗУЧЕНИЕ АНТИГАЛЛИКАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ.—ТРУДЫ СЭРА РОБЕРТА УИЛСОНА.—ЧУМА В ЯФФО.—АНЕКДОТЫ ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИИ В ЕГИПТЕ.—ЧУВСТВА АРМИИ В ЕГИПЕТСКОЙ КАМПАНИИ.—БЕРТЬЕ.—ШУТКИ СОЛДАТ.—ВЕРБЛЮДЫ.—СМЕРТЬ КЛЕБЕРА.—МОЛОДОЙ АРАБ.—СТРАННЫЕ СОВПАДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ФИЛИППОИ НАПОЛЕОНА.—ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ СУДЬБА ОТДЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ.—ПРИВЯЗАННОСТЬ КАФФАРЕЛЛИ К НАПОЛЕОНУ.—РЕПУТАЦИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИИ НА ВОСТОКЕ.—НАПОЛЕОН ПОКИДАЕТ ЕГИПЕТ, ЧТОБЫ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ УПРАВЛЕНИЕ ФРАНЦИЕЙ.—АНГЛИЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ.—КЛЕБЕР И ДЕЗЭ.

26-30—е. Погода по-прежнему оставалась благоприятной. Пройдя Черту, мы на мгновение ожидали, что подует восточный или юго-восточный ветер. Западный ветер дул необычайно долго, и было невозможно, чтобы он продлился намного дольше. Принятое адмиралом решение значительно отклониться к востоку делало наше положение очень благоприятным, и у нас были все основания надеяться на короткий переход.

Однажды днем моряки поймали огромную акулу. Император поинтересовался причиной сильного шума и смятения, которые он внезапно услышал над головой; узнав о том, что произошло, он выразил желание взглянуть на морское чудовище. Поэтому он поднялся на ют и неосторожно приблизился слишком близко к животному, которое внезапным движением сбilo с ног четырех или пятерых матросов и едва не переломало ноги императору. Он спустился вниз с окровавленным левым чулком: мы думали, что он серьезно ранен, но оказалось, что это всего лишь кровь акулы.

Мои труды продвигались с величайшей регулярностью. "Антигалликанец", который был первой работой, которую я взялся прочесть, представлял собой том в пятьсот страниц, включающий все, что было написано в Англии в то время, когда этой стране угрожало французское вторжение. Целью английского правительства было национализировать оппозицию этой попытке и поднять всю нацию против ее опасного врага. Книга содержала собрание публичных речей, увещаний, патриотических призывов ревностных граждан, сатирических песен, саркастических постановок и ярких газетных статей, изливающих поток ненависти и насмешек на французов и их первого консула, чье мужество, гений и могущество вызывали наибольшую тревогу. Все это было совершенно естественно и допустимо. Постановки такого рода подобны ливню стрел, выпущенных воюющими сторонами перед тем, как они вступят в ближний бой: некоторые попадают в цель, а некоторые уносятся ветром. Подобные сочинения никогда не станут удовлетворительными доказательствами для здравомыслящего человека, и они едва ли заслуживают опровержения.

На памфлетистов мало обращают внимания, потому что их характер является противоядием от их яда: с историком все иначе. Последний, однако, унижает себя до уровня автора памфлетов, когда отказывается от спокойного достоинства и беспристрастности, необходимых для его должности, чтобы предаваться декламации и макать перо в желчь.

С такими чувствами я поднялся после прочтения различных произведений сэра Роберта Уилсона, которые я прочел после "Антигалликанца". Этот писатель нанес нам больший вред, потому что его таланты, его мужество и многочисленные блестящие заслуги придали ему

значимость в глазах его соотечественников. Обстоятельство, которое я собираюсь изложить, привело к тому, что труды сэра Р. Уилсона стали особенно известны и о них заговорили на борту корабля.

У сэра Роберта был сын среди молодых гардемарин на борту "Нортумберленда", и мой сын, чье сходство по возрасту позволяло ему часто бывать в обществе этих юношей, мог легко заметить перемену, произошедшую в их мнении о нас. Сначала они были настроены против нас с большим предубеждением. Когда Император появился на борту, они считали его людоедом, готовым сожрать их. Но при более близком знакомстве с нами истина вскоре оказала на них такое же влияние, какое она произвела на остальных членов экипажа. Это было, однако, сделано за счет молодого Уилсона, которого разыскивали его товарищи, в качестве искупления, как они сказали, за истории, которые распространял его отец.

.....

В этой части рукописи большое количество страниц зачеркнуто; причина была объяснена на полях следующим образом:

“Я собрал множество оскорбительных высказываний из трудов сэра Роберта Уилсона, на которые я, возможно, ответил с излишней горечью: недавние обстоятельства побудили меня изъять эту часть моего дневника.

“Сэр Роберт Уилсон недавно сыграл заметную роль в деле, которое делает честь сердцам всех, кто был в нем замешан: я имею в виду спасение Лавалетта. Когда его спросили во французском суде, не публиковал ли он ранее работы, касающиеся наших дел? он ответил утвердительно и добавил, что изложил в них то, что *тогда* считал правдой. Эти слова больше соответствуют цели, чем все, что я мог бы сказать; и поэтому я спешу отменить то, что я уже написал, радуясь возможности воздать справедливость сэру Роберту Уилсону, об искренности и добрых намерениях которого я в своем негодовании размышлял ”. ^[19]

Поэтому я откладываю в сторону работы сэра Роберта Уилсона и различные обвинения, содержащиеся в них; я также опускаю многочисленные опровержения, которые я собрал. Я просто останавлиюсь, чтобы рассмотреть одно обстоятельство, которое повторялось в сотне различных работ; сообщение о нем было распространено по Европе и получило признание даже во Франции. Я имею в виду отравление людей, заразившихся чумой в Яффо.

Конечно, ничто не может более ясно доказать, насколько легко клевета может повлиять на свой объект. Если голос клеветы дерзок и силен и может вызывать многочисленные отголоски, то независимо от того, насколько далеко будут нарушены вероятность, разум, здравый смысл и истина, желаемая цель обязательно будет достигнута.

Генерал, герой, великий человек, до сих пор пользовавшийся уважением как у фортуны, так и у человечества, в тот момент приковывавший к себе внимание трех четвертей земного шара, вызывавший восхищение даже у своих врагов, был внезапно обвинен в преступлении, объявленном неслыханным и беспрецедентным; в деянии, объявленном бесчеловечным, зверским и жестоким; и, что самое поразительное, у негодяя могло быть никакой возможной цели при совершении этого преступления. Самые абсурдные детали, самые невероятные обстоятельства, самые нелепые эпизоды были придуманы, чтобы придать окраску этой первой лжи. История распространилась по Европе; недоброжелатели ухватились за нее и

преувеличили ее чудовищность; она была опубликована во всех газетах; записана в каждой книге; и с тех пор на нее смотрели как на установленный факт: возмущение достигло апогея, а шум поднялся всеобщий. Было бы тщетно рассуждать, или пытаться остановить поток, или доказывать, что никаких доказательств этого факта представлено не было и что история противоречит самой себе. Было бы тщетно приводить противоположные и неопровержимые доказательства — свидетельства тех самых врачей, которые, как утверждалось, вводили или отказывались вводить яд. Было бы тщетно доказывать необоснованность обвинения в бесчеловечности человека, который незадолго до этого увековечил больницы Яффо актом величайшего героизма; рискуя собственной безопасностью, торжественно прикасался к войскам, зараженным чумой, чтобы обмануть и успокоить воображение больных людей. Тщетно можно было бы убеждать, что мысль о подобном преступлении не может быть возложена на него, который, когда врачи спросили его о целесообразности сжигания или просто стирки одежды, которую носили инвалиды, и ему напомнили об огромных потерях, связанных с первой мерой, ответил: “Джентльмены, я пришел сюда, чтобы привлечь внимание и обратить интересы Европы к центру древнего мира, а не с целью накопления богатства”. Напрасно было бы доказывать, что у этого предполагаемого преступления не могло быть ни цели, ни какого бы то ни было мотива. Были ли у французского генерала какие-либо основания подозревать намерение развратить своих инвалидов и превратить их в подкрепление против себя? Надеялся ли он, что этот варварский акт полностью избавит его от инфекции? Он мог бы с таким же успехом достичь этой цели, предоставив своих инвалидов на растерзание вражеским войскам, что, кроме того, стало бы средством распространения заразы среди последних. Было бы напрасно доказывать, что бесчувственный и эгоистичный вождь мог бы избавиться от всех затруднений, просто оставив несчастных людей у себя за спиной: они были бы убиты, это правда; но никому бы и в голову не пришло упрекнуть его.

Эти и все другие аргументы были бы тщетными и бесполезными, настолько сильны и безошибочны последствия лжи и декламации, когда страсти человечества заинтересованы в их распространении. Воображаемое преступление повторялось всеми устами, было выгравировано в каждом сердце, и для широких масс человечества оно, возможно, навсегда останется положительным и неопровержимым фактом.

Обстоятельство, которое немало удивит тех, кому еще предстоит узнать, как мало доверия заслуживают публичные сообщения, и которое также послужит доказательством ошибок, которые могут вкрась в историю, заключается в том, что маршал Бертран, который сам служил с армией в Египте (хотя, конечно, в звании, которое не позволило ему вступить в непосредственный контакт с главнокомандующим), твердо верил, вплоть до периода своего пребывания на острове Святой Елены, в историю о том, что шестидесяти инвалидам был введен яд. Это сообщение было распространено, и ему поверили даже в нашей армии; следовательно, какой ответ можно было дать тем, кто торжествующе заявлял: “Это факт, уверяю вас, я узнал об этом от офицеров, служивших в то время во французской армии?” Тем не менее, вся эта история лжива. Я собрал следующие факты из высочайшего источника, из уст самого Наполеона.

1. Что число указанных инвалидов, заразившихся чумой, согласно докладу главнокомандующему, составляло всего семь человек.
2. Что в момент кризиса введение опиума предложил не главнокомандующий, а профессиональный человек.

3. Что опиум не вводили ни одному человеку.

4. Что отступление осуществлялось медленно, и арьергард был оставлен в Яффе на три дня.

5. Что при отходе арьергарда все инвалиды были мертвы, за исключением одного или двух, которые, должно быть, попали в руки англичан.

Примечание: После моего возвращения в Париж, имея возможность побеседовать с теми, чье положение и профессия естественным образом сделали их первыми действующими лицами на сцене, — с теми, чьи показания следует считать официальными и достоверными, я из любопытства заинтересовался мельчайшими деталями, и результатом моих расспросов стало следующее.

“Инвалиды, находящиеся под присмотром главного хирурга, то есть раненые, все без исключения были вывезены с помощью лошадей, принадлежащих штабу, не исключая даже лошадей главнокомандующего, которые прошли значительное расстояние пешком, как и остальная часть армии. Следовательно, об этом не может быть и речи.

“Что касается остальных инвалидов, числом около двадцати, которые находились под присмотром главного врача и которые находились в совершенно отчаянном состоянии, совершенно непригодные для эвакуации, в то время как враг наступал, совершенно верно, что Наполеон спросил главного врача, не было бы актом гуманности дать им опиум. Также верно, что Врач ответил, что его делом было лечить, а не убивать; — ответ, который, поскольку, по-видимому, относится к приказу, а не к предмету обсуждения, возможно, послужил основой, на которой клевета и ложь могли бы изобрести и распространить выдумку, которая с тех пор была распространена по этому вопросу.

Наконец, сведения, которые мне удалось собрать, позволяют мне получить следующие неоспоримые результаты:—

первое. Что не было отдано приказа о введении опиума больным.

“2-й. Что в тот период в армейской аптечке не было ни грана опиума для употребления больными.

“3-й. Что даже если бы приказ был отдан и имелись запасы опиума, временные и местные обстоятельства, перечислять которые здесь было бы утомительно, сделали бы его выполнение невозможным.

“Следующие обстоятельства, вероятно, способствовали возникновению и, возможно, в какой-то степени могут оправдать ошибку тех, кто упрямо отстаивали истинность противоположных фактов. Несколько наших раненых, которых погрузили на борт корабля, попали в руки англичан. У нас в лагере не хватало всевозможных лекарств, и мы восполняли недостаток составами, изготовленными из местных деревьев и растений. Настойки и другие лекарства имели ужасный вкус и вид. Заключение, либо с целью вызвать жалость, либо из-за того, что слышали историю с опиумом, в которую природа лекарств могла склонить их поверить, рассказали англичанам, что они чудесным образом избежали смерти, поскольку их врачи ввели им яд”. Вот и все для инвалидов, находящихся на попечении главного хирурга.

Теперь об остальных. — “К сожалению, в армии в качестве главного аптекаря был негодяй, которому разрешили использовать пять верблюдов для доставки из Каира количества медикаментов, необходимых для экспедиции. Этот человек был достаточно низок, чтобы снабжать себя за свой счет, вместо лекарств, сахаром, кофе, вином и другими припасами, которые он впоследствии продавал с огромной прибылью. Когда обман был раскрыт, негодюванию главнокомандующего не было предела, и преступник был приговорен к расстрелу; но все офицеры-медики, которые отличались таким мужеством и чья внимательная забота сделала их столь дорогими армии, умоляли его о помиловании, утверждая, что его наказание нанесет ущерб чести всего организма; и таким образом преступник избежал наказания. Некоторое время спустя, когда англичане овладели Каиром, этот человек присоединился к ним и выступил с ними заодно; но, попытавшись возобновить некоторые из своих старых преступлений, он был приговорен к повешению и снова спасся, оклеветав главнокомандующего Буонапарте, о котором он выдумал множество ужасных историй, и представившись тем самым человеком, который по приказу генерала давал опиум солдатам, зараженным чумой. Его помилование было условием и наградой за его клевету. Несомненно, это был первый источник, из которого эта история была почерпнута теми, кто не был склонен распространять ее из злонамеренных побуждений.

“Время, однако, полностью разоблачило эту абсурдную клевету, а также многие другие, которые применялись в том же направлении, и это с такой большой скоростью, что при пересмотре моей рукописи я был удивлен тем значением, которое я придавал опровержению обвинения, которое сейчас никто не осмелился бы выдвинуть. Тем не менее, я подумал, что лучше сохранить то, что я написал, как свидетельство впечатления того момента; и если я сейчас добавил еще какие-то детали, то это потому, что они оказались в пределах моей досягаемости, и я счел важным зафиксировать их как исторические факты”.

Сэр Роберт Уилсон в своей работе с кажущимся самодовольством хвастался тем, что был первым, кто обнародовал и распространил эти одиозные обвинения в Европе. Его соотечественник, сэр Сидней Смит, возможно, оспорит у него эту честь, тем более что он может, по крайней мере в значительной степени, справедливо претендовать на достоинства их изобретения. Ему и системе коррупции, которую он поощрял, Европа обязана за все ложные сообщения, которыми она была наводнена, к большому ущербу для нашей храброй армии Египта.

Хорошо известно, что сэр Сидней Смит делал все, что было в его силах, чтобы развратить нашу армию. Ложные разведданные из Европы — клевета на главнокомандующего — крупные взятки, раздаваемые офицерам и солдатам, — все это было одобрено им: документы опубликованы, его прокламации известны. Одно время они вызвали у французского генерала достаточную тревогу, чтобы побудить его попытаться остановить их; что он и сделал, запретив всякую связь с англичанами и заявив в Порядке дня, что их коммодор сошел с ума. Этому утверждению поверили во французской армии, и это так разъярило сэра Сиднея Смита, что он послал Наполеону вызов. Генерал ответил, что у него слишком важное дело, чтобы беспокоиться о таком пустяке: если бы он получил вызов от великого Мальборо, тогда, возможно, ему и пришлось бы в голову подумать об этом; но если бы английский моряк действительно был склонен поразвлечься в поединке, он послал бы к нему одного из хулиганов в своей армии и нейтрализовал несколько ярдов морского побережья, где безумный коммодор мог бы сойти на берег и наслаждаться этим в свое удовольствие.

Поскольку я затронул тему Египта, я запишу здесь всю информацию, которую я собрал в своих отдельных беседах и которую, возможно, нельзя найти в "Египетской кампании", продиктованной Наполеоном великому маршалу.

Итальянская кампания демонстрирует все самые блестящие и решающие результаты, к которым когда-либо приводили военный гений и концепция. Дипломатические взгляды, административные таланты, законодательные меры гармонично сочетаются там с чудесами войны. Но самым поразительным и завершающим штрихом в картине является внезапное и непреодолимое господство, которое приобрел молодой генерал: — анархия равенства — ревность к республиканским принципам - все исчезло перед ним: не было власти, даже смехотворного суверенитета Директории, которая не была бы немедленно приостановлена. Директория не требовала отчетов от главнокомандующего итальянской армией; посылать их было предоставлено ему самому: ему не предписывалось никакого плана, никакой системы; но от него постоянно поступали отчеты о победах и итогах перемирий, о разрушении старых государств и создании новых.

В египетской экспедиции можно проследить все то, что вызывает восхищение в итальянской кампании. Размышляющий наблюдатель даже заметит, что в египетской экспедиции сходства носят более важный характер, исходя из трудностей всякого рода, которые придавали характер кампании и требовали большего гения и ресурсов со стороны ее руководителя. В Египте возник новый порядок вещей: климат, страна, жители, религия, нравы и способы ведения боя - все было другим.^[20]

В мемуарах о египетской кампании будут изложены моменты, которые в то время были лишь предметом догадок и обсуждений для значительной части общества.

1. Египетская экспедиция была предпринята по серьезному и обоюдному желанию Директории и главнокомандующего.

2-й. Взятие Мальты было следствием не частного соглашения, а мудрости главнокомандующего. “Именно в Мантуе я взял Мальту, - сказал однажды император. - Великодушное обращение с Вурмсером обеспечило мне покорность великого магистра и его рыцарей”.

3-й. Завоевание Египта было спланировано столь же продуманно, сколь и умело выполнено. Если бы Сен-Жан д'Акр сдался французской армии, на Востоке произошла бы великая революция; главнокомандующий основал бы там империю, и судьбы Франции приняли бы иной оборот.

4-й. По возвращении из кампании в Сирии французская армия почти не понесла потерь; она оставалась в самом грозном и процветающем состоянии.

5-й. Отъезд главнокомандующего во Францию был результатом грандиозного и великодушного плана. Как нелепа глупость тех, кто рассматривает этот отъезд как бегство или дезертирство!

6. Клебер пал жертвой мусульманского фанатизма. Нет ни малейшего основания для абсурдной клеветы, которая приписала бы эту катастрофу политике его предшественника или интригам его преемника.

7-е и последнее. Довольно хорошо доказано, что Египет навсегда остался бы французской провинцией, если бы для его защиты был назначен кто-либо другой, кроме Мену; ничто, кроме грубых ошибок этого генерала, не могло лишить нас владения Египтом.

Император сказал, что ни одна армия в мире не была менее пригодна для египетской экспедиции, чем та, которую он туда повел, — армия Италии. Трудно было бы описать отвращение, недовольство, меланхолию, отчаяние этой армии при ее первом прибытии в Египет. Император сам видел, как два драгуна выбежали из строя и бросились в Нил. Бертран видел, как самые выдающиеся генералы, такие как Ланн и Мюрат, в мгновенных приступах ярости швыряли свои шляпы с кружевами на песок и топтали их в присутствии солдат. Император на удивление хорошо объяснил эти [чувства feelings](#). “Эта армия, ” сказал он, “завершила свою карьеру. Все люди, принадлежавшие к ней, были пресыщены богатством, званием, удовольствиями и уважением; они не были пригодны для пустынь и тяжелых испытаний Египта; и, - продолжал он, - если бы эта армия была передана в другие руки, а не в мои, трудно сказать, какие эксцессы не были бы совершены”.

Было создано более одного заговора с целью перевезти флаги в Александрию и другие вещи в том же роде. Только влияние, характер и слава генерала могли сдерживать войска. Однажды Наполеон, в свою очередь, потеряв самообладание, ворвался в группу недовольных генералов и, обращаясь к самому высокому из них, сказал: “Вы держали язык за зубами, - сказал он с горячностью. - Позаботьтесь о том, чтобы я не выполнил свой долг; то, что вы шести футов ростом, не спасет вас от расстрела через пару часов”.

Что касается, однако, их поведения перед врагом, император сказал, что эта армия никогда не переставала быть армией Италии; что она все еще сохраняла тот же замечательный характер. Самой трудной партией в управлении была та, которую император называл “фракцией [сентименталистов](#)”, которых невозможно было удержать в каких-либо уздах; их умы были больны; они проводили ночи, глядя на луну в поисках отраженного изображения идолов, которых они оставили в Европе. Во главе этого отряда стоял Бертье, слабый и бездушный Бертье, который, когда главнокомандующий готовился отплыть из Тулона, день и ночь посылал из Парижа сообщения о том, что ему нездоровится и он не может сопровождать его, хотя и является начальником штаба. Главнокомандующий не обратил ни малейшего внимания на его слова, и Бертье, не обнаружив себя больше у ног красавицы, которая отпустила его под этим предлогом, отправился в плавание вместе с ним! На его [прибытия прибытия](#) в Египет, он стал жертвой *скуки*, и не смог подчинить его нежные воспоминания;—он запросил и получил разрешение вернуться во Францию. Он попрощался с Наполеоном и официально попрощался с ним; но вскоре вернулся с глазами, полными слез, сказав, что, в конце концов, он не хотел бы опозорить себя и что он не может отделить свою судьбу от судьбы своего генерала.

Любовь Бертье была смешана со своего рода поклонением. Рядом с шатром, предназначенным для его личного пользования, у него всегда был приготовлен другой, обставленный с великолепием самого элегантного будуара; он был посвящен портрету его любовницы, перед которым он иногда заходил так далеко, что воскуривал благовония. Эта палатка была разбита даже в пустынях Сирии. Наполеон с улыбкой сказал, что его храм не раз осквернялся менее чистым богослужением из-за тайного внедрения иностранных божеств.

Бертье никогда не отказывался от своей страсти, которая иногда доводила его до самой грани идиотизма. В его первом отчете о битве при Маренго молодой Висконти, его адъютант, который был всего лишь капитаном, был упомянут пять или шесть раз в память о своей матери. “Можно было бы подумать, ” сказал Наполеон, “ что юноша выиграл битву”. Конечно, главнокомандующий должен был быть готов швырнуть газету в лицо автору!

Император подсчитал, что при жизни он дал Бертье сорок миллионов; но он предположил, что из-за слабости своего ума, недостатка регулярности и нелепой страсти он растратил значительную их часть.

Недовольство войск в Египте с радостью выражалось в саркастических шутках: это тот юмор, который всегда помогает французу преодолевать трудности. Они испытывали сильную неприязнь к генералу Каффарелли, которого считали одним из организаторов экспедиции. У Каффарелли была деревянная нога, он потерял одну из конечностей на берегах Рейна; и всякий раз, когда солдаты видели, как он ковыляет мимо, они говорили достаточно громко, чтобы он слышал: “Этому парню все равно, что происходит; во всяком случае, он уверен, что одной ногой стоит во Франции”.

Ученые, сопровождавшие экспедицию, тоже получили свою долю шуток. Ослов в Египте было очень много; почти у всех солдат был один или два, и они всегда называли их своими *полусвященниками*.

Главномандующий, покидая Францию, издал прокламацию, в которой уведомлял войска, что собирается увести их в страну, где сделает их всех богатыми; где в распоряжении каждого из них будет по семь акров земли. Солдаты, оказавшись посреди Пустыни, окруженные бескрайним океаном песка, начали сомневаться в щедрости своего генерала: они думали, что он проявил исключительную умеренность, пообещав всего семь акров. “Негодяй, - говорили они, - может спокойно давать нам столько, сколько ему заблагорассудится; мы не должны злоупотреблять его добродушием”.

Пока армия проходила через Сирию, не было ни одного солдата, который не повторял бы эти строки из Заира:—

Les Français sont lassés de chercher désormais

Des climats que pour eux le destin n’a point faits,

Ils n’abandonnent point leur fertile patrie,

Pour languir aux déserts de l’aride Arabie.

Однажды главнокомандующий, у которого было несколько минут свободного времени, чтобы осмотреть местность, воспользовался отливом и пешком переправился на противоположный берег Красного моря. Ночь застала его врасплох при возвращении, и он сбился с пути во время прилива. Он был в величайшей опасности и чудом избежал гибели точно таким же образом, как фараон. “Это, - сказал Наполеон, - дало бы всем проповедникам христианства великолепный

текст против меня”. Достигнув аравийского побережья Красного моря, он принял делегацию кенобитов горы Синай, которые пришли умолять его о защите и просить его внести свое имя в древний реестр их хартий. Наполеон вписал свое имя в один список с именами Али, Саладина, Ибрагима и других! Намекая на это обстоятельство или что-то в этом роде, император заметил, что в течение года он получал письма из Рима и Мекки; папа обращался к нему как к своему самому дорогому сыну, а шериф называл его Защитником священной Каабы.

Это странное совпадение, однако, едва ли удивительно по отношению к тому, кто вел армии как через раскаленные пески Тропиков, так и через замерзшие *степи* Севера; кто, едва избежав поглощения волнами Красного моря или, возможно, погибнув в пламени Москвы, угрожал Индии с этих двух крайних точек.

Главнокомандующий разделял тяготы солдат. Лишения, которым подвергался каждый отдельный военный служащий, иногда были настолько велики, что они были вынуждены спорить друг с другом из-за малейших удовольствий, без малейшего различия в звании. Они были доведены до таких крайностей, что в Пустыне солдаты вряд ли уступили бы свои места, чтобы позволить генералу окунуть руки в грязный ручей. Однажды, когда они проходили мимо развалин Пелузия и почти задохнулись от жары, кто-то уступил ему обломок двери, под которым он ухитрился на несколько минут прикрыть голову: “И это, - сказал Наполеон, - была немалая уступка”. Именно на этом самом месте, когда он убирал несколько камней у своих ног, случайность сделала его обладателем великолепного антиквариата, хорошо известного в ученом мире.^[21]

Продвигаясь в Азию, французская армия должна была пересечь пустыню, отделяющую этот континент от Африки. Клебер, командовавший передовым отрядом, перепутал дорогу и заблудился в пустыне. Наполеон, следовавший за ними на расстоянии половины дневного перехода в сопровождении небольшого эскорта, с наступлением темноты очутился посреди турецкого лагеря: его преследовали по пятам, и он спасся только потому, что была ночь и турки заподозрили, что была устроена засада. Следующим источником беспокойства была сомнительная судьба Клебера и его отряда, и большая часть ночи прошла в сильнейшей тревоге. Наконец они получили сведения о них от некоторых арабов из Пустыни, и главнокомандующий поспешил на своем верблюде на поиски своих войск. Он нашел их охваченными отчаянием и готовыми погибнуть от жажды и усталости; некоторые из молодых солдат в минуту безумия даже сломали свои мушкеты. Вид их генерала, казалось, вдохнул в них новую жизнь, возродив их надежды. Наполеон сообщил им, что за его спиной приближается запас провизии и воды. “Но, ” сказал он войскам, “ если бы помощь задерживалась дольше, разве это оправдало бы ваш ропот и потерю мужества? Нет, солдаты, учитесь умирать с честью”.

Большую часть пути Наполеон проделал через пустыню на верблюде. Физическая выносливость этого животного делает ненужным уделять хоть малейшее внимание его пропитанию; он почти не ест и не пьет; но его моральная чувствительность чрезвычайно высока, грубое обращение вызывает у него негодование и приводит в ярость. Император заметил, что неровность его рыси вызывает тошноту, как при движении корабля. Животное будет проходить двадцать лиг в день. Император сформировал несколько полков верблюдов, и использование их в армии вскоре привело к уничтожению арабов. Всадник садится на корточки на спине животного, через ноздри которого продевается кольцо, служащее ему ориентиром: он

очень послушен, и по определенному сигналу, подаваемому голосом всадника, животное опускается на колени, чтобы позволить ему слезть. Дромадер будет нести оченьтяжелую ношу, и его никогда не разгружают в течение всего путешествия. По прибытии на вечерние станции его поклажу подпирают, и животное ложится и засыпает: на рассвете оно встает, — его ноша у него на спине, и оно готово продолжить свой путь. Дромадер - всего лишь вьючное животное, и он совсем не пригоден для перевозки вьючных животных. Однако в Сирии им удалось прикрепить их к полевым частям, что сделало их практически пригодными к эксплуатации.

Наполеон стал очень популярен среди египтян, которые дали ему имя Султан Кебир (Отец Огня). Он внушал особое уважение: где бы он ни появлялся, люди вставали в его присутствии; и это почтение оказывалось ему одному. Неизменное уважение, с которым он обращался с шейхами, и ловкость, с помощью которой он завоевал их доверие, сделали его истинным властелином Египта и не раз спасали ему жизнь. Если бы не их разоблачение, он пал бы жертвой фанатизма, подобно Клеберу, который, напротив, стал ненавистен шейхам и погиб в результате того, что подверг одного из них казни бастинадо. Бертран был одним из судей, осудивших убийцу, и, рассказав нам об этом факте однажды за обедом, император заметил: “Если бы клеветники, обвиняющие меня в смерти Клебера, были знакомы с фактом, который вы упомянули, они без колебаний назвали бы вас убийцей или сообщником и сочли бы само собой разумеющимся, что ваш титул великого маршала и ваша резиденция на острове Святой Елены являются наградой и наказанием за преступление”.

Наполеон охотно беседовал с жителями страны и всегда проявлял чувство справедливости, которое поражало их. На обратном пути в Сирию ему навстречу вышло арабское племя с двойной целью: выразить ему уважение и продать свои услуги в качестве проводников. “Вождю племени нездоровилось, и его место занял его сын, юноша того же возраста и комплекции, что и ваш мальчик здесь”, - сказал мне император. “Он сидел верхом на своем дромадере, ехал рядом со мной и очень фамильярно беседовал со мной. “Султан Кебир, - сказал он, - я мог бы дать тебе хороший совет теперь, когда ты возвращаешься в Каир”, — “Что ж, говори, мой друг, и если твой совет хорош, я последую ему”. - “Я скажу тебе, что бы я сделал, будь я на твоём месте. Как только я доберусь до Каира, я пошлю на рынок самого богатого работоторговца и выберу для себя двадцать самых красивых женщин; затем я пошлю за самыми богатыми ювелирами и заставлю их отдать мне значительную часть своих запасов; затем я сделаю то же самое со всеми остальными торговцами; ибо какой смысл царствовать или быть могущественным, если не для того, чтобы приобретать богатства?” — “Но, мой друг, предположим, было бы благороднее сохранить их для других?” Это мнение, казалось, заставило его немного задуматься, но не убедило его. Молодой человек, очевидно, подавал большие надежды для араба: он был живым и отважным и вел свой отряд с достоинством и порядком. Возможно, ему суждено рано или поздно привести свой совет в исполнение для собственной выгоды на рыночной площади Каира”.

В другом случае несколько арабов, находившихся в дружеских отношениях с армией, проникли в деревню на границе, и несчастный феллах (крестьянин) был убит. Султан Кебир пришел в великую ярость и, поклявшись, что он отомстит, приказал преследовать племя в пустыне до полного истребления. Этот приказ был отдан в присутствии главных шейхов, один из которых не смог удержаться от смеха над его гневом и решимостью. “Султан Кебир, - сказал он, - ты сейчас ведешь плохую игру: не ссорься с этими людьми; они могут причинить тебе в десять раз больше вреда, чем ты можешь причинить им. И, кроме того, что все это значит. Потому что они убили

несчастливого крестьянина? Он был твоим двоюродным братом (выражение, вошедшее у них в поговорку)?” “Он был мне больше, чем двоюродный брат, - ответил Наполеон. - Все, кем я правлю, - мои дети: власть дана мне только для того, чтобы я мог обеспечить их безопасность”. Услышав эти слова, все шейхи склонили головы и сказали: “О! это очень хорошо; ты говорил как Пророк”.

Решение Большой мечети Каира в пользу французской армии было шедевром мастерства со стороны главнокомандующего, который побудил синод главных шейхов объявить публичным актом, что мусульмане должны подчиняться французскому генералу и воздавать ему должное. Это первый и единственный пример подобного рода с момента установления Корана, который запрещает подчиняться неверным. Подробности этой сделки бесценны: их можно найти в "Кампаниях Египта".

Сен-Жан д'Акр, несомненно, представлял собой необычное зрелище, когда две европейские армии встретились с враждебными намерениями в маленьком городке Азии с общей целью закрепления владения частью Африки; но еще более необычно, что люди, руководившие усилиями каждой стороны, были одной нации, одного возраста, одного звания, одного корпуса и одной школы.

Филиппо, чьим талантам англичане и турки были обязаны сохранением Сен-Жан-д'Акр, был товарищем Наполеона в парижской военной школе: они вместе проходили там экзамены, прежде чем их направили в соответствующие корпуса. “Его фигура напоминала вашу”, - сказал мне император после того, как продиктовал свою хвалебную речь в “Мемуарах” и упомянул все зло, которое он ему причинил. “Сир, ” ответил я, “ между нами было много других точек соприкосновения; мы были близкими и неразлучными товарищами в Военном училище. Когда он проезжал через Лондон с сэром Сиднеем Смитом, которому с его помощью удалось сбежать из Темпла, он искал меня повсюду. Я зашел к нему домой всего через полчаса после его ухода; если бы не этот несчастный случай, я, вероятно, сопровождал бы его. В то время у меня не было никакого занятия; перспектива приключений могла бы соблазнить меня; и как странно могло бы повернуться течение моей судьбы в новом направлении!”

“Я хорошо осведомлен, - сказал Наполеон, - о влиянии, которое случай узурпирует на наши политические решения; и именно знание этого обстоятельства всегда удерживало меня от предубеждений и делало меня очень снисходительным по отношению к партии, принятой отдельными людьми в наших политических конвульсиях. Быть хорошим французом или желать им стать — вот все, что я искал в ком-либо ”. Затем император сравнил неразбериху наших тревог с ночными битвами, где каждый нападает на своего соседа, и друзей часто путают с врагами; но когда возвращается дневной свет и восстанавливается порядок, каждый прощает увечье, которое он получил по ошибке. “Даже за себя, ” сказал он, - как я мог бы сказать, что, возможно, не существовало обстоятельств, достаточно веских, несмотря на мои естественные чувства, чтобы побудить меня эмигрировать? Близость границы, например, дружеская привязанность или влияние вождя. В революциях мы можем с уверенностью говорить только о том, что мы сделали: глупо утверждать, что мы не могли действовать иначе ”. Затем император рассказал об исключительном примере влияния случая на судьбы людей. Серрюрье и младший Хедувиль, когда вместе шли пешком, чтобы эмигрировать в Испанию, были встречены военным патрулем. Хедувиль, будучи младшим и более активным из них двоих, пересек границу, посчитал, что ему очень повезло, и отправился вести простую растительную жизнь в Испании.

Серрюрье, напротив, вынужденный вернуться в глубь страны, оплакивал свою несчастную судьбу и стал маршалом: такова ненадежность человеческого предвидения и расчетов!

При Сен-Жан-д'Акре главнокомандующий потерял Каффарелли, которого он чрезвычайно любил. Каффарелли испытывал своего рода благоговейное уважение к главнокомандующему. Влияние этого чувства было настолько велико, что, хотя он был в бреду в течение нескольких дней до своей смерти, когда Наполеон пришел навестить его, объявление его имени, казалось, вернуло его к жизни: он стал более собранным, его настроение оживилось, и он связно разговаривал; но он вернулся в свое прежнее состояние сразу после ухода Наполеона. Это необычное явление повторялось каждый раз, когда главнокомандующий наносил ему визит.

Во время осады Сен-Жан д'Акра Наполеон получил впечатляющее доказательство героической преданности. Когда он был в окопах, к его ногам упал снаряд; два гренадера, заметившие это, немедленно бросились к нему, поставили его между собой и, подняв руки над его головой, полностью прикрыли каждую часть его тела. К счастью, shell проявила уважение ко всей группе; никто не пострадал.

Одним из этих храбрых гренадеров впоследствии стал генерал Дюмениль, потерявший ногу во время Московской кампании и командовавший Венсенской крепостью во время вторжения в 1814 году. Столица уже несколько недель была оккупирована союзниками, и Дюмениль все еще держался. Тогда в Париже не говорили ни о чем, кроме его упорной защиты и его шуточного ответа, когда русские потребовали сдаться: “Верните мне мою ногу, и я сдам свою крепость”.

Французские солдаты приобрели исключительную репутацию в Египте, и не без причины; они разогнали и привели в смятение знаменитых мамлюков, самое грозное ополчение Востока. После отступления из Сирии турецкая армия высадилась в Абукире: Мурат-бей, самый могущественный и храбрый из мамлюков, покинул Верхний Египет, куда он бежал в поисках безопасности, и окольным путем добрался до турецкого лагеря. После высадки турок французские отряды отступили, чтобы сосредоточить свои силы. Паша, командовавший турками, был в восторге от этого движения, которое он принял за проявление страха; и, увидев Мурат-бея, он ликующе воскликнул: “Так! это ужасные французы, с которыми ты не мог встретиться лицом к лицу; смотри, как только я появляюсь, они разбегаются передо мной”. Возмущенный Мурат—бей яростно ответил: “Паша, возблаговари Пророка за то, что этим французам было угодно отступить; если они вернуться, ты исчезнешь перед ними, как пыль на ветру”.

Его слова оказались пророческими: — несколько дней спустя французы обрушились на турецкую армию и обратили ее в бегство. Мурат-бей, побеседовавший с несколькими нашими генералами, был крайне удивлен их миниатюрным ростом и жалким состоянием. Восточные народы придают большое значение физическому росту, и они были неспособны постичь, как столько гениальности может существовать в таких маленьких размерах. Одна только внешность Клебера соответствовала их представлениям; он был необычайно красивым мужчиной, но его манеры были грубыми. Разборчивость египтян заставила их думать, что он не француз; на самом деле, хотя он и был уроженцем Эльзаса, раннюю часть своей жизни он провел в прусской армии и вполне мог сойти за немца. Кто-то сказал, что Клебер в молодости был янычаром; император разразился приступом смеха и сказал, что кто-то навязывался ему.

Великий маршал сообщил императору, что в битве при Абукире он впервые оказался в его армии и рядом с его персоной. Он тогда еще так мало привык к смелости его маневров, что едва понимал ни один из приказов, которые слышал от него. “В частности, сир, - добавил он, - когда я услышал, как вы крикнули офицеру: ”Эркюль, мой дорогой друг, возьми двадцать пять человек и атакуй этот сброд“, я действительно подумал, что лишился рассудка; ваше величество указали на отряд в тысячу турецких всадников”.

В конце концов, потери, понесенные армией в Египте, были далеко не такими значительными, как можно было бы ожидать в стране, к которой войска не привыкли; особенно если принять во внимание нездоровый климат, удаленность ресурсов страны, опустошительные последствия чумы и многочисленные действия, обессмертившие эту армию. Французские силы при высадке в Египте составляли 30 000 человек; они были увеличены за счет поражений в битве при Абукире и, вероятно, также за счет частичного прибытия из Франции; и все же общие потери, понесенные армией с начала кампании до двух месяцев после отъезда главнокомандующего в Европу (в течение семи или двадцати восьми месяцев), составили всего 8 915 человек, как подтверждается официальным отчетом генерального инспектора.^[22]

Жизнь человека действительно должна быть полна чудес, когда одно из его деяний, не имеющее аналогов в истории, едва ли привлекает наше внимание. Когда Цезарь перешел Рубикон, у него была армия, и он наступал, защищая себя. Когда Александр, побуждаемый пылом юности и огнем гения, высадился в Азии, чтобы начать войну с великим царем, он, Александр, был сыном царя, сам был царем и пользовался шансами на честолюбие и славу, стоя во главе войск своего царства. Но это частное лицо, чье имя за три года до того была неизвестна в мире, который на тот момент не было ничего, чтобы помочь ему, но репутация уже несколько побед, его имя, и сознание своей гениальности, должны иметь осмелился задумать проект, взяв в свои руки судьбу тридцать миллионов мужчин, защищая их от внешних поражений и внутренних раздоров;—что, разбудил рассказ о бедах, которые были описаны в его, и по идее бедствий, которые он предвидел, он должен иметь воскликнул: “Франция будет потеряна через эти болтуны, эти болтуны: сейчас самое время, чтобы спасти ее!”—что лучше бы он бросил свою армию и пересек море, рискуя своей свободой и репутацией, достигли Франции и улетели в столицу; что он там захватили руля, и остановился народ в состоянии алкогольного опьянения, с каждым избыток; что он вдруг вернул ее в истинный курс разума и справедливости;—что он должен с этого момента подготовили для ее карьеры, власти и славы до сих пор неизвестно;—и что все это должно было быть достигнуто без пролития единой слезинки или капли крови;—такое начинание может рассматриваться как одна из самых гигантских и возвышенное, что когда-либо слышал; он наполнит спокойным и бесстрастным потомство с изумлением и восхищением, хотя в то время он был заклеен некоторые с отчаянным бегством, но и позорное дезертирство. Однако армия, которую Наполеон оставил позади себя, продолжала оккупировать Египет еще в течение двух лет. Император считал, что ее никогда не следовало принуждать к капитуляции;и великий маршал, который сопровождал армию до последнего момента, разделял это мнение.

После отъезда главнокомандующего Клебер, сменивший его, обманутый и введенный в заблуждение интригами, выступал за эвакуацию Египта; но когда отказ противника вынудил его искать новой славы и составить более справедливую оценку своих собственных сил, он полностью изменил свое мнение и заявил, что выступает за оккупацию Египта; и это даже стало общим настроением армии. Теперь он думал только о том, как удержаться в стране; он уволил

тех, кто повлиял на него при формировании его первого замысла, и собрал вокруг себя только тех, кто одобрял противоположную меру. Если бы он был жив, Египет был бы в безопасности; к его смерти следует отнести ее потерю. Впоследствии командование армией было разделено между Мену и Ренье. Затем это превратилось просто в поле для интриг: энергия и мужество французских войск не ослабевали; но они больше не использовались и не направлялись так, как это делал Клебер. Мену был совершенно неэффективен; англичане двинулись на него в атаку с двадцатью тысячами человек; его силы были гораздо значительнее, и общий дух двух армий нельзя было сравнивать. Охваченный непостижимым увлечением, Мену поспешно рассредоточил свои войска, как только узнал, что англичане вот-вот появятся, последние двинулись вперед массой и были атакованы лишь отдельными частями. “Как слепа фортуна, - сказал император, - приняв противоположные меры, англичане были бы безошибочно уничтожены; и сколько новых случайностей могло бы возникнуть, если бы не это событие!”

Их высадка была восхитительной, сказал великий маршал: менее чем за пять или шесть минут пять тысяч пятьсот человек выстроились в боевой порядок: это было поистине театральное движение; и оно было повторено трижды. Их высадке противостояли всего тысяча двести человек, которые нанесли им значительный урон. Вскоре после этого эта масса, насчитывавшая от тринадцати до четырнадцати тысяч человек, была бесстрашно атакована генералом Лануссе. У генерала было всего три тысячи солдат; но, охваченный честолюбием и не сомневаясь, что его сил достаточно для достижения поставленной им цели, он не стал ждать подкрепления; сначала он сокрушал все на своем пути и, нанеся врагу огромную резню, в конце концов потерпел поражение. Будь его войско на две или три тысячи больше, он достиг бы своей цели.

Англичане были очень удивлены, когда им представилась возможность самим оценить наше реальное положение в Египте; и они считали, что им чрезвычайно повезло в том повороте, который приняли дела.

Генерал Хатчинсон, пожинавший плоды завоевания, сказал по возвращении в Европу, что, если бы англичане знали истинное положение вещей, они, конечно, никогда бы не попытались высадиться; но в Англии считали, что в Египте нет шести тысяч французских солдат. Эта ошибка возникла из-за перехваченных писем, а также разведданных, которые были собраны в Египте. “Для французов так естественно, - сказал Наполеон, “ преувеличивать, роптать и искажать факты всякий раз, когда они недовольны. Эти сообщения, однако, были созданы просто дурным настроением или больным воображением: говорилось, что в Египте был голод; что все французы были уничтожены в каждом новом сражении; что чума унесла всю армию; что не осталось ни одного человека” и т.д.

Повторяя эти сообщения, Питт в конце концов убедился в их реальности; да и как могло быть иначе? Первый консул видел депеши от своего преемника, адресованные Директории; а также письма от различных лиц во французской армии. Кто может объяснить содержащиеся в них противоречия? Кто отныне будет полагаться на личный авторитет в отстаивании своего мнения? Клебер, главнокомандующий, сообщил Директории, что у него всего шесть тысяч человек, в то время как в том же пакете, по отчетам инспектора проверок, насчитывалось свыше двадцати тысяч. Клебер заявил, что у него нет денег, а на счетах казначейства значатся огромные суммы. Главнокомандующий утверждал, что артиллерия представляла собой всего лишь укрепленный парк, лишенный боеприпасов; в то время как в оценках этого департамента упоминались запасы

для нескольких кампаний. “Таким образом, если бы Клебер в силу заключенного им договора покинул Египет, - сказал император, - я, несомненно, привлек бы его к суду по возвращении во Францию. Все эти противоречивые документы были представлены на рассмотрение Государственного совета”.

Из писем главнокомандующего Клебера можно составить представление о тоне писем, написанных лицами низшего ранга и простыми солдатами. Таковы, однако, были сообщения, ежедневно перехватываемые англичанами; они их печатали и ими руководствовались в своих операциях — обстоятельство, которое, должно быть, дорого им обошлось. Император заметил, что во всех своих кампаниях он видел один и тот же эффект, производимый перехваченными письмами, которые иногда приносили ему большую пользу.

Среди писем, которые в этот период попали к нему в руки, он обнаружил гнусные нападки на себя, которые он воспринял тем острее, что некоторые из них были написаны людьми, которых он облагодетельствовал, которым он полностью доверял и которые, как он считал, были сильно к нему привязаны. Один из этих людей, чье состояние он сколотил и в которого он верил с предельной искренностью, утверждал, что главнокомандующий сбежал, ограбив казну на два миллиона. К счастью, в этих же депешах счета Казначей доказывали, что генерал даже не получил всю причитающуюся ему сумму жалованья. “Прочитав это заявление, ” сказал император, “ я почувствовал настоящее отвращение к человечеству. Это было первое моральное разочарование, которое я когда-либо испытывал; и если оно не было единственным, то, возможно, по крайней мере, было самым серьезным. Многие люди в армии считали меня разоренным, и они уже страстно стремились должным образом ухаживать за мной за мой счет ”. Автор вышеупомянутого утверждения впоследствии попытался восстановить свое расположение. Император дал понять, что у него не должно быть возражений против того, чтобы он занимал подчиненное положение, но что он никогда больше его не увидит. На каждое заявление он постоянно отвечал, что не знает его: это была его единственная месть.

Император не переставал повторять, что Египет должен был остаться во владении французов, что безошибочно произошло бы, если бы страну защищали Клебер или Дезэ. “Это были два моих самых выдающихся лейтенанта, - сказал он, - оба обладали большими и редкими достоинствами, хотя их характеры и склонности были очень разными”.

Талант Клебера был дан природой; талант Десо был полностью результатом образования и усидчивости. Гений Клебера проявлялся только в определенные моменты, когда его будила важность события; а затем он тотчас же снова погружался в дремоту праздности и удовольствий. Талант Дезэ всегда был в полной силе; он жил только ради благородных амбиций и истинной славы: его характер формировался по истинному античному образцу. Император сказал, что его смерть была самой большой потерей, которую он мог понести. Соответствие их образования и принципов всегда поддерживало хорошее взаимопонимание между ними. Десо удовлетворился бы второстепенным званием и всегда оставался бы преданным и верным. Если бы он не был убит в битве при Маренго, Первый консул передал бы ему командование германской армией, вместо того чтобы передавать его Моро. Весьма необычным обстоятельством в судьбе этих двух лейтенантов Наполеона было то, что в тот самый день и в тот самый час, когда в Каире был убит Клебер, Дезэ был убит пушечным ядром в Маренго.

МЕТОД ИМПЕРАТОРСКОГО ДИКТАТА.

1-3 октября. Ветер, море и температура по-прежнему оставались неизменными. Западный ветер, который поначалу так благоприятствовал нам, теперь стал неблагоприятным. Мы взяли восточное направление в надежде попасть под пассаты; но теперь мы оказались с подветренной стороны от места нашего назначения из-за продолжающихся западных ветров — обстоятельство, удивившее всех и возбудившее недовольство среди команды.

Император каждое утро исправно продолжал свою диктовку, к которой с каждым днем проявлял все больший интерес; следовательно, отныне его часы казались менее утомительными.

Судно было отправлено из порта в такой спешке, что после выхода в море оставалось завершить многие ремонтные работы, а покраска корабля была закончена совсем недавно. Обоняние императора чрезвычайно тонкое, и краска показалась ему настолько отвратительной, что он был вынужден на два дня запереться в своей каюте.

Каждый вечер, прогуливаясь по палубе, он любил возвращаться к утренним занятиям. Поначалу ему не помогал никакой другой документ, кроме жалкого сочинения под названием "Французские войска в Италии", написанного без конца и без цели и лишенного какого-либо связного хронологического плана. Император просмотрел его, и его память восполнила все недостатки: эта способность действительно показалась мне тем более необычной, что она, казалось, всегда была наготове, когда это было необходимо, и как по команде.

Когда император приступал к своим ежедневным диктовкам, он всегда жаловался, что обстоятельства, к которым он хотел бы вернуться, ему больше не знакомы. Казалось, он хотел быть уверенным в себе, говоря, что никогда не справится с этим заданием. Поразмыслив несколько мгновений, он вставал и расхаживал по комнате, а затем начинал диктовать. С этого момента он стал совсем другим человеком: все текло гладко; он говорил как по вдохновению; места, даты, фразы — он не останавливался ни перед чем.

На следующий день я прочитал ему то, что он продиктовал. Сделав первое исправление, он продолжил разговор на ту же тему, как будто ничего не говорил об этом накануне. Разница между первой и второй версиями была очень велика: последняя была более позитивной, рассеянной и лучше скомпонованной; более того, иногда она существенно отличалась от первой.

На следующий день после первого исправления та же операция была повторена, и император приступил к своей третьей диктовке с целью исправления двух первых. Но после этого, если бы он продиктовал четвертый, седьмой или десятый раз, как он это делал в некоторых случаях, это было бы повторением точно таких же идей, той же конструкции фраз и почти тех же слов. Не было нужды утруждать себя написанием, хотя и у него на глазах: он не обращал внимания на то, что делал, и продолжал до конца свою тему. Было бы напрасно просить его повторить что-либо, чего нельзя было отчетливо расслышать: он все продолжал; и поскольку он диктовал с большой скоростью, я никогда не осмеливался прерывать его, чтобы не потерять еще больше и не обнаружить, что не в состоянии восстановить нить разговора.

СТРАННЫЙ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ.

4-7—й. Продолжение юго-западного ветра было поистине неудачным. Теперь мы двигались назад, а не вперед, и полностью вошли в гвинейский залив. Там мы увидели корабль, с которым разговаривали. Это оказался французский корабль, сбившийся с курса, как и мы. Она отплыла из порта в Британии и направлялась на остров Бурбон. Император был очень огорчен нехваткой книг, и я в шутку сказал, что, возможно, у меня будет полный ящик на борту этого корабля, поскольку несколько месяцев назад я отправил одну коробку на остров Бурбон. Я говорил правду. Таков каприз случая! Если бы я отправился на поиски этого корабля, то, возможно, напрасно пересек океан. Это было то самое судно: я узнал его название на следующий день от офицера, который посетил его. Этот офицер странно удивил французского капитана, сообщив ему, что император Наполеон находился на борту корабля, который, как он затем видел, направлялся к острову Святой Елены. Бедняга печально покачал головой и сказал: “Вы лишили нас нашего сокровища: вы забрали того, кто знал, как управлять нами в соответствии с нашими вкусами и манерами”.

ЖАЛОБЫ ЭКИПАЖА НА АДМИРАЛА.—ИЗУЧЕНИЕ ДРУГОЙ РАБОТЫ.—ОПРОВЕРЖЕНИЯ.—РАЗМЫШЛЕНИЯ.

8-11—е число. Погода продолжала упрямо устанавливаться. Каждый вечер мы утешали себя в неблагоприятном состоянии дня надеждой на перемены за ночь; но утром мы вставали с тем же разочарованием. Мы были почти в пределах видимости Конго и остановились. Все выражали недовольство искуку. Команда жаловалась на адмирала; если бы он следовал обычным курсом, говорили они, мы достигли бы места назначения гораздо раньше; его каприз, по их словам, побудил его, вопреки здравому смыслу, провести эксперимент, последствия которого, по их мнению, были неизвестны. Их ропот, однако, не был таким яростным, как ропот против Христофора Колумба; мы не были бы недовольны, если бы он был вынужден найти другого Святого Сальвадора, чтобы избежать кризиса. Поскольку я, со своей стороны, был полностью занят, это обстоятельство мало занимало моего внимания; и в конце концов, одна тюрьма ничем не хуже другой. Что касается императора, то он был еще более равнодушен к этой задержке; он просто считал, что прошло так много дней.

Les Mémoires de Napoléon Bonaparte, par quelqu'un qui ne l'a jamais quitté pendant 15 ans (Мемуары Наполеона Бонапарта, написанные тем, кто постоянно был рядом с ним в течение пятнадцати лет) - так называлась работа, которую я начал изучать после работ сэра Роберта Уилсона. Это том в триста страниц, написанный анонимным автором, — обстоятельство само по себе достаточное, чтобы с самого начала вызвать недоверие. Но композиция и стиль произведения вскоре породили еще больше положительных сомнений в сознании размышляющего читателя, привыкшего судить о книгах. Наконец, тот, кто мало видел и знал императора, не колеблясь, прочтет первые страницы, что это произведение - простой роман, написанный для удовольствия; что автор никогда не приближался к императору; и что он в сотне лиг далек от его языка, привычек и всего, что его касается. Император никогда не говорил министру: “Граф, сделай это” — “Граф, исполни то”. Послы никогда не присутствовали на его приеме. Наполеон не мог в четырнадцатилетнем возрасте ответить даме в обществе, который ему приписывают, относительно виконта де Тюренна; потому что с десяти до восемнадцати лет он посещал Военную школу, где его никак не могли представить обществу дам. Это был не Периньон, который его не знал, а Дюгомье, который был его генералом, который так хорошо

рекомендовал его Директории. Это было письмо за восстановление демократии, а не бурбонов, которое офицер адресовал Первому консулу и т.д.

Император, который в Европе, по всеобщему признанию, хранил самую непроницаемую тайну относительно своих планов и взглядов, никогда не позволял себе жестов и тем более монологов, которые могли бы выдать его; и его гнев никогда не вызывал у него приступов безумия или эпилепсии — абсурдная выдумка, которая долгое время циркулировала в парижских салонах, но от которой отказались, когда выяснилось, что эти несчастные случаи никогда не происходили по важным поводам. Эти мемуары, несомненно, были заказным произведением, домислом какого-то книготорговца, который снабдил их названием. Как бы то ни было, можно было бы предположить, что, рассказывая о столь публичной карьере, как карьера императора и тех, кто его окружал, автор мог бы проявить большую точность и знание своего предмета. Он осознает свою недостаточность в этом вопросе и пытается защитить себя, говоря, что у него была необходимость изменить имена и что он не хотел, чтобы некоторые портреты были слишком яркими; но он также соблюдает эту осмотрительность в отношении фактов, так что их невозможно распознать. По большей части это полностью творения его собственной фантазии. Таким образом, бумага, потеря которой стоила главнокомандующему стольких беспокойств в Египте; рекомендация молодого англичанина, обрадовавшего Бонапарта, открыв ему столь блестящие перспективы удачи в Константинополе; мелодрама "Мальмезон", где героизм мадам Бонапарт (которая описывается как настоящая амазонка) так быстро обеспечивает безопасность ее мужу, возможно, могут возбудить интерес читателя; но это всего лишь басни; а история, связанная с Мальмезоном, показывает, что автор больше ничего не знал о характере этого человека. и нрав императрицы Жозефины больше, чем у императора. Автор, однако, превознося определенные черты характера, восхваляя определенные действия и опровергая определенную ложь, напускает на себя вид беспристрастности, что в сочетании с его мнимым положением рядом с императором в течение пятнадцати лет производит замечательный эффект в глазах обычных читателей. Большинство англичан на борту судна смотрели на это произведение как на своего рода оракул. Их мнение не изменилось, когда они обнаружили, что характер императора настолько отличается от того, что приписывается ему в этом романе. Они были склонны полагать, что невзгоды и стеснения изменили императора, а не предполагать, что эти печатные заявления были ложью. На мои замечания они постоянно отвечали: "Но автор был беспристрастным человеком, и к тому же он пятнадцать лет был сторонником императора". — "Но, " сказал я, - как зовут этого человека? Если бы он лично причинил вам вред в своей книге, как вы могли бы привлечь его к ответственности? Это мог написать любой человек здесь! " Эти аргументы, конечно, были неопровержимы; но англичанам было очень трудно преодолеть свое первое впечатление: такова обычная масса читателей и таков эффект, неизбежно производимый печатной ложью!

Но я больше не буду продолжать свое исследование работы, которая не заслуживает дальнейшего внимания; поэтому я обойдусь без остального. Редактируя свою рукопись в Европе, я обнаружил, что общественное мнение достигло такого прогресса, что мне было бы стыдно тратить время на опровержение утверждений и фактов, которые суждения и здравый смысл давно отвергли и которые теперь повторяют только дураки.

Пытаясь опровергнуть ошибочные представления, которые этот автор счел нужным создать о характере Наполеона, возможно, кто-то подумает, что я должен заменить их своими

собственными мнениями; но этого я буду тщательно избегать. Я ограничусь тем, что запишу все, что видел и слышал; я сообщу о его разговорах, и ничего другого ожидать не следует.

12-13—е число. Проявив терпение и с помощью нескольких незначительных изменений, мы постепенно приближались к концу нашего путешествия; и, хотя и были лишены естественного муссона, мы теперь приблизились на небольшое расстояние к месту нашего назначения. По мере того как мы продолжали наш курс, погода постепенно улучшалась, и, наконец, ветер стал совершенно благоприятным; но эта перемена произошла только за сутки до нашего прибытия.

14—го. - Адмирал ранее сообщил нам, что он ожидает, что в этот день появится в пределах видимости острова Святой Елены. Едва мы встали из-за стола, как до наших ушей донесся крик: "Земля! Это произошло всего через четверть часа после того момента, который был зафиксирован. Ничто не может лучше доказать прогресс мореплавания, чем такого рода чудо, благодаря которому моряки получают возможность предсказывать час, в который они прибудут в определенную точку на бескрайних просторах. Император поднялся на бак, чтобы осмотреть остров: ему показалось, что он его видит, но я ничего не мог разглядеть. Мы пролежали так всю ночь.

ПРИБЫТИЕ С ОСТРОВА Святой ЕЛЕНЫ.

15—го. - При дневном свете я мог довольно хорошо рассмотреть остров. Сначала он показался мне довольно обширным; но по мере приближения он, казалось, значительно уменьшался. Наконец, примерно через семьдесят дней после нашего отплытия из Англии и через сто десять после отплытия из Парижа, мы бросили якорь около полудня. Это было первое звено цепи, которая должна была приковать современного Прометея к его скале.

Мы нашли на якоре несколько судов нашей эскадры, которые отделились от нас или которые мы оставили позади. Однако они прибыли на несколько дней раньше нас: еще одно доказательство крайней неопределенности, присущей навигационным расчетам.

Император, вопреки обыкновению, рано оделся и вышел на палубу; он поднялся по трапу, чтобы осмотреть остров. Мы увидели нечто вроде деревни, окруженной многочисленными бесплодными холмами, возвышающимися до облаков. Каждая платформа, каждое отверстие, выступ каждого холма были уставлены пушками. Император рассматривал перспективу через подзорную трубу. Я встал позади него. Мой взгляд был постоянно прикован к его лицу, в котором я не замечал никакой перемены; и все же он видел перед собой, возможно, свою вечную тюрьму! — возможно, свою могилу!... Что же тогда мне оставалось чувствовать или выражать!

Император вскоре покинул палубу. Он попросил меня подойти к нему, и мы продолжили наше обычное занятие.

Адмирал, отправившийся на берег очень рано, вернулся около шести часов, очень усталый. Он бродил по разным частям острова и, наконец, решил, что нашел жилье, которое нам подошло бы. Дом, однако, нуждался в ремонте, который мог занять два месяца. К тому времени мы были заключены в нашу деревянную темницу почти на три месяца; и точные инструкции министров заключались в том, что мы должны были оставаться там до тех пор, пока наша тюрьма на берегу не будет готова к нашему приему. Адмирал, надо отдать ему справедливость, был неспособен на такое варварство; он сообщил нам, в то же время выдавая своего рода внутреннее

удовлетворение, что возьмет на себя ответственность высадить нас на берег на следующий день.

РЕЗИДЕНЦИЯ В БРАЙАРСЕ.

От 16 ОКТЯБРЯ 1815 ГОДА,
В ДЕНЬ НАШЕЙ ВЫСАДКИ На ОСТРОВЕ Святой ЕЛЕНЫ,
ДО 9 ДЕКАБРЯ, ЗА ДЕНЬ ДО ЭТОГО
О НАШЕМ ПЕРЕЕЗДЕ В ЛОНГВУД.

Интервал в месяц и двадцать четыре дня.

ВЫСАДКА ИМПЕРАТОРА На ОСТРОВЕ Святой ЕЛЕНЫ.

16 октября. — После обеда император в сопровождении великого маршала сел в лодку, чтобы отправиться на берег. Повинуясь замечательному и непреодолимому порыву, все офицеры собрались на шканцах, а большая часть команды - на сходнях. Это не было следствием любопытства, которое трехмесячное знакомство не могло не устранить и которое теперь сменилось живейшим интересом. Император, прежде чем сесть в шлюпку, послал за капитаном судна и простился с ним, пожелав ему в то же время передать свою благодарность офицерам и команде. Эти слова, по-видимому, произвели большое впечатление на всех, кто их понял или кому они были истолкованы. Остальная часть императорской свиты высадилась около восьми часов. Нас сопровождали несколько офицеров, и каждый на борту, казалось, был искренне тронут нашим отъездом.

Мы нашли императора в отведенных ему апартаментах; через несколько минут после нашего прибытия он поднялся по лестнице в свои покои, куда нас позвали сопровождать его. Его положение здесь было не лучше, чем на борту судна; мы оказались в чем-то вроде постоянного двора или гостиницы.

Город Святой Елены состоит только из одной очень короткой улицы или ряда домов, построенных вдоль очень узкой долины, образовавшейся между двумя совершенно перпендикулярными горами, состоящими из голых скал.

ИМПЕРАТОР ОБУСТРАИВАЕТ СВОЮ ОБИТЕЛЬ В БРАЙАРСЕ —ОПИСАНИЕ МЕСТА.—ЖАЛКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

17—го. В шесть часов утра император, великий маршал и адмирал выехали верхом на лошадях, чтобы посетить Лонгвуд, дом, который был выбран для резиденции императора и находился

более чем в двух лье от города. По возвращении они увидели небольшую виллу, расположенную в долине примерно в двух милях от города. Императору крайне не хотелось возвращаться в то место, где он провел предыдущую ночь и где он чувствовал себя более полностью изолированным от мира, чем на борту судна. Из-за часовых, охранявших его двери, и толпы любопытных, собравшихся под его окнами, он был вынужден запереться в своей комнате. Небольшой павильон, пристроенный к вышеупомянутой вилле, понравился ему, и адмирал придерживался мнения, что там ему было бы приятнее разместиться, чем в городе. Поэтому император устроил свою резиденцию в этом месте и немедленно послал за мной. Он так сильно заинтересовался своей работой, посвященной кампаниям в Италии, что не мог оторваться от нее: я немедленно присоединился к нему.

Небольшая долина, в которой расположена деревня Святой Елены [Джеймс-Таун], простирается на значительное расстояние вверх по острову, петляя между двумя цепями бесплодных холмов, которые окружают его с обеих сторон. Хорошая автомобильная дорога проходит через эту долину на расстояние около двух миль; после чего она прослеживается вдоль гребня холма, который возвышается слева, в то время как справа не видно ничего, кроме пропастей и заливов. Пересеченная местность здесь постепенно уменьшается, и дорога выходит на небольшую ровную возвышенность, на которой стоят несколько домов, перемежающихся деревьями и различными видами растительности: это маленький оазис среди каменистой пустыни. Здесь расположена скромная резиденция мистера Балькомба, островного торговца. На расстоянии тридцати или сорока шагов от жилого дома, на остроконечном возвышении, стояла маленькая беседка, или павильон, в который в хорошую погоду семья имела обыкновение удаляться выпить чаю и развлечься: это было уединенное убежище, нанятое адмиралом как временная резиденция императора; и он вступил во владение им утром. Когда я поднимался по извилистой тропинке, ведущей к павильону, мне показалось, что я заметил Императора, и я остановился, чтобы посмотреть на него. Это был сам Наполеон: его тело было слегка согнуто, руки заложены за спину; на нем был его обычный опрятный и простой мундир и его знаменитая маленькая шляпа. Он стоял на пороге, насвистывая популярную французскую мелодию, когда я подошел к нему. “А! - сказал он. - Вот и вы! Почему вы не привели своего сына?” “Сир, — ответил я, - уважение, которым я обязан вам, помешали мне”. - “Вы не можете обойтись без него, - продолжал он, - пошлите за ним”.

Ни в одной из своих кампаний, возможно, ни в одной ситуации из его прошлой жизни император не был так бедственно устроен и не подвергался стольким лишениям. Летний домик состоял из одной комнаты, почти квадратной, на первом этаже, с двумя дверями, обращенными друг к другу с двух его сторон, и двумя окнами с каждой из других сторон. На этих окнах не было ни занавесок, ни ставен, и в комнате едва хватало места. Император в этот момент был один; двое его камердинеров суеились, готовя ему постель. Он хотел немного пройтись, но ни с одной стороны павильона не было ровной площадки, которая была окружена огромными обломками камня. Он взял меня за руку и начал оживленно беседовать. Наступала ночь; глубокая тишина, безмятежное уединение царили со всех сторон; — какая толпа ощущений и настроений захлестнула меня в эту минуту! — Я был в этой пустыне, с глазу на глаз, и наслаждался дружеской беседой с человеком, который правил миром! — с Наполеоном! Каковы были мои чувства! - Но чтобы понять их, необходимо было бы вернуться к дням его былой славы; к тому времени, когда одного его указа было достаточно, чтобы низвергнуть троны и возвести на престол королей! Следовало бы поразмыслить о том, кем он был для всех, кто окружал его в Тюильри: робкое смущение, глубокое уважение, с которым к нему обращались его

министры и чиновники; тревога, ужас послов, принцев и даже королей! Со мной все эти настроения остались в полной силе.

Когда император собирался отойти ко сну, мы обнаружили, что одно из окон (на котором, как я уже заметил, не было ни ставен, ни занавесок) находилось вплотную к его кровати, почти на уровне его лица. Мы забаррикадировали его, как могли, чтобы исключить доступ воздуха, к воздействию которого император очень чувствителен, малейшего глотка было достаточно, чтобы вызвать у него простуду или зубную боль. Со своей стороны, я поднялся на верхний этаж, непосредственно над комнатой императора. В этом помещении, размеры которого составляли около семи квадратных футов, стояла только кровать и ни одного стула: оно служило жилищем мне и моему сыну, для которого на полу был расстелен матрас. Но как мы могли жаловаться, находясь так близко к императору? мы могли слышать звук его голоса и различать его слова! Камердинеры спали на земле, поперек дверного проема, завернувшись в свои плащи. Таково точное описание первой ночи, которую Наполеон провел в Брайарсе.

ОПИСАНИЕ ШИПОВНИКА.—САД.—ИМПЕРАТОР ВСТРЕЧАЕТСЯ С МОЛОДЫМИ ЛЕДИ ДОМА.

18—го. -Я завтракал с императором: у него не было ни скатерти, ни тарелок, и на завтрак ему принесли остатки вчерашнего обеда.

Английский офицер был поселен в соседнем доме в качестве нашей охраны, а два младших офицера маршировали взад и вперед с видом военного парада перед нашими глазами, чтобы наблюдать за нашими движениями. Покончив с завтраком, император приступил к своей диктовке, которая заняла у него несколько часов. После этого он отправился осмотреть наши новые владения и осмотреть окрестности.

Спустившись с нашего холма со стороны, обращенной к главному дому, мы нашли тропинку, окаймленную живой изгородью и бегущую у подножия обрывов. Пройдя по тропинке шагов двести, мы подошли к небольшому садику, дверь в который была открыта. Этот сад длинный и узкий и разбит на очень неровной земле; но по всей его длине проходит сносная ровная дорожка. У входа на одном конце есть что-то вроде беседки, а на другом - две хижины для негров, в обязанности которых входит ухаживать за садом. На нем растут несколько фруктовых деревьев и несколько цветов. Не успели мы войти в сад, как нас встретили дочери хозяина дома, девочки лет четырнадцати-пятнадцати: одна - веселая, легкомысленная и ни о чем не заботящаяся; другая - более степенная, но в то же время обладающая большой *наивностью* манер; обе немного говорят по-французски. Они прошли по саду и поставили все цветы под приношение, чтобы преподнести их императору, которого они засыпали самыми причудливыми и нелепыми вопросами. Императора очень позабавила эта фамильярность, к которой он был так мало привычен. - Мы были на балу-маскараде, - сказал он, когда молодые леди удалились.

МОЛОДЕЖЬ ФРАНЦИИ. — ИМПЕРАТОР ПОСЕЩАЕТ ДОМ мистера БАЛЬКОМБА.

19-20—го. Император пригласил моего сына на завтрак: легко представить, что он был вне себя от радости по поводу этой чести! Возможно, это был первый раз, когда он находился так близко к императору или разговаривал с ним; и он был немало взволнован по этому поводу.

Стол по-прежнему оставался без скатерти; завтрак по-прежнему приносили из города, и состоял он всего из двух или трех убогих блюд. Сегодня принесли цыпленка: император пожелал разделать его сам и помочь нам. Он был поражен, обнаружив, что ему это так хорошо удалось; по его словам, прошло много времени с тех пор, как он так много делал, ибо вся его вежливость, добавил он, была утрачена в делах и заботах, связанных с командованием Италией.

Кофе - почти жизненная необходимость императора, но здесь он оказался настолько плохим, что, попробовав его, он подумал, что отравился. Он отослал его и заставил меня отослать и свой тоже.

Император в этот момент пользовался табакеркой с несколькими старинными медалями, окруженными греческими надписями. Император, не будучи уверен в названии одной из голов, попросил меня перевести надпись; и когда я ответил, что это выше моих сил, он рассмеялся и сказал: "Я вижу, вы ученый не лучше меня". Затем мой сын с трепетом взялся за это задание и прочел Митридата, Деметрия-Полиорцета и некоторые другие имена. Чрезвычайная молодость моего сына и это обстоятельство привлекли внимание императора. "Ваш сын так далеко продвинулся? - сказал он; и он начал долго расспрашивать его о его лицее, его учителях, его уроках и т. Д. Затем, повернувшись ко мне, сказал: "Какое подрастающее поколение я оставляю после себя!" - сказал он. "Это все моя работа! Заслуги французской молодежи будут для меня достаточной мезью. Увидев эту работу, все должны воздать справедливость рабочему! и извращенные суждения или недобросовестность декламаторов должны пасть ниц перед моими делами. Если бы я думал только о себе и об обеспечении собственной власти, как это постоянно утверждалось, если бы я действительно имел в виду какую-либо иную цель, кроме установления господства разума, я бы постарался *спрятать свет под скупом*; вместо этого я посвятил себя распространению знаний, и все же молодежь Франции не получила всех благ, на которые я рассчитывал. Мой университет, согласно задуманному мной плану, был шедевром в своих комбинациях и стал бы таковым по своим национальным результатам. Но злонамеренный человек все испортил; и при этом он, без сомнения, руководствовался дурными намерениями и преследовал какую-то цель".

Вечером император отправился навестить наших соседей. Мистер Балькомб, страдавший приступом подагры, растянулся на диване; его жена и две молодые леди, с которыми он познакомился утром, были рядом с ним. *Бал-маскарад* снова продолжился с большим воодушевлением. Наши гости щедро поделились всем своим багажом знаний. Разговор зашел о романах. Одна из молодых леди читала "Матильду" мадам Коттен и была в восторге, обнаружив, что император знаком с этим произведением. Англичанин с большим круглым лицом, по всей видимости, настоящий вакуум, который внимательно слушал, чтобы наилучшим образом использовать свои скудные познания во французском языке, скромно осмелился спросить императора, жива ли еще принцесса, подруга Матильды, характером которой он особенно восхищался? Император с очень торжественным видом ответил: "Нет, сэр; она мертва и похоронена", и у него почти возникло искушение поверить, что его самого разыграли, пока он не обнаружил, что печальная весть чуть не вызвала слезы из огромных вытаращенных глаз англичанина.

Молодые леди проявляли не меньшую простоту, хотя в них это было более простительно: однако я пришел к выводу, что они не очень глубоко изучали хронологию. Одна из них, перелистывая "Эстель" Флориана, чтобы показать нам, что она умеет читать по-французски, случайно

наткнулась на имя Гастона де Фуа и, обнаружив, что он отмечен званием генерала, спросила императора, доволен ли он своим поведением в армии, избежал ли опасностей войны и жив ли еще.

21—го.—Утром адмирал пришел навестить императора. Он постучал в дверь; и если бы меня там не было, императору, должно быть, пришлось бы выбирать: открыть ее самому или позволить адмиралу подождать снаружи.

Все разрозненные члены нашей маленькой колонии также приехали из города, и мы на короткое время собрались вместе. Каждый описал жалость своего положения и заслужил сочувствие императора.

УЖАС И ЖАЛОСТЬ НАШЕГО ПОЛОЖЕНИЯ.—ВОЗМУЩЕНИЕ ИМПЕРАТОРА.—НОТА АНГЛИЙСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ.

23-24—е число. Английские министры, нарушив право на гостеприимство, которому мы так безоговорочно доверяли, по-видимому, не упустили ничего, что могло бы заставить нас еще острее ощутить это нарушение. Изгоняя нас на самый дальний край света и подвергая всевозможным лишениям и жестокому обращению, они хотят заставить нас осушить чашу страданий до дна. Остров Святой Елены - настоящая Сибирь: единственное отличие заключается в его ограниченной протяженности и теплом, а не холодном климате.

Император Наполеон, который совсем недавно обладал такой безграничной властью и распоряжался таким количеством Корон, теперь занимает жалкую лачугу площадью в несколько квадратных футов, примостившуюся на скале, без мебели, без ставен и занавесок на окнах. Это место должно служить ему спальней, гардеробной, столовой, кабинетом и гостиной; и он обязан выходить, когда необходимо убрать эту единственную квартиру. Его трапезу, состоящую из нескольких убогих блюд, ему приносят издалека, как если бы он был преступником, заключенным в темницу. Он испытывает крайнюю нужду в самом необходимом для жизни: хлеб и вино не такие, к каким мы привыкли, и настолько плохие, что нам неприятно к ним прикасаться; воду, кофе, сливочное масло и другие предметы либо нельзя достать, либо они едва пригодны для употребления; ванна, которая так необходима для здоровья императора, недоступна; и он лишен возможности заниматься верховой ездой.

Его друзья и слуги находятся на расстоянии двух миль от него, и им не разрешается приближаться к нему без сопровождения солдата. Их лишают оружия и заставляют провести ночь на гауптвахте, если они возвращаются позже определенного часа или если в пароле допущена какая-либо ошибка, что случается почти ежедневно. Таким образом, на вершине этой ужасной скалы мы в равной степени подвержены суровости человека и суровости природы! И как легко было бы обеспечить нам более подходящее убежище и более вежливое обращение. Несомненно, если монархи Европы распорядились об этом изгнании, личная вражда руководила его исполнением. Если бы только политика диктовала эту меру как необходимую, разве не было бы существенно для того, чтобы сделать этот факт очевидным для всего мира, окружить всевозможным уважением прославленную жертву, в отношении которой было сочтено необходимым нарушить закон и принципы?

Мы все собрались вокруг императора, и он с жаром излагал эти факты: “Для какого позорного обращения мы защищены!” - воскликнул он. “Это мука смерти! К несправедливости и насилию

теперь добавляют оскорбления и длительные мучения. Если я был им так ненавистен, почему они не избавились от меня? Несколько мушкетных пуль в мое сердце или голову сделали бы свое дело; и в преступлении, по крайней мере, была бы какая-то энергия! Если бы не вы и, прежде всего, не ваши жены, я бы не получал от них ничего, кроме жалованья рядового. Как могут монархи Европы допустить, чтобы священный характер суверенитета был нарушен в моем лице? Неужели они не видят, что они собственными руками разрушают остров Святой Елены? Я победоносно вошел в их столицы, и если бы я лелеял подобные чувства, что бы с ними стало? Они называли меня своим братом; и я стал таковым по выбору народа, благодаря санкции победы, характеру религии, союзам их политики и их крови. Неужели они воображают, что здравый смысл наций слеп к их поведению? и чего они от этого ожидают? В любом случае, высказывайте свои жалобы, джентльмены; пусть их услышит возмущенная Европа! Жалобы с моей стороны были бы ниже моего достоинства и характера; я должен приказывать или молчать”.

На следующее утро офицер, открыв дверь, без дальнейших церемоний вошел в комнату императора, где я был занят с ним. Однако он пришел с добрыми намерениями. Он был капитаном одного из небольших судов, составлявших нашу эскадру. Теперь он собирался возвращаться в Европу и пришел узнать, есть ли у императора какие-либо распоряжения. Наполеон немедленно вернулся к предмету нашего разговора накануне вечером и, постепенно оживляясь, высказал чувства самого возвышенного и энергичного характера, которые он поручил ему передать британскому правительству. Я перевел то, что он сказал, в том же духе и с большой быстротой. Офицер, казалось, был поражен услышанным и оставил нас, пообещав в точности выполнить свое поручение. Но он не смог бы описать выражение лица и особенно тон, свидетелем которых я был. Император, однако, приказал мне записать то, что он сказал, что офицер, должно быть, счел очень слабо выраженным по сравнению с тем, что он только что услышал. Записка была следующей:

Меморандум. — “Император желает, по возвращении следующего судна, получить какой-либо отчет о своей жене и сыне и быть уведомленным, жив ли еще последний. Он пользуется этой возможностью, чтобы повторить и передать британскому правительству протесты, которые он уже сделал против чрезвычайных мер, принятых по отношению к нему.

“1-й. Это правительство объявило его военнопленным. Император не является военнопленным. Его письмо принцу-регенту, которое он написал и передал капитану Мейтленду перед тем, как тот поднялся на борт "Беллерофонта", в достаточной степени доказывает всему миру решимость и чувство уверенности, побудившие его добровольно встать под английский флаг.

“Император мог бы, если бы ему было угодно, согласиться покинуть Францию только на оговоренных условиях, касающихся его самого; но он презирал смешивать личные соображения с великими интересами, которыми постоянно были заняты его мысли. Он мог бы предоставить себя в распоряжение императора Александра, который был его другом, или императора Франциска, который был его тестем. Но, веря в справедливость английской нации, он не желал никакой иной защиты, кроме предоставляемой ее законами; и, отказавшись от государственных дел, он не искал никакой другой страны, кроме той, которая управлялась бы незыблемыми законами, независимыми от частной воли.

“2-й. Если бы император действительно был военнопленным, права, которыми обладают цивилизованные правительства в отношении такого военнопленного, ограничивались бы международным правом и прекращались с началом самой войны.

“3-й. Если бы английское правительство рассматривало императора, хотя и произвольно, как военнопленного, то права этого правительства были бы тогда ограничены публичным правом, или же, поскольку во время войны между двумя нациями не существовало картеля, оно могло бы перенять по отношению к нему принципы дикарей, которые предают своих пленников смерти. Это было бы более гуманно и более соответствовало правосудию, чем отправить его на эту ужасную скалу; смерть, причиненная на борту "Беллерофонта" на плимутских рейдах, была бы благословением по сравнению с обращением, которому он подвергается сейчас.

“Мы путешествовали по самым пустынным странам Европы, но ни одна из них не может сравниться с этой бесплодной скалой. Лишенный всего, что может сделать жизнь приемлемой, он рассчитан только на то, чтобы постоянно продлевать муки смерти. Первые принципы христианской морали и этот великий долг, возложенный на человека, следовать своей судьбе, какой бы она ни была, могут удержать его от того, чтобы собственноручно покончить с жалким существованием; император гордится тем, что превосходит такое чувство. Но если британское министерство будет упорствовать в своей несправедливости и насилии по отношению к нему, он сочтет за счастье, если они предадут его смерти”.

Судном, отправившимся в Европу с этим документом, был "Редпоул", капитан Десмонд.

Читатель должен простить пресную монотонность наших жалоб: они, без сомнения, окажутся всегда одними и теми же; но пусть помнят, насколько больше боли, должно быть, испытывали, повторяя их, чем можно испытать при их прочтении.

ОБРАЗ ЖИЗНИ В БРАЙАРСЕ.—КАБИНЕТ, КОТОРЫЙ ИМПЕРАТОР ИМЕЛ При СЕБЕ При АУСТЕРЛИЦЕ.—БОЛЬШОЙ КАБИНЕТ ИМПЕРАТОРА.—ЕГО СОДЕРЖИМОЕ.—ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ, ПАСКВИЛИ НА НАПОЛЕОНА И Т. Д., ОСТАВЛЕННЫЕ КОРОЛЕМ В ТЮИЛЬРИ.

25-27. Император оделся очень рано; он совершил короткую прогулку на свежем воздухе; мы позавтракали около десяти часов; он снова прогулялся, и затем мы приступили к делу. Я прочитал ему то, что он продиктовал накануне вечером и что мой сын переписал утром; он исправил это, а затем продолжил свою диктовку. Мы снова вышли около пяти часов и вернулись в шесть, в час, назначенный для обеда, то есть, так сказать, если обед к этому времени привезут из города. Дни были очень длинными, а вечера еще длиннее. К сожалению, я не разбирался в шахматах; одно время у меня была идея заниматься ими по ночам, но где я мог найти учителя? Я притворился, что немного разбираюсь в пикете, но император вскоре обнаружил мое невежество: он оценил мои добрые намерения, но все же бросил играть. Отсутствие занятий иногда приводило его в соседний дом, где молодые леди заставляли его играть в вист. Но более обычным его занятием было оставаться за столом после обеда и беседовать, сидя в кресле, потому что комната была слишком мала, чтобы он мог расхаживать.

Однажды вечером он приказал принести ему маленький дорожный шкафчик и, тщательно осмотрев каждую его деталь, подарил его мне, сказав: “Он был у меня долгое время, я воспользовался им утром в день битвы при Аустерлице. Это должно достаться юному Эммануилу, ” сказал он, поворачиваясь к моему сыну. “ Когда ему исполнится тридцать или сорок лет, нас больше не будет. Это только усилит ценность подарка; он скажет, когда покажет

его, что император Наполеон подарил это моему отцу на острове Святой Елены”. Я получил этот драгоценный подарок с каким-то благоговейным чувством и храню его как ценную реликвию.

Перейдя от этого к осмотру большого шкафа, он осмотрел несколько портретов своей собственной семьи и несколько подарков, которые получил лично. Они состояли из портретов мадам, королевы Неаполитанской, дочерей Иосифа, его братьев, короля Рима и т. Д.; Августа и Ливии, оба чрезвычайно редкие; Воздержания Сципиона и другого антиквариата огромной ценности, подаренного ему папой; Петра Великого на шкатулке; еще одна шкатулка с изображением Карла V; еще одна с изображением Тюренна; и некоторые, которые использовались ежедневно, покрытые коллекцией медальонов Цезаря, Александра, Силлы, Митридата и т. Д. Затем последовало несколько табакерок, украшенных его собственным портретом, оправленным в бриллианты. Затем он искал портрет без бриллиантов и, не найдя его, позвал своего камердинера, чтобы узнать о нем: к сожалению, этот портрет все еще оставался в городе вместе с большей частью его вещей; Я был огорчен, получив это известие, я не мог отделаться от мысли, что потерпел неудачу из-за этого несчастья.

Затем император осмотрел несколько табакерок, которые Людовик XVIII. оставил на своем столе в Тюильри во время своего поспешного отъезда. На одном из них были изображены на черном фоне портреты Людовика XVI, королевы и мадам Елизаветы, выполненные пастой, имитирующей слоновую кость, и причудливо расположенные. Они образовывали три полумесяца, расположенных спина к спине в форме равностороннего треугольника, а группы тесно переплетенных херувимов составляли внешнюю кайму. В другой коробке был представлен акварельный набросок охоты, который не имел никаких других претензий на достоинство, кроме того, что был приписан карандашу герцогини Ангулемской. Третья была увенчана портретом, который, по-видимому, принадлежал графине Прованской. Эти три шкатулки были простого и даже заурядного исполнения и не могли обладать никакой другой ценностью, кроме той, которую придает им история.

По прибытии императора в Париж вечером 20 марта он застал кабинет короля точно в том состоянии, в каком им пользовались; все его бумаги по-прежнему лежали на столах. По желанию императора эти столы были сдвинуты в углы апартаментов, а другие принесены. Он отдал приказ ни к чему не прикасаться, намереваясь изучить бумаги на досуге: и поскольку сам император покинул Францию, не вернувшись в Тюильри, король, должно быть, must нашел свой кабинет и свои бумаги почти такими, какими он их оставил.

Император бросил торопливый взгляд на какие-то бумаги. Он нашел среди них несколько писем короля к г-ну д'Авари на Мадейру, где последний умер; они были написаны собственноручно королем и, несомненно, были отправлены ему обратно. Он нашел также несколько конфиденциальных писем короля, также написанных его собственной рукой. Но как они туда попали? Как они были возвращены ему? Это было бы трудно объяснить. Они состояли из пяти или шести страниц, написанных очень изящным языком и демонстрирующих некоторый смысл, но очень абстрактных и метафизических. В одном из них принц сказал даме, к которой он обращался: *“Судите, мадам, как сильно я люблю вас; я прекратил носить траур ради вас.”* “И здесь,” сказал император, “идея траура была подкреплена чередой длинных абзацев, выдержанных вполне в академическом стиле”. Император не мог себе представить, кому оно было написано или на что намекал *траур*; я не мог помочь его догадкам ни по одному из этих пунктов.

Через два или три дня после того, как император сменил некоего человека во главе знаменитого учреждения, он обнаружил на одном из столов мемуары этого самого человека, которые, судя по выражениям, в которых они были изложены относительно него самого и всей его семьи, несомненно, помешали бы ему подписать новое назначение.

Существовало также множество других документов того же рода, но наиболее полные свидетельства низости, обмана и подлости были найдены в апартаментах ме-сье Блакаса, великого магистра гардероба и министра домашнего хозяйства: они были заполнены планами, отчетами и петициями всякого рода. Было мало таких статей, в которых авторы не выставляли себя напоказ за счет Наполеона, возвращения которого они отнюдь не ожидали. В общей сложности они образовали такую массу, что император был вынужден назначить комиссию из четырех человек для их рассмотрения; теперь он думает, что сам был виноват в том, что не доверил эту должность ни одному человеку, и с такими предписаниями, что он мог бы быть уверен, что ничто не могло ускользнуть. С тех пор у него были основания полагать, что в этих бумагах могли содержаться некоторые полезные намеки на предательство, которое окружало его по возвращении из Ватерлоо.

Среди прочего было длинное письмо от одной из служанок принцессы Полины. Это объемистое письмо было выражено в очень грубых выражениях по отношению к принцессе и ее сестрам и описывало императора, на которого автор всегда ссылался под названием "*этот человек*", в наихудших красках. Этого было сочтено недостаточно; часть текста была стерта и подстрочена другой рукой, чтобы представить Наполеона самым скандальным образом; а на полях рукой подстрочника были написаны слова, *пригодные для печати*. Еще несколько дней, и эта клевета, вероятно, была бы опубликована.

Одна выскочка, занимавшая выдающийся государственный пост и пораженная проявлениями доброты со стороны императора, в большой спешке написала своей подруге, другой выскочке, письмо, в котором просила ознакомить ее со знаменитым решением Сената о конфискации и проскрипции Наполеона. В письме содержалось следующее: "Мой дорогой друг, мой муж только что вернулся: он смертельно устал; но его усилия увенчались успехом; мы избавлены от *этого человека*, и у нас будут бурбоны. Слава Богу, теперь мы будем настоящими графинями!" и т.д.

Среди этих бумаг Наполеон испытал унижение, встретив некоторые, содержащие весьма неприличные замечания, касающиеся его лично; и они также были написаны рукой людей, которые только накануне собрались вокруг него и уже пользовались его благосклонностью.

Первым порывом его негодования было решить, что они должны быть напечатаны, и отказаться от своей защиты; вторая мысль удержала его. "Мы так непостоянны, нас так легко сбить с толку, - сказал он, - что, в конце концов, я не мог быть уверен, что эти самые люди действительно и спонтанно не вернулись ко мне на службу: в таком случае я должен был наказать их в то самое время, когда они возвращались к своим обязанностям. Я подумал, что лучше сделать вид, что ничего не знаю об этом деле, и приказал сжечь все их письма.

ИМПЕРАТОР НАЧИНАЕТ ЕГИПЕТСКУЮ КАМПАНИЮ С ВЕЛИКИМ МАРШАЛОМ.— АНЕКДОТЫ БРЮМЕРА И К.—ПИСЬМО ГРАФА ДЕ ЛИЛЛЯ.—ПРЕКРАСНАЯ ГЕРЦОГИНЯ ДЕ ГИШ.

28—31-е. Мы с сыном продолжали работу без перерыва. Однако его здоровье начало ухудшаться; он почувствовал боль в груди. У меня также ослабли глаза: на самом деле это были последствия нашей чрезмерной занятости. Действительно, мы проделали поразительный объем работы: мы уже почти подошли к концу Итальянской кампании. Император, однако, все еще не считал, что у него достаточно занятий. Работа была его единственным ресурсом, и интерес, который предполагали его первые диктовки, послужил дополнительным мотивом для продолжения их написания. Теперь должна была начаться кампания в Египте. Император часто поговаривал о том, чтобы нанять великого маршала по этому вопросу.

Те из нашей партии, кто был поселен в городе, были плохо размещены и были недовольны разлукой с императором. Они были измучены стеснениями и унижениями, которым их подвергали. Я предложил императору, чтобы он поручил нам всем работать одновременно и сразу же приступил к описанию кампаний в Италии и Египте, истории консульства, возвращения с острова Эльба и т. Д. Я заметил, что тогда время пролетело бы быстрее; это великое дело, слава Франции, продвигалось бы быстрее, и джентльмены, живущие в городе, были бы менее несчастны. Эта идея понравилась императору, и с этого момента один или двое из его свиты регулярно приходили писать под его диктовку, стенограмму которой приносили ему на следующее утро. Затем они остались ужинать и таким образом доставили императору еще немного удовольствия.

Мы сделали такие приготовления, что император незаметно для себя оказался в более удобном положении во многих отношениях. Палатка, предоставленная мне полковником 53-го полка, была раскинута так, чтобы образовать продолжение комнаты, занимаемой императором. Его повар поселился в Брайарсе. Скатерть была извлечена из сундуков, тарелки расставлены, и наш первый обед после этих приготовлений был чем-то вроде *праздника*. Вечера, однако, всегда были в тягость нам. Император иногда заходил в соседний дом; в другое время он пытался выйти из своей комнаты, чтобы прогуляться; но чаще он оставался дома и пытался скоротать время в беседе до десяти или одиннадцати часов. Он боялся ложиться спать слишком рано, потому что, сделав это, просыпался ночью; и, чтобы отвлечься от печальных размышлений, ему приходилось вставать и читать.

Однажды за обедом император обратил внимание на одно из блюд его собственного походного сервиза, на котором был выгравирован королевский герб. “Как они это испортили!” - воскликнул он в очень энергичных выражениях; и он не мог удержаться от замечания, что король очень спешил завладеть императорской тарелкой, на которую он, конечно, не мог претендовать как на украденную у него, поскольку она, несомненно, принадлежала ему, Наполеону; ибо, добавил он, когда он взошел на трон, он не нашел и следа королевской собственности. При своем отречении он оставил короне пять миллионов столовых приборов и от сорока до пятидесяти миллионов мебели, которые были куплены на его собственные деньги из его гражданского списка.

Однажды вечером в беседе император рассказал об обстоятельствах, сопутствовавших событию в Брюмере. Я опускаю подробности, потому что впоследствии они были продиктованы генералу Гурго; подробный отчет об этом замечательном событии можно найти в Мемуарах.

Сийес, который был одним из временных консулов вместе с Наполеоном, удивленный, услышав, как его коллега на самом первом совещании обсуждал вопросы, касающиеся финансов, администрации, армии, права и политики, оставил его в полном замешательстве и побежал к своим друзьям, говоря: “Господа, у вас есть хозяин! Этот человек знает все, желает всего и может сделать все”.

В то время я был в Лондоне и сказал императору, что тамошние эмигранты возлагали большие надежды и возлагали большое доверие на события 18 Брюмера и на его консульство. Некоторые из нас, ранее знакомые с мадам де Богарнуа, немедленно отправились в Париж, надеясь с ее помощью оказать некоторое влияние или придать какое-то направление делам, которые тогда предстали в новом свете.

Наше общее мнение в то время заключалось в том, что первый консул ждал предложений от французских принцев. Мы обосновали это мнение тем обстоятельством, что он так долго не заявлял о своих намерениях относительно них; что, однако, он сделал некоторое время спустя самым ошеломляющим образом, посредством прокламации. Мы приписали этот результат глупому поведению епископа Аррасского, советника и управляющего нашими делами, который, по его собственному признанию, приступил к работе с закрытыми глазами и хвастался, что за несколько лет не прочел ни одной газеты, с тех пор как они были заполнены, как он сказал, успехами и ложью этих негодяев. При первом учреждении консульства кто-то попытался убедить епископа вступить в переговоры с консулом при посредничестве мадам Буонапарте, но епископ с негодованием отверг это предложение и высказался в столь грубой и отвратительной форме, что побудил этого человека сказать ему, что его выражения далеки от епископских и что он, конечно, никогда не заучивал их из своего требника.

Примерно в то же время он употребил несколько грубых оскорблений в адрес герцога де Шуазеля — и это тоже за столом принца, где получил за них строгий выговор; и все это только потому, что герцог, освобожденный из заключения в Кале и избежавший смерти благодаря защите консула, завершил свой ответ на запросы принца относительно Бонапарта заявлением, что, со своей стороны, он никогда не перестанет выражать ему свою личную благодарность.

На все это император ответил, что он никогда и не думал о принцах; что замечания, на которые я ссылаясь, исходили от одного из других консулов и были сделаны без какого-либо особого мотива; что мы, находившиеся за границей, по-видимому, не имели представления о мнении тех, кто находился дома; и что даже если бы он был благосклонно расположен к принцам, привести свои намерения в исполнение было бы не в его силах. Однако примерно в тот период он получал предложения как из Миттау, так и из Лондона.

Король, по его словам, написал ему письмо, которое было передано ему Лебреном, получившим его от аббата де Монтескью, тайного агента принца в Париже. Это письмо, написанное очень небрежным почерком, содержало следующий абзац: “Вы долго откладываете восстановление моего трона. Следует опасаться, что вы можете упустить благоприятные моменты. Вы не сможете обеспечить счастье Франции без меня, а я не смогу

служить Франции без вас. Тогда поторопитесь и укажите сами места, которые вы хотели бы предоставить своим друзьям”.

На это письмо Первый консул ответил: “Я получил письмо вашего королевского высочества; я всегда испытывал глубокий интерес к вашим несчастьям и несчастьям вашей семьи. Вы не должны думать о том, чтобы появиться во Франции; вы не смогли бы этого сделать, не пройдя мимо более чем ста тысяч трупов. Однако я всегда буду готов сделать все, что может облегчить вашу участь или позволить вам забыть о своих несчастьях”.

Увертюры графа д'Артуа обладали еще большей элегантностью и обходительностью. Он поручил передать их герцогине де Гиш, даме, чьи очаровательные манеры и личное обаяние были рассчитаны на то, чтобы помочь ей в важных переговорах. Она легко получила доступ к мадам Буонапарте, с которой легко вступали в контакт все представители старого двора. Она позавтракала с ней в Мальмезоне; и когда разговор зашел о Лондоне, эмигрантах и французских принцах, мадам де Гиш упомянула, что, будучи несколько дней назад в доме графа д'Артуа, она услышала, как какой-то человек спросил принца, что он намерен сделать для Первого консула в случае восстановления власти Бурбонов; и что принц ответил: “Я немедленно назначил бы его коннетаблем королевства и всем остальным, что он мог бы выбрать. Но даже этого было бы недостаточно: мы воздвигли бы на Карусели высокую и величественную колонну, увенчанную статуей Бонапарта, короновавшего Бурбонов”.

Как только Первый консул вошел, а он вошел вскоре после завтрака, Жозефина нетерпеливо пересказала ему обстоятельства, о которых рассказала герцогиня. “И разве вы не ответили, - сказал ее муж, - чтотруп Первого консула был бы сделан пьедесталом Колонны?” Очаровательная герцогиня все еще была здесь; красота ее лица, ее глаз и ее слов были направлены на успех ее поручения. Она сказала, что была так рада, что не знала, сможет ли она когда-нибудь в достаточной мере отблагодарить мадам Бонапарт за оказанную ей милость видеть и слышать такого выдающегося человека, такого великого героя. Все было напрасно: герцогиня де Гиш в ту же ночь получила приказ покинуть Париж. Обаяние посланника было слишком хорошо рассчитано, чтобы встревожить Жозефину, побудить ее сказать что-либо очень важное в ее пользу, и на следующий день герцогиня была уже на пути к границе.

Однако абсолютно неверно, что Наполеон, со своей стороны, в последующий период делал попытки или предложения принцам, касающиеся уступки их прав или отказа от короны; хотя такие заявления были сделаны в некоторых напыщенных декларациях, широко распространенных по Европе.— Как такое было возможно? ” спросил император. “ Я, который мог править только на основании того самого принципа, который исключал их, — принципа суверенитета народа, — как я мог пытаться завладеть через них правами, которые были запрещены лично для них! Это означало бы объявить себя вне закона. Абсурдность была бы слишком ощутимой, слишком нелепой; это навсегда погубило бы меня в общественном мнении. Дело в том, что ни прямо, ни косвенно, ни дома, ни за границей, я никогда не делал ничего подобного; и это, без сомнения, со временем станет мнением всех здравомыслящих людей, которые признают, что я не был ни дураком, ни сумасшедшим.

“Распространенность данного доклада, однако, побудило меня искать, чтобы обнаружить, что могло бы порождать его, и это те факты, которые я собрал:—во время хорошего взаимопонимания между Францией и Пруссией, и пока что государство прилагает усилия,

чтобы расположить к себе в нашу пользу, - она причинила запрос, следует ли Франция будет принимать обиделся на нее, позволяя французских принцев, чтобы оставаться в Прусской территории, к которой французское правительство дало отрицательный ответ. Ободренная этим ответом, Пруссия затем поинтересовалась, не испытываем ли мы какого-либо большого отвращения к тому, чтобы предоставлять им через ее посредство ежегодное пособие. На это наше правительство также ответило отрицательно при условии, что Пруссия будет нести ответственность за их молчание и воздержание от всяких интриг. Когда между двумя странами были начаты переговоры по этому делу, Бог знает, к чему могло привести усердие какого-нибудь агента или даже доктрины Берлинского двора, которые не совпадали с нашими. Это, без сомнения, послужило мотивом и предлогом, если таковые действительно существовали, для прекрасного письма Людовика XVIII, которого так демонстративно придерживались все члены его семьи. Французские принцы с готовностью ухватились за эту возможность возродить интерес и внимание Европы, которые к тому времени были полностью отвлечены от них”.

ЗАНЯТИЯ ДНЯ.—ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ.—ОПАЛА ПОРТАЛИСА.—РОСПУСК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА В 1813 ГОДУ.—СЕНАТ.

1-4 ноября. Теперь наши дни проходили так же однообразно, как и те, что мы провели на борту судна. Император пригласил меня позавтракать с ним около десяти или одиннадцати часов. Когда трапеза завершилась, после получасовой беседы я прочел ему то, что он продиктовал накануне вечером, и он возобновил свои записи. Император прекратил одеваться, как только вставал, и прогуливаться перед завтраком, что слишком разбивало его день и делало его слишком длинным. Теперь он никогда не одевался раньше четырех часов. Затем он вышел, чтобы дать слугам возможность застелить его постель и прибраться в комнате. Мы прогулялись по саду, который ему особенно нравился из-за его уединенности. Я приказал покрыть небольшую беседку полотном и распорядился поставить в ней стол и стулья; и с тех пор император выбирал это место для диктовки тем джентльменам, которые приезжали с этой целью из города.

Перед домом мистера Балькомба была аллея, окаймленная несколькими деревьями. Именно здесь расположились два английских солдата с целью наблюдения за нами. Однако в конце концов они были удалены по желанию мистера Балькомба, который сам почувствовал себя оскорбленным этим обстоятельством. Тем не менее, они еще некоторое время продолжали передвигаться, чтобы увидеть императора; либо привлеченные любопытством, либо действовавшие, повинувшись их приказам. Наконец они полностью исчезли, и император постепенно завладел этой нижней аллеей. Это было настоящее приобретение для его владений; и он прогуливался здесь каждый день перед обедом. Две юные леди со своей матерью присоединились к нему на этой прогулке и рассказали ему новость. Иногда, когда позволяла погода, он возвращался в сад после обеда; тогда ему удавалось провести вечер, не нанося визитов соседям, чего он никогда не делал, когда мог этого избежать, и никогда до тех пор, пока не убеждался, что там нет посторонних, в чем я всегда убеждался заранее, подглядывая в окно.

Во время одной из своих прогулок император много беседовал о Сенате, Законодательном органе и особенно о Государственном совете. Последний, по его словам, оказал ему значительную услугу на протяжении всего срока его правления. Я здесь запишу некоторые замечания относительно Государственного совета, тем более что в то время его очень мало

понимали в парижских гостиных; и поскольку сейчас он не существует на тех же началах, что раньше, я вставляю, по ходу дела, несколько строк о его механизме и прерогативах.

“Государственный совет, ” сказал император, “ обычно состоял из хорошо информированных, умелых и честных людей. Фермон и Буле, например, определенно принадлежали к этому классу. Несмотря на огромные судебные процессы, которые они вели, и огромные вознаграждения, которыми они пользовались, я бы не удивился, узнав, что сейчас они находятся не в самом благополучном положении ”. Император использовал государственных советников индивидуально в каждом конкретном случае и с пользой. В целом они были его настоящим советом — его разумом в размышлениях, поскольку министры были его разумом в исполнении. В Государственном совете были подготовлены законы, которые император представил Законодательному собранию, что сделало его в целом одним из элементов законодательной власти. В Совете разрабатывались указы императора и его правила государственного управления; там же рассматривались, обсуждались и корректировались планы его министров.

Государственный совет принимал апелляции и вынес окончательное решение по всем административным решениям; и, между прочим, по решениям всех других трибуналов, даже Кассационного суда. Были рассмотрены жалобы на министров и обращения императора к более информированному императору. Таким образом, Государственный совет, в котором неизменно председательствовал император, часто находясь в прямой оппозиции министрам или занимаясь исправлением их действий и ошибок, естественно, стал прибежищем для лиц или интересов, ущемленных какой бы то ни было властью. Все, кто когда-либо присутствовал на заседаниях совета, должны знать, с каким рвением там защищалось дело граждан. Комиссия Государственного совета принимала все прошения Империи и представляла Государю те, которые заслуживали его внимания.

За исключением юристов и лиц, занятых в администрации, удивительно, насколько остальная часть общества была неосведомлена о нашем политическом законодательстве. Ни у кого не было правильного представления о Государственном совете, о Законодательном органе или о Сенате. Было воспринято, например, как установленный факт, что Законодательный корпус, подобно собранию немых, пассивно принимал, без малейшего противодействия, все законы, которые ему представлялись; то, что относилось к природе и совершенству этого учреждения, приписывалось его покладистости и раболепию.

Законы, подготовленные в Государственном совете, представлялись уполномоченными, выбранными из этого совета, комитету Законодательного органа, назначенному для их рассмотрения; там они дружески обсуждались и часто тихо возвращались обратно в Государственный совет для внесения некоторых изменений. Когда две депутации не могли прийти к взаимопониманию, они продолжали проводить регулярные конференции под председательством архиректора или архи-казначей; так что, прежде чем эти законы поступили в Законодательный орган, они уже получили согласие двух противоположных партий. Если и существовали какие-либо разногласия, то они обсуждались двумя комитетами в присутствии всего Законодательного корпуса, выполняющего функции жюри присяжных, которое, как только его члены в достаточной степени знакомились с фактами, выносило свое решение путем тайного рассмотрения. Таким образом, у каждого человека была возможность свободно высказать свое мнение, поскольку невозможно было понять, положил ли он черный или белый

шар. “Ни один план, - сказал император, - не мог быть лучше рассчитан для исправления нашей национальной горячности и нашей неопытности в вопросах политической свободы”.

Император спросил меня, считаю ли я обсуждение в Государственном совете совершенно свободным, или его присутствие не ограничивает обсуждения? Я напомнил ему об очень долгом споре, во время которого он оставался при своем мнении и в конце концов был вынужден уступить. Он немедленно вспомнил об этом обстоятельстве. “О да, - сказал он, - это, должно быть, было в случае с женщиной из Амстердама, которую имперские суды трижды судили за ее жизнь и трижды оправдывали, но против которой требовалось новое разбирательство в Кассационном суде”. Император надеялся, что это счастливое совпадение законов, возможно, смягчит их суровость в пользу заключенной; что это счастливое стечение обстоятельств могло обернуться в ее пользу. В ответ было заявлено, что он обладает благотворной властью даровать прощение, но что закон непреклонен и должен идти своим чередом. Спор был очень долгим. Г-н Мюрэр говорил много и очень по существу; он убедил всех, кроме императора, который по-прежнему оставался при своем мнении, и в конце концов уступил, произнеся следующие замечательные слова: “Господа, решение принимается здесь большинством, я остаюсь единоличным и должен уступить; но я заявляю по совести, что уступаю только формам. Вы заставили меня замолчать, но никоим образом не убедили меня”.

Так мало было природе Государственного Совета понято людьми в общем то считалось, никто не смел пикнуть в этой сборке в оппозиции к императору отзыв. Таким образом, я очень удивил многих людей, когда рассказал о том факте, что однажды, во время очень оживленных дебатов, император, которого трижды прерывали при изложении своего мнения, повернулся к человеку, который довольно грубо прервал его, и сказал резким тоном: “Я еще не закончил; прошу вас позволить мне продолжить. Я считаю, что каждый здесь присутствующий имеет право высказать свое мнение”. Остроумие этого ответа, несмотря на торжественность события, вызвало общий смех, к которому присоединился и сам император.

“И все же, - сказал я ему, - ораторы, очевидно, стремились выяснить, каково могло бы быть мнение вашего величества: они, казалось, поздравляли себя, когда их взгляды совпадали с вашими, и были смущены, обнаружив, что придерживаются противоположных взглядов. Вас тоже обвинили в том, что вы расставляете нам ловушки, чтобы узнать наше истинное мнение. Однако, когда этот вопрос был однажды поднят, самолюбие и горячность аргументации способствовали, наряду со свободой обсуждения, которую поощрял император, побудить каждого придерживаться своего собственного мнения. “Я не возражаю, когда мне противоречат, ” сказал император. “Я стремлюсь быть информированным. Говори смело, - повторял он всякий раз, когда оратор выражался двусмысленно или тема была деликатной. - Скажи мне все, что ты думаешь; мы здесь одни; мы все в *кругу семьи*.”

Мне сообщили, что во время консульства или в начале правления Империи император выступил против мнения одного из членов, и из-за горячности и упрямства последнего дело в конце концов дошло до личного недоразумения. Наполеон сдержался и промолчал; но несколько дней спустя, увидев своего противника на одной из публичных аудиенций, он сказал ему полусерьезно: “Вы чрезвычайно упрямы; и если бы я был таким же! - Во всяком случае, вы неправы, подвергая испытанию власть! Вы не должны забывать о человеческих слабостях!”

В другой раз он сказал наедине с одним из членов клуба, который также довел его до крайности: “Вы должны быть немного осторожнее и прислушиваться к моему характеру. В

последнее время вы несколько перешли границы благоразумия: вынудили меня почесать лоб. Для меня это очень зловещий знак: в будущем не заводите меня так далеко”.

Ничто не могло сравниться с интересом, который присутствие и слова императора возбудили в Государственном совете. Он регулярно председательствовал там два раза в неделю, когда бывал в городе, и тогда никто из нас не отсутствовал бы во всем мире.

Я сказал императору, что два заседания, в частности, произвели на меня глубочайшее впечатление: одно было посвящено исключительно вопросам внутренней полиции, на котором он исключил одного из членов Совета; другое - конституционному решению, на котором он распустил Законодательный орган.

Религиозная партия разжигала гражданскую рознь в государстве, тайно распространяя буллы и письма папы Римского. Они были показаны государственному советнику, назначенному надзирать за религиозным богослужением, и который, если и не распространял их сам, то, по крайней мере, не препятствовал и не осуждал их распространение. Это было обнаружено, и император внезапно поставил его перед фактом на открытом совете. “Каковы могли быть ваши мотивы, сэр?” - сказал он. “Были ли на вас повлияли ваши религиозные принципы? Если так, то почему вы здесь? Я не могу контролировать совесть ни одного человека. Я заставил вас стать моим государственным советником? Напротив, вы просили об этом посте как о высоком одолжении. Вы самый молодой член Совета и, возможно, единственный, кто лично не претендует на эту честь; вам нечего было рекомендовать, кроме как унаследовать заслуги вашего отца. Вы лично присягнули мне; как могли ваши религиозные чувства позволить вам открыто нарушить эту клятву, как вы только что сделали? Однако говорите; вы здесь конфиденциально: вашими судьями будут ваши коллеги. Ваше преступление велико, сэр. Заговор с целью совершения акта насилия будет пресечен, как только мы схватим руку, держащую кинжал. Но заговор с целью повлиять на общественное мнение не имеет смысла: он подобен заряду пороха. Возможно, в этот самый момент целые города охвачены волнением по вашей вине! Советник, совершенно сбитый с толку, ничего не сказал в ответ: первого слова было достаточно, чтобы осудить его. Члены совета, для большинства из которых это событие было совершенно неожиданным, были поражены и хранили глубокое молчание. “Почему, ” продолжал император, “ вы, согласно обязанности, налагаемой вашей клятвой, не раскрыли мне преступника и его козни? Разве я не всегда доступен каждому из вас?” “Сир, ” сказал советник, наконец отважившись ответить, “ он был моим двоюродным братом”. — “Тогда ваше преступление тем больше, сир, ” резко ответил император. “ ваш родственник мог быть назначен на должность только по вашей просьбе: с этого момента вся ответственность перешла к вам. Когда я смотрю на человека, всецело преданного мне, как того требует ваше положение, все, кто связан с ним, и все, за кого он становится ответственным, с этого времени не нуждаются в присмотре. Таковы мои принципы”. Обвиняемый по-прежнему хранил молчание, и император продолжил: “Обязанности, которые возлагает на меня член государственного совета, огромны. Вы, сэр, нарушили эти обязанности и больше не занимаете эту должность. Уходите: чтобы я никогда больше не видел вас здесь!” Удаляясь, опальный советник прошел совсем рядом с императором; последний посмотрел на него и сказал: “Я искренне опечален этим, господин, ибо заслуги вашего отца все еще свежи в моей памяти”. Когда он ушел, император добавил: “Я надеюсь, что подобная сцена никогда не повторится; она причинила мне слишком много вреда. — Я не недоверчивый, но я мог бы стать таким! Я позволил окружить себя всем партиями; я поместил рядом с собой даже эмигрантов и солдат армии Конде; и, хотя их

хотели склонить к моему убийству, все же, надо отдать им справедливость, они остались верны мне. С тех пор как я взял бразды правления в свои руки, это первый человек, работающий рядом со мной, который меня предал”. И затем, повернувшись к месье Локре, который записывал дебаты в Государственном совете, он сказал: “Запишите, что *предали*— вы слышите?”

Какой интересной коллекцией были эти отчеты месье Локре! Что с ними стало? Все, что я здесь рассказал, можно было бы найти в них слово в слово.

Что касается роспуска Законодательного органа, то Государственный совет был созван либо в последний день, либо в предпоследний день декабря 1813 года. Мы знали, что дебаты будут важными, не зная, однако, их цели: кризис носил серьезнейший характер, враг вторгнулся на территорию Франции.

“Господа, ” сказал император, “ вы осведомлены о положении дел и опасностях, которым подвергается страна. Я счел правильным, не будучи обязанным делать это, направить частное сообщение по этому вопросу депутатам Законодательного органа. Таким образом, я хотел связать их с их самыми дорогими интересами, но они превратили этот акт моего доверия в оружие против меня, то есть против страны. Вместо того чтобы помогать мне во всех своих усилиях, они стремятся помешать моим. Одного нашего отношения было бы достаточно, чтобы остановить продвижение врага, в то время как их поведение привлекает его; вместо того, чтобы выставлять его напоказ, они обнажают перед ним наши раны. Они ошеломляют меня своими громкими требованиями мира, в то время как единственным средством добиться его было рекомендовать войну; они жалуются на меня и рассказывают о своих обидах; но какое время, какое место они выбирают для этого? Эти темы следует обсуждать наедине, а не в присутствии врага. Был ли я недоступен для них? Показывал ли я когда-нибудь, что не способен аргументировать разумно? Однако пришло время прийти к решению: законодательный орган, вместо того чтобы помочь мне спасти Францию, желает ускорить ее гибель. Законодательный орган предал свой долг — я выполняю свой — я распускаю его”.

Затем он приказал зачитать указ, смысл которого заключался в том, что две пятых Законодательного корпуса уже вышли за рамки своих полномочий; что первого января еще пятая часть будет находиться в такой же ситуации что, следовательно, большинство Законодательного корпуса тогда будет состоять из членов, которые не имели права входить в него; что, принимая во внимание эти обстоятельства, с этого момента оно продлевается и откладывается до проведения новых выборов.

После прочтения этого документа император продолжил: “Таков указ, который я издаю; и если бы я был уверен, что он соберет толпу парижан в Тюильри, чтобы убить меня сегодня же, я все равно издал бы его; ибо таков мой долг. Когда народ Франции доверил свою судьбу в мои руки, я принял во внимание законы, по которым я должен был управлять им: если бы я считал эти законы недостаточными, я бы не принял их. Я не Людовик XVI. От меня не следует ожидать ежедневных колебаний. Хотя я и стал императором, я не перестал быть гражданином. Если бы анархия возобновила свое господство, я бы отрекся от престола и смешался с толпой, чтобы насладиться своей долей суверенитета, а не оставаться во главе системы, в которой я только компрометировал бы всех, не будучи в состоянии никого защитить. Кроме того, ” заключил он, “ мое решение соответствует закону; и если каждый из присутствующих сегодня исполнит свой долг, я буду непобедим как под покровительством закона, так и перед врагом”. Но, увы! не каждый выполнил свой долг!

Вопреки общепринятому мнению, император был далек от деспотичного нрава, и он был настолько готов идти на уступки своему Государственному совету, что часто подвергался обсуждению или даже отменял принятое им решение, потому что один из членов мог впоследствии в частном порядке выдвинуть новые аргументы или намекнуть, что личное мнение императора повлияло на большинство. Пусть в этой главе будут указаны руководители секций.

Император имел обыкновение сообщать членам Института о каждой научной идее, которая приходила ему в голову, а также излагать свои политические идеи государственным советникам: он часто делал это с частными и даже секретными взглядами. По его словам, это верный способ проникнуть в суть вопроса; оценить способности человека и его политические пристрастия; оценить степень его осмотристельности т. Д. Я знаю, что в XII году. он представил трем государственным советникам на рассмотрение очень необычный вопрос, а именно: о ликвидации Законодательного органа. Это было одобрено большинством; но один решительно воспротивился этому; он говорил очень долго и во многом по назначению. Император, который слушал дискуссию с большим вниманием и серьезностью, не произнося ни единого слова и не позволяя никакому проявлению своего мнения ускользнуть от него, завершил заседание, заметив: “Вопрос столь серьезного характера заслуживает зрелого рассмотрения; мы вернемся к этой теме”. Но больше этот вопрос так и не был поднят.

Было бы хорошо, если бы те же меры предосторожности были приняты во время упразднения трибуната; ибо это всегда оставалось предметом громких заявлений и порицаний. Что касается императора, то он рассматривал это просто как пресечение дорогостоящего злоупотребления и важную экономическую меру.

“Несомненно, ” сказал он, “ что Трибунал был абсолютно бесполезен, хотя и стоил почти полмиллиона; поэтому я отменил его. Я хорошо понимал, что будет поднят протест против нарушения закона, но я был силен: я пользовался полным доверием народа и считал себя реформатором. Это, по крайней мере, говорит о том, что я делал все к лучшему. Я бы, напротив, создал Трибунал, если бы был лицемерен или настроен порочно; ибо кто может сомневаться, что он принял бы и санкционировал, когда это было необходимо, мои взгляды и намерения? Но это было то, к чему я никогда не стремился за все время моего правления. Я никогда не покупал голоса или решения обещаниями, деньгами или должностями; и если я оказывал услуги министрам, членам государственного совета и законодателям, то только потому, что было чем раздавать, и было естественным и даже справедливым, что они распределялись между теми, чьи занятия привели их в соприкосновение со мной.

“В мое время все официальные органы были чисты и безукоризненны, и я могу твердо заявить, что они действовали по убеждению. Злоба и безрассудство могли утверждать обратное, но безосновательно. Если эти организации и были осуждены, то людьми, которые их не знали или не хотели их знать; и упреки, которые были брошены в их адрес, должны быть отнесены к недовольству или оппозиции того времени; и прежде всего, к тому духу зависти, умаления и насмешек, который так характерен для французского народа. Сенат подвергался многочисленным оскорблениям; был поднят большой протест против его раболепия и низости; но декламация не является доказательством. Чего ожидали от Сената? Отказать призывникам? Желалось ли, чтобы комитеты по защите личной свободы и свободы печати навлекли позор на правительство? или чтобы Сенат сделал то, что было сделано в 1813 году комитетом Законодательного органа? Но к чему привела нас эта мера? Я сомневаюсь, что французский

народ сейчас очень благодарен за это. Правда в том, что мы оказались в вынужденных и неестественных обстоятельствах: понимающие люди знали это и приспособились к срочности момента. Неизвестно, что почти по каждому важному вопросу сенаторы, прежде чем проголосовать, приходили сообщить мне в частном порядке, и иногда очень решительно, о своих возражениях и даже об отказе; и они уходили, убежденные либо моими доводами, либо необходимостью и срочностью дела. Если я никогда не предавал огласке этот факт, то только потому, что правил добросовестно и потому, что презирал шарлатанство и все, что ему подобно.

“Голоса сената всегда были единодушными, потому что их убежденность была всеобщей. В то время предпринимались попытки воззвать к ничтожному меньшинству, которое лицемерные восхваления злонамеренности вкупе с их собственным тщеславием или какой-либо другой извращенностью характера вызывали безобидное сопротивление. Но проявили ли люди, составляющие это меньшинство, во время последнего кризиса здравую голову или искренние сердца? Я еще раз повторяю, что карьера Сената была безупречной; только момент его падения был позорным и достойным порицания. Без права, без власти и в нарушение всех принципов Сенат сдал Францию и довел ее до гибели. Этот орган был забавой высокопоставленных интриганов, в чьих интересах было дискредитировать и унизить его, а также разрушить одну из величайших основ современной системы. Можно с уверенностью сказать, что они полностью преуспели, ибо я не знаю органа, который следовало бы описать в истории с большим позором, чем французский сенат. Однако справедливо заметить, что пятно лежит не на большинстве, и что среди преступников было множество иностранцев, которые, по крайней мере, в будущем будут равнодушны к нашей чести и интересам”.

По прибытии графа д'Артуа Государственный совет приложил все усилия, чтобы привлечь его внимание и заручиться его благосклонностью. Ему дважды представляли депутацию Совета, и было испрошено разрешение направить одну из них для встречи с королем в Компень. На эту просьбу генерал-лейтенант королевства ответил, что король охотно принял бы отдельных членов Совета, но что о посылке депутации не следует и думать. Это правда, что *гро боннеты*, то есть начальники Отдела, отсутствовали. Вся эта агитация не имела никакой другой цели, кроме как обеспечить выплату им жалованья и, возможно, сохранение их мест. Таким образом, Государственный совет немедленно подписал свое присоединение к решениям Сената, избегая, правда, всяких выражений, которые могли бы оскорбить Наполеона; “И вы подписали это”, - сказал император. “Нет, сир, я отказался подписать это соглашение на том основании, что было бы вопиющей глупостью пытаться последовательно оставаться советником и доверенным слугой двух противников; и что, кроме того, если победитель был мудр, лучшим залогом, который можно было предложить его вниманию, были бы верность и уважение к побежденной стороне”. — И вы рассуждали правильно, - заметил Наполеон.

5—й.—Почти вся наша компания собралась вокруг императора в саду. Те, кто поселился в городе, много жаловались на неудобства и постоянные досады, которым они подвергались. Император в течение последних двух недель установил правило не сообщать ничего по этому поводу, кроме как в письменной форме, что, по его мнению, было наиболее подходящим и наилучшим образом рассчитанным способом для достижения желаемого результата. Он составил записку по этому вопросу, которая должна была быть доставлена несколько дней назад, но которой пренебрегли. Он несколько раз упоминал об этом деле, причем в недовольном тоне. Все его косвенные аргументы и наблюдения относились к великому маршалу. Последний, в конце концов, обиделся: ибо кого несчастье не выводит из себя? Он

выразился довольно резким языком. Его жена, стоявшая у садовой калитки, отчаявшись унять бурю, удалилась. Теперь у меня была возможность наблюдать, как впечатления, произведенные этим обстоятельством, с быстротой сменяли друг друга в уме императора. Разум, логика и, можно добавить, сентиментальность всегда брали верх. “Если, - сказал он, - вы не доставили письмо, потому что сочли его составленным в оскорбительных выражениях, вы исполнили долг дружбы; но, конечно, это не потребовало задержки более чем на двадцать четыре часа. Прошло две недели, а вы мне об этом не упомянули. Если план был ошибочным, если в письме были неточные выражения, почему вы не сказали мне об этом? Я должен был собрать вас всех, чтобы обсудить этот вопрос со мной.

Мы все стояли возле беседки в конце дорожки, в то время как император расхаживал перед нами взад и вперед. В какой-то момент, когда он отошел от нас на некоторое расстояние и его нельзя было услышать, великий маршал, обращаясь ко мне, сказал: “Боюсь, я выразился неуместно, и я сожалею об этом”. “Мы оставим вас с ним наедине, “ сказал я. - вы скоро заставите его забыть обиду”. Соответственно, я сделал знак другим присутствующим покинуть сад.

Вечером император, беседуя со мной об утренних событиях, сказал: “Это было после того, как мы помирились с великим маршалом — это было до недоразумения с Великим маршалом”, — и другие вещи в том же роде, которые доказывали, что это дело не произвело никакого впечатления на его сердце.

ГЕНЕРАЛЫ АРМИИ ИТАЛИИ.—ДРЕВНИЕ АРМИИ.—ГЕНГИСКАН.—СОВРЕМЕННЫЕ ВТОРЖЕНИЯ.—ХАРАКТЕР ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ.

6. Император был несколько нездоров и занялся писанием в своих покоях. Он продиктовал мне портреты генералов итальянской армии — Массены, Ожеро, Серрюрье и др. Массена был наделен необычайным мужеством и твердостью, которые, казалось, возрастали при превышении опасности. Победенный, он всегда был так же готов снова вступить в битву, как если бы он был победителем. Ожеро, напротив, казался усталым и обескураженным победой, которой у него всегда было предостаточно. Его внешность, манеры и язык придавали ему вид бравого человека. Однако, как говорится в повествовании, он был далек от этого, когда однажды обнаружил, что насытился почестями и богатствами, которыми он одаривал себя при каждом удобном случае и всеми доступными ему средствами. Серрюрье, сохранивший манеры и суровость старого майора пехоты, был честным и заслуживающим доверия человеком, но неудачливым генералом и т. Д.

Среди различных тем дневного разговора я записываю то, что Император сказал об армиях Древних. Он спросил, следует ли верить отчетам о великих армиях, упомянутых в истории. Он придерживался мнения, что эти утверждения были ложными и абсурдными. Он не верил описаниям бесчисленных армий карфагенян на Сицилии. “Такое множество войск, ” заметил он, “ было бы бесполезно в столь незначительном предприятии; и если бы Карфаген мог собрать такие силы, еще большие были бы собраны в экспедиции Ганнибала, которая имела гораздо большее значение, но в которой было задействовано не более сорока или пятидесяти тысяч

человек”. Он не верил рассказам о миллионах людей, составлявших войска Дария и Ксеркса, которые могли бы охватить всю Грецию и которые, несомненно, были бы разделены на множество отдельных армий. Он даже сомневался во всем этом блестящем периоде греческой истории; и он рассматривал знаменитую персидскую войну только как серию тех нерешительных действий, в которых каждая сторона претендует на победу. Ксеркс вернулся с триумфом, взяв, сожгв и разрушив Афины; и греки ликовали от своей победы, потому что они не сдались при Саламине. “Что касается напыщенных отчетов о завоеваниях греков и поражении их бесчисленных врагов, следует помнить, - заметил император, - что греки, которые их писали, были тщеславным и гиперболическим народом; и что никогда не появлялась персидская хроника, которая могла бы исправить наше суждение противоположными утверждениями”.

Но император отдавал должное римской истории, если не в ее деталях, то, по крайней мере, в ее результатах; потому что это были факты, ясные как божий день. Он также поверил описаниям армий Чингисхана и Тамерлана, какими бы многочисленными они, как говорят, ни были; потому что за ними следовали стадные народы, к которым, со своей стороны, присоединялись другие кочующие племена по мере их продвижения; “и не исключено, - заметил император, - что Европа однажды может погибнуть таким образом. Переворот, произведенный гуннами, причина которого неизвестна, поскольку тракт затерян в пустыне, может в будущем возобновиться”. [возобновлено](#)”.

Положение России превосходно рассчитано для того, чтобы помочь ей вызвать такую катастрофу. Она может по своему желанию собрать бесчисленные вспомогательные силы и рассеять их по Европе. Кочующие племена севера будут тем более расположены и тем более нетерпеливы к участию в подобных предприятиях, по мере того как их воображение будет разожжено, а алчность возбуждена успехами тех из их соотечественников, которые недавно посетили нас.

Затем разговор зашел о завоеваниях и покорителях; и император заметил, что для того, чтобы быть успешным завоевателем, необходимо быть свирепым, и что, будь он таким, он мог бы завоевать весь мир. Я позволил себе не согласиться с этим мнением, которое, несомненно, было высказано в минуту досады. Я утверждал, что он, Наполеон, был как раз доказательством обратного; что он не был свирепым, и все же покорил мир; и что при современных нравах свирепость, конечно, никогда не подняла бы его на столь высокую ступень. Я добавил, что в наши дни террор никогда не смог бы подчинить нас контролю отдельного человека; и что господство могло быть обеспечено только хорошими законами в сочетании с величием характера и той степенью энергии, которая является доказательством любого судебного разбирательства у того, кто отвечает за исполнение законов. Я утверждал, что именно это было причиной успеха Наполеона и покорности народа, которым он правил.

Съезд был свирепым и внушал ужас: ему подчинились, но вынести его было невозможно. Если бы власть была передана отдельному лицу, его свержение вскоре было бы завершено. Но Конвент был гидрой, и все же сколько попыток было предпринято для его уничтожения!— сколько опасностей она избежала, словно чудом! Она была доведена до необходимости похоронить себя среди своих триумфов.

Чтобы завоеватель был свирепым и добился успеха, он обязательно должен командовать войсками, которые сами по себе свирепы, и он должен властвовать над непросвещенными людьми. В этом отношении Россия обладает огромным превосходством над остальной Европой.

У нее есть редкое преимущество в том, что у нее цивилизованное правительство и подданные-варвары. Там информация направляет и командует, в то время как невежество исполняет и разрушает. Турецкий султан не смог бы долго управлять ни одной просвещенной европейской нацией; империя знаний была бы слишком сильна для его власти.

Говоря о другом предмете, император заметил, что, хотя у французов было меньше энергии, чем у римлян, они, по крайней мере, проявляли больше благопристойности. Нам не следовало убивать себя, как это делали римляне при первых императорах; но в то же время мы не должны были приводить примеров разврата и раболепия, которыми были отмечены более поздние периоды существования Римской империи. “Даже в наши самые развращенные дни, - сказал он, - наша низость не была лишена определенных ограничений: придворные, которых государь мог склонить к чему угодно в своем собственном дворце, отказались бы преклонить перед ним колена на его приеме”. прием“.

Я уже упоминал, что у нас почти не было с собой документов, касающихся французских дел во времена императора. Книги, которые были привезены среди его пожитков, были всего лишь несколькими классическими произведениями, которые он носил с собой во всех своих походах. Я получил от майора Хадсона, проживающего на острове, политический сборник с 1793 по 1807 год, озаглавленный “Ежегодный реестр”, который содержит последовательность политических событий в течение каждого года вместе с некоторыми наиболее важными официальными документами. В наших нищенских обстоятельствах это было ценное приобретение.

ИДЕИ.—ПЛАНЫ.—ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И т.д.

7. Император завтракал в одиночестве и в течение дня был занят диктовкой великому маршалу и г—ну де Монтолону.

Вечером, как император и я шли вместе в нижней тропе, которая в настоящее время стала любимым курортом, я сообщил ему, что человек из следствия, чьи идеи и высказывания могут стать каналом посредничества между нами и правящей миром, и повлиять на нашу дальнейшую судьбу уже достаточно значимые формы и преамбул, пригласил нас, чтобы рассказать ему совестно, что мы считали императора и о некоторых политических субъектах:—то ли он дал своей последней Конституции с целью ее сохранения;—имел ли он искренне отказался от своих прежних планов, как к великой империи,—был ли бы он согласился уехать из Англии в осуществлении ее морское превосходство, не завидуя ей спокойного владения в Индии;—будет ли он готов отказаться от колоний, а также приобретать колониальные товары от английского одиночку, по обычной рыночной цене;—является ли он бы не заключить союз с американцами, в случае их разрыва с Англией;—ли бы он согласился с существованием великого королевства в Германии, на той ветви английской королевской семьи, которые должны немедленно лишены престола Великобритании о присоединении принцессы Шарлотты Уэльской, или, по умолчанию Германии, будет ли он согласие на создание этого владения в Португалии, в случае Англия должна заключить договоренности на этот счет с судом Бразилии.

Эти вопросы не основывались на расплывчатых идеях или праздных мнениях: индивид подкреплял их положительными фактами. “Мы хотим, - сказал он, - длительного мира на Континенте — мы хотим спокойно пользоваться нашими нынешними преимуществами, которые помогли бы нам выйти из критических обстоятельств, в которые мы сейчас попали, и избавили бы нас от огромного долга, которым мы обременены. Нынешнее состояние Франции и Европы, -

добавил он, - не может привести к таким результатам. Победа при Ватерлоо погубила вас; но она была далека от того, чтобы спасти нас; каждый здравомыслящий человек в Англии, каждый, кто избегает сиюминутного влияния страсти, либо думает, либо будет думать, как я”.

Император усомнился в части этого утверждения, а к остальному отнесся как к мечтательности; затем, изменив тон, он сказал мне: “Ну, каково ваше мнение? Пойдемте, сударь, вы теперь в Государственном совете”. — “Сир, - ответил я, - люди часто предаются мечтаниям на самые серьезные темы; и то, что мы заключены на острове Святой Елены, не мешает нам сочинять романы. Итак, вот один из них. Почему бы не заключить политический брак между двумя нациями, в котором одна принесла бы армию в качестве приданого, а другая - военно-морской флот? Это, несомненно, покажется абсурдной идеей в глазах вульгарных людей и, возможно, будет сочтено слишком смелым хорошо информированными людьми, потому что это совершенно ново и выбивается из обычной рутины. Но это одно из тех непредвиденных, блестящих и полезных воплощений планов, которые характеризуют ваше Величество. Только вы можете заставить прислушаться к нему и привести его в исполнение”.

Идя даже дальше идей нашего английского собеседника, я сказал: “Разве ваше величество не отдали бы завтра, если бы могли, весь французский военно-морской флот для покупки Бельгии и берегов Рейна? Разве вы не отдали бы сто пятьдесят миллионов, чтобы купить десятки тысяч миллионов? Кроме того, такая сделка сразу обеспечила бы обеим нациям цель, за которую они так много лет спорили и боролись; это привело бы обе страны к необходимости взаимной помощи друг другу, вместо того чтобы поддерживать вечную вражду. Неужели для Франции ничего не значило бы, если бы ее торговцы в английских колониях отныне находились на положении англичан и таким образом обеспечивали себе, не нанося ущерба, пользование торговлей всего мира? С другой стороны, разве для Англии не было бы самым важным, чтобы обеспечить себе суверенитет на океане, универсальность торговли (ради приобретения и сохранения которой она подверглась стольким рискам), присоединить Францию к системе, благодаря которой последняя стала бы регулятором и арбитром Континента?”

“Отныне защищенная от опасности и усиленная всей мощью своего союзника, Англия могла бы распустить свою армию в обмен на жертву, которую Франция принесет своим флотом. Она могла бы даже значительно сократить количество своих кораблей. Таким образом, она выплатила бы свой долг, оказала помощь своему народу и процветала; и, далекая от зависти к Франции, она сама (когда система будет достаточно понята, а страсть уступит место реальным интересам) трудилась бы ради континентального усиления своего соседа; ибо Франция тогда была бы просто авангардом, в то время как Англия была бы ресурсом и резервом. Единство законодательства между двумя нациями, их общие интересы, результаты, столь явно благоприятные, компенсировали бы все препятствия и затруднения, которые страсти правителей могли бы воспрепятствовать осуществлению этого плана”.

Император выслушал меня, но ничего не ответил: редко можно узнать его частное мнение, и он редко вступает в политические разговоры. Чтобы не выразить свои мысли с достаточной ясностью, я попросил его разрешить мне изложить свои идеи в письменном виде. Он согласился и больше ничего не сказал. Было уже очень поздно, и он удалился отдыхать.

8-е.—Император продиктовал в саду Господа. Монтолон и Gourgaud, а затем пошел на свою любимую тропу. Он был утомлен и нездоров. Он заметил, что несколько женщин собирались

пройти по тропинке и неловко встать у него на пути, чтобы быть представленными ему; это его разозлило, и он отвернулся, чтобы избежать встречи с ними.

Я предположил, что ему может быть полезна верховая езда; в нашем распоряжении было три лошади. Император ответил, что он никогда не мог примириться с мыслью о постоянном присутствии рядом с ним английского офицера; что он решительно отказался от верховой езды на таких условиях; добавив, что все в жизни должно сводиться к расчету и что, если досада, возникающая при виде его тюремщика, больше, чем польза, которую он мог бы извлечь из верховой езды, то, конечно, было бы разумно вообще отказаться от этого развлечения.

Император почти не ужинал. Во время десерта он развлекался разглядыванием рисунков на тарелках из очень красивого севрского фарфора. Они были шедеврами в своем роде и стоили по тридцать наполеонов каждая. На картинах были изображены виды или предметы древности Египта.

Император завершил день прогулкой по своей любимой тропинке. Он заметил, что весь день был очень скучным. После нескольких прерванных разговоров он посмотрел на часы и был очень рад обнаружить, что уже половина одиннадцатого.

Погода стояла чудесная, и император незаметно пришел в обычное расположение духа. Он жаловался на свое телосложение, которое, хотя и было крепким, время от времени вызывало у него приступы недомогания. Он, однако, утешал себя мыслью, что если бы, подражая древним, он когда-нибудь почувствовал склонность убежать от отвращения и досады жизни, то его моральные воззрения не были бы таковы, чтобы помешать ему. Он сказал, что иногда не может без ужаса думать о том, сколько лет ему, возможно, еще предстоит прожить, и о бесполезности затянувшейся старости; и что, если бы он был убежден, что Франция счастлива и безмятежна и не нуждается в его помощи, он прожил бы достаточно долго.

Мы поднялись в павильон, было уже за полночь, и мы думали, что одержали знаменательную победу над временем.

9. Я зашел к мистеру Балькомбу очень рано, чтобы доставить ему мои письма в Европу, поскольку судно было готово к отплытию. В доме мистера Балькомба я встретил офицера, который был назначен нашим охранником. Пораженный унынием, которое я заметил у императора накануне, и убежденный в необходимости его физических упражнений, я сказал офицеру, что подозреваю причину, которая не позволяет императору выезжать верхом; я добавил, что хотел бы поговорить с ним более откровенно, поскольку я заметил, как деликатно он исполнял свой долг. Я поинтересовался, каковы были его инструкции и нужно ли было бы соблюдать их буквально на случай, если император просто прокатится по дому, сославшись на отвращение, которое он, естественно, должен испытывать к приготовлениям, ежеминутно рассчитанным на то, чтобы оживить воспоминание о ситуации, в которую он попал. Я заверил офицера, что не предполагал, что это отразится на нем лично, и что я убежден, что, когда император пожелает совершить длительную прогулку верхом, он предпочтет, чтобы он сопровождал его. Офицер ответил, что ему приказано следовать за императором; но поскольку он взял за правило не делать ничего, что могло бы быть для него оскорбительным, он возьмет на себя смелость не сопровождать его.

За завтраком я передал императору свой разговор с Капитаном. Он ответил, что все это было сделано из лучших побуждений со стороны капитана, но что ему не следует пользоваться такой

снисходительностью, поскольку это не соответствует его чувствам - пользоваться преимуществом, которое может скомпрометировать офицера.

Это решение было очень удачным. Когда вечером я отправился к мистеру Балькомбу, капитан отвел меня в сторонку, чтобы сообщить, что в течение дня он был в городе, чтобы поговорить с адмиралом о нашем утреннем разговоре, и что ему было предписано следовать его инструкциям. Я не мог удержаться от несколько резкого ответа, что я уверен, что император немедленно пришлет обратно трех лошадей, которые были предоставлены в его пользование. Офицер, которому я также передал ответ, который император дал мне утром относительно него, заметил, что было бы очень правильно отослать обратно лошадей, и что, по его мнению, ничего лучшего нельзя было сделать. Это замечание, как мне показалось, было вызвано тем чувством унижения, которое он сам испытывал из-за той роли, которая была ему навязана.

Когда мы вышли от мистера Балькомба, император ходил взад и вперед по дорожке в саду. Я рассказал ему о том, что услышал от английского офицера. Он, казалось, ожидал этого. Я не обманулся в своих догадках; он приказал мне отослать лошадей. Это чрезвычайно раздосадовало меня, и я сказал, возможно, довольно резко, что с его позволения немедленно пойду выполнять его приказания. На что он ответил с большой серьезностью и очень своеобразным тоном: “Нет, сэр, вы сейчас не в духе. Редко случается, чтобы что-то было сделано хорошо при таких обстоятельствах; всегда лучше дать ночи пройти после дневного проступка”.

Мы продолжали нашу прогулку почти до полуночи: погода стояла восхитительная.

10.— Сегодня, когда наше обычное задание было выполнено, император отправился в новом направлении. Он шел по направлению к городу, пока не оказался в пределах видимости дороги и корабля. Возвращаясь, он встретил миссис Балькомб и некую миссис Стюарт, очень хорошенькую женщину лет двадцати, которая возвращалась из Бомбея в Англию. Император беседовал с ней о нравах и обычаях Индии, а также о неудобствах морского путешествия, особенно для женщин. Он также говорил о Шотландии, которая была родиной миссис Стюарт; много рассказывал об Оссиане и сделал леди комплимент по поводу того, что климат Индии не испортил ее чистый шотландский цвет лица.

В этот момент мимо нас по дороге прошли несколько рабов с тяжелыми ящиками; миссис Балькомб довольно сердитым тоном попросила их держаться подальше; но вмешался император, сказав: “Уважайте ношу, мадам!” При этих словах миссис Стюарт, внимательно наблюдавшая за чертами лица императора, тихо сказала своей подруге: “Боже мой! что за выражение лица и что за характер! Как это отличается от того, чего я ожидал!”

ПОЛУНОЧНЫЕ БЕСЕДЫ При ЛУННОМ СВЕТЕ.—ДВЕ ИМПЕРАТРИЦЫ.—ЗАМУЖЕСТВО МАРИИ ЛУИЗЫ.—ЕЕ ДОМОЧАДЦЫ.—ГЕРЦОГИНЯ ДЕ МОНТЕБЕЛЛО.—МАДАМ ДЕ МОНТЕСКЬЮ.—МЕДОНСКИЙ ИНСТИТУТ.—НАСТРОЕНИЯ АВСТРИЙСКОГО ДОМА ПО ОТНОШЕНИЮ К НАПОЛЕОНУ.—АНЕКДОТЫ, СОБРАННЫЕ В ГЕРМАНИИ ПОСЛЕ МОЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ В ЕВРОПУ.

11-13. В Брайарсе мы вели самую обычную жизнь. Каждый день, продиктовав мне что-то, император уходил между тремя и четырьмя часами. Он спустился в сад, где прогуливался взад и вперед и диктовал что-то одному из джентльменов, приехавшему с этой целью из города и

писавшему в маленькой беседке. Около половины шестого он прошел мимо дома мистера Балькомба и свернул на нижнюю аллею, к которой с каждым днем привязывался все больше и больше. В это время семья ужинала, и он мог беспрепятственно наслаждаться прогулкой. Я присоединился к императору, и он продолжал свою прогулку, пока не объявили об обеде.

После обеда император снова возвращался в сад, где ему иногда приносили кофе. Затем мой сын навел семью мистера Балькомба, а мы с императором прогуливались взад и вперед. Мы часто оставались в саду до глубокой ночи, когда возшла луна и осветила нас. В мягкости и безмятежности ночи мы забыли о палящей дневной жаре. Император никогда не был так разговорчив и, казалось, так прекрасно не забывал о своих заботах, как во время этих прогулок при лунном свете. В непринужденных беседах, которыми я таким образом наслаждался с ним, он получал удовольствие, рассказывая анекдоты из своего детства, описывая чувства и иллюзии, которые придавали очарование ранним годам его юности, и подробно описывая обстоятельства своей личной жизни, поскольку он сыграл столь выдающуюся роль на величайшем театре мира. В другом месте я записал то, что считал себя вправе повторить. Иногда ему казалось, что он говорил слишком много и подробно. Тогда он говорил мне: “Ну же, теперь твоя очередь: расскажи мне немного о твоей истории; но ты не рассказчик”. На самом деле я особенно старался хранить молчание; я слишком боялся упустить хоть слово из того, что меня так глубоко интересовало.

Во время одной из наших ночных прогулок император сказал мне, что за свою жизнь он был привязан к двум женщинам с совершенно разными характерами. Один был приверженцем искусства и изящества; другой был воплощением невинности и простоты натуры; и каждый, как он заметил, обладал очень высокой степенью достоинств.

Во-первых, ни в один момент своей жизни она не занимала положения или позы, которые не были бы приятными или пленительными; было бы невозможно когда-либо обнаружить в ней или испытать от нее что-либо неприятное. Она использовала все средства искусства, чтобы усилить привлекательность природы, но с такой изобретательностью, что делала незаметными все ее следы. Другой, напротив, никогда даже не подозревал, что чего-то можно добиться невинным обманом. Первая всегда была недалеко от истины, ее первый ответ всегда был отрицательным; другая была совершенно откровенна и неприкрыта и была чужда уверток. Первая никогда ни о чем не просила своего мужа, но она была в долгу у всех; вторая свободно просила, когда хотела, что, однако, случалось очень редко; и ей никогда не приходило в голову получить что-либо, не заплатив за это немедленно. Обе были дружелюбны и мягки по характеру и сильно привязаны к своему мужу. Но, должно быть, уже догадались, кто они такие; и те, кто когда-либо видел их, не преминут узнать двух императриц.

Император заявил, что он неизменно сталкивался как с величайшим равенством нравов, так и с самым безоговорочным повиновением.

Брак Марии-Луизы был заключен в Фонтенбло сразу после ее прибытия. Император, отбросив все ранее установленные правила этикета, пошел ей навстречу и, переодевшись, сел в ее карету. Она была приятно удивлена, когда обнаружила его. Ей всегда давали понять, что Бертье, женившийся на ней по доверенности в Вене, лицом и возрастом в точности походил на императора: она, однако, дала понять, что видит между ними очень приятную разницу.

Император пожелал избавить ее от всех подробностей домашнего этикета, принятого в подобных случаях: однако она получила подробные инструкции по этому вопросу в Вене. Император поинтересовался, какие указания она получила от своих прославленных родственников относительно него лично. Быть всецело преданной ему и повиноваться ему во всем, был ответ. Это заявление, а не решения некоторых кардиналов и епископов, как сообщалось, послужило решением всех угрызений совести императора. Кроме того, Генрих IV поступил точно так же в аналогичном случае.

Брак Марии-Луизы, сказал император, был предложен и заключен в тех же формах и на тех же условиях, что и брак Марии-Антуанетты, чей контракт был принят за образец. После развода с Жозефиной были начаты переговоры с императором России с целью добиться руки одной из его сестер: трудности заключались лишь в улаживании некоторых вопросов, касающихся религии. Принц Евгений, беседуя с г-ном де Шварценбергом, узнал, что император Австрии не будет возражать против союза между Наполеоном и его дочерью; и эта информация была доведена до сведения императора. Был созван совет, чтобы решить, какой союз с Россией или Австрией будет наиболее выгодным. Эжен и Талейран были за австрийский союз, а Камбасерес против него. Большинство высказалось за эрцгерцогиню. Юджину было поручено выступить с официальной инициативой, и министр иностранных дел был уполномочен подписать ее в тот же день, если представится возможность; что и произошло.

Россия обиделась на это; она считала, что с ней шутят, хотя и безосновательно. Ничего обязательного пока не произошло; обе стороны оставались совершенно свободными. Политические интересы преобладали над всем.

Император назначил герцогиню де Монтебелло фрейлиной Марии-Луизы; графа де Богарне - ее кавалером, а принца Альдобрандини - ее конюшим. Во время несчастий 1814 года эти люди, сказал император, не проявили той преданности, которую императрица имела право ожидать от них. Ее конюший покинул ее, не попрощавшись; ее кавалер отказался следовать за ней; а ее фрейлина, несмотря на привязанность, которую императрица питала к ней, считала, что полностью выполнила свой долг, сопровождая свою госпожу до Вены.

Назначение герцогини де Монтебелло на должность фрейлины было одним из тех счастливых выборов, которые в то время, когда это было сделано, вызвали всеобщее одобрение. Герцогиня была молодой и красивой женщиной с безупречным характером и вдовой маршала армии по имени *Орландо*, который недавно пал на поле боя. Этот выбор был очень приятен армии и воодушевил национальную партию, которая была встревожена браком, а также количеством и рангом назначенных камергеров. Эта свита многими рассматривалась как шаг на пути к контрреволюции; и предпринимались попытки представить ее таковой. Что касается императора, то он действовал в неведении о характере Марии-Луизы [Maria-Louisa](#), и в основном находился под влиянием страха, что она будет полна предрассудков относительно происхождения, которые могут быть оскорбительными при Дворе. Когда он узнал ее получше и обнаружил, что она полностью проникнута господствующими в то время представлениями, он пожалел, что не сделал другого выбора. Он подумал, что ему следовало бы лучше выбрать графиню де Бово, женщину с дружелюбными, кроткими и безобидными манерами, на которую влияли бы только семейные советы ее многочисленных родственников и которая, таким образом, могла бы ввести своего рода полезный обычай и послужить причиной назначения хорошо зарекомендовавших себя подчиненных. Она могла бы также привлечь ко Двору многих

людей, находившихся на расстоянии; и это без каких-либо неудобств, потому что подобные меры могли быть приняты только с санкции императора, который был не из тех людей, которые позволяют злоупотреблять собой.

Императрица питала нежнейшие чувства к герцогине де Монтебелло. У этой дамы был когда-то шанс стать королевой Испании. Фердинанд VII. находясь в Валенсии, попросил разрешения императора жениться на мадемуазель де Ташер, двоюродной сестре Жозефины-немке, носящей то же имя, по примеру принца Баденского, который женился на мадемуазель де Богарне. Император, который уже подумывал о разводе с Жозефиной, отказался дать свое согласие на брак, не желая этой связью усугублять трудности, которые и без того стояли на пути его развода. Затем Фердинанд попросил руки герцогини де Монтебелло или любой другой французской леди, которую император сочтет уместной удочерить. Впоследствии император выдал мадемуазель де Ташер замуж за герцога д'Аремберга, которого он намеревался назначить губернатором Нидерландов; с целью в конечном итоге компенсировать Брюсселю потерю старого двора. Более того, император хотел назначить графа де Нарбонна, принимавшего участие в бракосочетании императрицы, кавалером чести вместо графа де Богарне; но крайнее отвращение, которое Мария-Луиза выказывала к этому изменению, удержало императора от его осуществления. Неприязнь императрицы к графу де Нарбонну была, однако, вызвана лишь интригами лиц, составлявших ее двор, которым нечего было бояться г-на де Богарне, но которые очень боялись влияния и таланта г-на де Нарбонна.

Император сообщил нам, что, когда ему приходилось назначать на трудные должности, он обычно просил окружающих предоставить ему список кандидатов; и на основании этих списков и полученной информации он в частном порядке обдумывал свой выбор. Он упомянул нескольких особ, которые были предложены императрице в качестве фрейлин: это были принцесса де Водемон, мадам де Рошфукальт, впоследствии мадам де Кастелланес и некоторые другие. Затем он попросил нас сказать ему, кого мы должны были предложить, что побудило нас пересмотреть мнение значительной части Придворных. Один из нас упомянул мадам де Монтескью, на что император ответил: “Она бы преуспела, но у нее был пост, который подходил ей еще больше. Она была женщиной исключительных достоинств; ее благочестие было искренним, а принципы превосходными; она имела самые высокие права на мое уважение. Я хотел иметь полдюжины таких, как она; я бы дал им всем назначения, равные их заслугам, и желал большего. Она превосходно выполняла свои обязанности, когда была с моим сыном в Вене”.

Следующий анекдот даст правильное представление о том, как мадам де Монтескью управляла римским королем. Апартаменты молодого принца находились на первом этаже и выходили окнами во двор Тюильри. Почти каждый час в течение дня множество людей заглядывали в окна в надежде увидеть его. Однажды, когда он был в сильном припадке гнева и яростно бунтовал против власти мадам де Монтескью, она немедленно приказала закрыть все ставни. Ребенок, удивленный внезапной темнотой, спросил *Маман Квиу*, как он обычно называл ее, что все это значит. “Я слишком сильно люблю тебя,” ответила она, “чтобы не скрывать твоего гнева от толпы во дворе. Возможно, однажды тебя призовут управлять всеми этими людьми, и что бы они сказали, если бы увидели тебя в таком приступе ярости? Как ты думаешь, они когда-нибудь подчинились бы тебе, если бы знали, что ты такой непослушный? На что девочка попросила у нее прощения и пообещала никогда больше не поддаваться подобным приступам гнева.

“Это, - заметил император, - было выражением, сильно отличавшимся от того, с которым г-н де Виллеруа обращался к Людовику XV. *”Взгляни на всех этих людей, мой принц, - сказал он, - они принадлежат тебе; все люди, которых ты видишь там, твои”*.

Молодой король Рима обожал мадам де Монтескью. Во время ее отъезда из Вены было сочтено необходимым прибегнуть к хитростям, чтобы обмануть ребенка: даже опасались, что из-за разлуки пострадает его здоровье.

Императору пришло в голову много новых идей относительно образования римского короля. Для достижения этой важной цели он остановил свой выбор на *Институте Медона*, принцип которого он уже заложил, с целью дальнейшего его развития на досуге. Там он предложил собрать принцев императорского дома, особенно сыновей тех ветвей семьи, которые были возведены на иностранные троны. Этот план, утверждал он, объединил бы внимание к частному обучению с преимуществами государственного образования. “Эти дети, ” сказал император, “ которым было суждено занимать разные троны и управлять разными нациями, таким образом, приобрели бы соответствие принципам, манерам и идеям. Чтобы лучше способствовать объединению и единообразию федеративных частей Империи, каждый принц должен был привезти с собой из своей страны десять или двенадцать юношей примерно своего возраста, сыновей первых семей государства. Какое влияние они не оказали бы по возвращении домой! Я не сомневался, ” продолжал император, “ что принцы других династий, не связанные с моей семьей, вскоре попросили бы в качестве великой милости разрешения поместить своих сыновей в Медонский институт. Какие преимущества возникли бы отсюда для наций, составляющих европейское объединение! Все эти юные принцы, — сказал он, — были бы сведены вместе достаточно рано, чтобы их соединили нежные и прочные узы юношеской дружбы; и в то же время они были бы разлучены достаточно рано, чтобы избежать пагубных последствий нарастающих страстей — пыла пристрастия, стремления к успеху, ревности любви”.

Император пожелал, чтобы образование принцев основывалось на общей информации, расширенных взглядах, обобщениях и результатах. Он хотел, чтобы они обладали знаниями, а не заучиванием, суждениями, а не достижениями; он предпочитал применение деталей изучению теорий. Прежде всего, он возражал против слишком глубокого изучения какого-либо конкретного предмета, поскольку считал совершенство или слишком большой успех в определенных вещах, будь то искусство или наука, недостатком для принца. Нация, сказал он, никогда ничего не выиграет, если ею будут управлять поэт, виртуоз, натуралист, химик, токарь, слесарь и т. Д.

Мария-Луиза призналась императору, что, когда ей впервые предложили выйти за него замуж, она не могла не испытывать своего рода ужаса из-за рассказов о Наполеоне, которые она слышала от членов своей семьи. Когда она рассказала об этих слухах своим дядям, эрцгерцогам, которые очень настаивали на браке, они ответили: “Все это было чистой правдой, пока он был нашим врагом, но теперь дело изменилось”.

“Чтобы составить представление о сочувствии и доброй воле, с которыми относились ко мне различные члены австрийской семьи, - сказал император, - достаточно упомянуть, что один из молодых эрцгерцогов часто сжигал своих кукол, которые он называл *”жареный Наполеон”*. Позже он заявил, что больше не будет поджаривать меня, потому что очень любил меня, потому что я дала его сестре Луизе много денег, чтобы она купила ему игрушки”.

Со времени моего возвращения в Европу у меня была возможность убедиться в чувствах Австрийского дома к Наполеону. В Германии один выдающийся человек сообщил мне, что после частной аудиенции у императора Франциска во время его турне по Италии в 1816 году разговор зашел о Наполеоне. Франциск говорил о нем в самых уважительных выражениях. Можно было бы почти предположить, сказал мой информатор, что он все еще считал его правителем Франции и что тот ничего не знал о своем пленении на острове Святой Елены. Он никогда не называл его никаким другим титулом, кроме императора Наполеона.

От того же человека я узнал, что эрцгерцог Иоанн, находясь в Италии, посетил ротонду, на потолке которой была нарисована знаменитая акция, героем которой был Наполеон. Когда он поднял голову, чтобы взглянуть на картину, у него упала шляпа, и один из его слуг наклонился, чтобы поднять ее. “Пусть будет так, - сказал он. - именно так следует рассматривать человека, который здесь изображен”.

Теперь, когда я затронул эту тему, я запишу несколько подробностей, которые я собрал в Германии с момента моего возвращения в Европу; и чтобы отметить степень доверия, на которую они имеют право, я могу упомянуть, что я получил их от лиц, занимающих высокие дипломатические посты. Всем известно, что эти члены дипломатического корпуса образуют между собой своего рода семью, своего рода масонство, и что их источники информации являются самыми достоверными.

Императрица Мария-Луиза жаловалась, что, когда она покидала Францию, г-н де Талейран оставил за собой честь потребовать от нее возвращения драгоценностей короны и удостовериться, были ли они восстановлены с самой скрупулезной точностью.

В 1814 году, во время бедствий Франции, принцу Евгению было сделано множество заманчивых и блестящих предложений. Австрийский генерал предложил ему корону Италии от имени союзников при условии, что он присоединится к ним. Впоследствии это предложение поступило из еще более высоких кругов и повторялось несколько раз. Во время правления императора возникла некоторая идея возвести принца на трон, и были рассмотрены планы Португалии, Неаполя и Польши.

В 1815 году влиятельные люди в европейской дипломатии попытались выяснить его мнение, чтобы выяснить, примет ли он корону в случае, если Наполеона снова вынудят отречься от престола и выбор падет на него. В этом случае, как и во всех других, принц неуклонно следовал линии долга и чести, которая увековечит его. *Честь и верность* были его постоянным ответом; и потомки сделают это его девизом.

При распределении штатов в 1814 году император Александр, часто навещавший императрицу Жозефину в Мальмезоне, выразил желание передать ее сыну власть над Генуей. Она, однако, отклонила это предложение по наущению одного из правящих дипломатов, который ложно польстил ей надеждой на что-то лучшее.

На Венском конгрессе император Александр, оказавший принцу Евгению особые знаки благосклонности, настоял на том, чтобы он стал Сувереном по меньшей мере трехсот тысяч подданных. Он свидетельствовал о самой искренней дружбе с ним, и их каждый день видели прогуливающимися вместе рука об руку. Высадка в Каннах положила конец если не настроениям, то, по крайней мере, их проявлениям и изменила политические интересы российского императора. Австрийское правительство даже подумывало о том, чтобы арестовать

принца Евгения и отправить его пленником в крепость в Венгрии; но король Баварии, его тесть, с негодованием заявил императору Австрии, что Евгений отправился в Вену под его защитой и поручительство и что они не должны быть нарушены. Таким образом, Евгений остался на свободе по своему личному условно-досрочному освобождению и условно-досрочному освобождению короля, своего тестя.

Совсем недавно, в 1814 году, в Милане были отчеканены золотые монеты достоинством в двадцать и сорок франков с изображением головы Наполеона и датой 1814 года. То ли из соображений экономии, то ли по какой-то другой причине, новый штамп еще не был выгравирован.

После падения Наполеона Александр несколько раз проявлял к нему явную и решительную неприязнь. В 1815 году он был инициатором второго крестового похода против Наполеона; он руководил всеми враждебными мерами с предельной степенью враждебности и, казалось, делал это почти личным делом; в качестве причины своего отвращения он утверждал, что его обманули и с ним шутят. Если это запоздалое негодование не было простым притворством, есть все основания полагать, что оно было вызвано старым доверенным лицом Наполеона, которое в частных беседах искусно уязвило тщеславие Александра, высказав, правдивое или ложное, частное мнение Наполеона относительно его прославленного друга.

В 1814 году появились основания полагать, что Александр был бы не прочь видеть на троне Франции молодого Наполеона. После второго отречения императора он, казалось, был гораздо менее благосклонно настроен к продолжению династии Наполеона.

Во время второго крестового похода император Александр выступил во главе бесчисленных войск. Было слышно, как он заявлял в тот период, что война может продлиться три года, но что Наполеон, тем не менее, в конце концов будет побежден.

При первых сведениях о битве при Флерюсе начальники всех русских колонн немедленно получили приказ остановиться; в то время как все австрийские и баварские корпуса немедленно повернули с целью отделиться и сформировать отдельную силу. Если бы Венский конгресс был разогнан 20 марта, почти наверняка крестовый поход не был бы возобновлен; и если бы Наполеон одержал победу при Ватерлоо, также с достаточной долей уверенности можно сказать, что крестовый поход был бы прекращен.

Известие о высадке Наполеона в Каннах было как удар грома для французского полномочного представителя в Вене. Он действительно составил знаменитую декларацию от 13 марта; и, каким бы ядовитым она ни была, первый проект был еще более ядовитым: в него были внесены поправки другими министрами. Физиономия этого полномочного представителя, по мере того как он постепенно узнавал о наступлении Наполеона, служила своего рода термометром, вызывавшим смех у всех членов Конгресса.

Австрия вскоре узнала истинное положение дел: ее курьеры превосходно информировали ее обо всем, что происходило. Только члены Французской дипломатической миссии были охвачены сомнениями: они все еще распространяли великодушное письмо короля другим государям, в котором сообщали им, что он решил умереть в Тюильри, когда уже было известно, что Людовик покинул столицу и направляется к границе.

Член Конгресса и лорд Веллингтон в конфиденциальной беседе с сотрудниками Французской дипломатической миссии с картой в руках назначили 20-е или 21-е число для вступления Наполеона в Париж.

Поскольку император Франциск получал официальные публикации из Гренобля и Лиона, он регулярно пересылал их в Шенбрунн Марии Луизе, которой они доставляли огромную радость. Совершенно верно, что в несколько более поздний период возникла идея схватить молодого Наполеона, чтобы переправить его во Францию.

Французский полномочный представитель, наконец, покинул Вену и направился во Франкфурт и Висбаден, откуда ему было удобнее вести переговоры либо с Гентом, либо с Парижем. Никогда еще курьер, отбывающий срок, не был повергнут в большее смущение и тревогу. Пыл, которым он был воодушевлен, получив известие о высадке Наполеона в Каннах, сильно поутих, когда он услышал о прибытии императора в Париж; и он заключил соглашение с Фуше, что последний будет его гарантом перед Наполеоном, пообещав себя, с другой стороны, гарантировать Фуше перед бурбонами. Есть веские основания полагать, что предложения, сделанные этим Полномочным представителем новому Государю, действительно заходили очень далеко; но Наполеон с негодованием отверг их, чтобы, как он сказал, не зайти слишком далеко в своей политике.

В 1814 году, до того как г-н де Талейран объявил себя сторонником бурбонов, он был сторонником регентства, в котором, однако, он сам хотел играть главную роль. События, ставшие роковыми для династии Наполеонов, не позволили обратить этот момент неопределенности во благо. Все указывает на то, что результат, который был достигнут в тот период, был далек от того, чтобы соответствовать намерениям Австрии; эта держава была одурачена, предана или, по крайней мере, взята штурмом.

Число жертв, сопровождавших военные передвижения, было таково, что союзники вошли в Париж без согласия австрийского кабинета министров. Знаменитое заявление Александра против Наполеона Бонапарта и его семьи также было сделано без консультаций с австрийскими властями; и граф д'Артуа проник во Францию только потому, что ухитрился тайно проникнуть туда вопреки приказам австрийской штаб-квартиры, где ему было отказано в выдаче паспорта.

Похоже, что Австрия, отступая из Москвы, прилагала искренние усилия в Лондоне для ведения переговоров о мире с Наполеоном; но влияние русского кабинета в Лондоне было всемогущим, и никакие предложения о мире не были услышаны. Затем наступило дрезденское перемирие, и Австрия объявила войну.

В течение этого промежутка времени австрийский министр в Лондоне так и не смог добиться слушания дела. Однако он довольно долго оставался в английской столице и не покидал ее до тех пор, пока союзники не достигли сердца Франции, и лорд Каслри на мгновение намекнул на возможность того, что героический успех Наполеона может сделать переговоры необходимыми.

Если бы этого министра ранее не отправили в Лондон, ему было бы суждено отправиться в Париж; и там, вероятно, его влияние могло бы привести к повороту переговоров, отличному от тех, которые возникли во время его отсутствия между Тюильри и Веной.

В разгар кризиса он оказался задержанным в Англии как бы насильно. В нетерпении поскорее добраться до главного центра переговоров он покинул свой пост и отправился в Голландию, невзирая на жестокую бурю. Не успел он прибыть на театр событий, как попал в руки Наполеона при Сен-Дизье; но тогда была решена судьба Франции, хотя во французском штабе об этом еще не знали. Александр въезжал в Париж.

Австрийский посланник в Лондоне прилагал все усилия, чтобы раздобыть паспорт, который позволил бы ему присоединиться к своему Государю, проехав через Кале и Париж; но тщетно. Это обстоятельство, случайное или преднамеренное, было еще одной фатальной случайностью. Если бы не это разочарование, австрийский министр прибыл бы в Париж раньше союзников, присоединился бы к Марии-Луизе, сорвал бы последние планы г-на де Талейрана и в целом создал бы новые комбинации.

В австрийском кабинете министров мнения разделились. Одна партия была за союз с Францией, другая - за союз с Россией. Интрига или случай решили дело в пользу России, и с этого момента Австрию просто повели вперед.

14—е. Кофе, который нам подали на завтрак этим утром, был лучше обычного; он был даже хорош. Император выразил удовлетворение. Несколько мгновений спустя он заметил, положив руку на живот, что почувствовал пользу от этого. Трудно передать, какие чувства я испытал, услышав это простое замечание. Император, оценив таким образом столь тривиальное удовольствие, вопреки своему обыкновению, бессознательно доказал мне последствия всех лишений, которые он перенес, но на которые никогда не жаловался.

Когда мы вернулись с вечерней прогулки, император прочел мне главу о *временных консулах*, которую он продиктовал г-ну де Монтолону. Закончив чтение, император взял кусок ленты и начал перевязывать разрозненные листы бумаги. Было поздно; вокруг нас царила ночная тишина. В тот день мои размышления были печальными. Я смотрел на Императора. Я посмотрел на эти руки, которые держали в руках так много скипетров и которые теперь спокойно и, возможно, не без некоторой степени удовольствия были заняты скромной задачей связывания вместе нескольких листов бумаги. На этих листах, действительно, были начертаны события, которые никогда не будут забыты; портреты, которые определяют суждение потомков. Это книга жизни или смерти для многих, чьи имена записаны в ней. Таковы были размышления, которые пронеслись в моем сознании. “И император, - подумал я, - читает мне то, что он пишет; он фамильярно беседует со мной, спрашивает моего мнения, и я охотно высказываю его. В конце концов, меня не стоит жалеть в моем изгнании на острове Святой Елены.

15—е число. -Сразу после обеда император пошел своей любимой дорогой. Ему принесли кофе в сад, и он пил его на ходу. Разговор зашел о любви. Должно быть, я сделал несколько очень тонких и сентиментальных замечаний по этому важному предмету, потому что император рассмеялся над тем, что он называл моей болтовней, и сказал, что ничего не понимает из моего романтического словоблудия. Затем, говоря с напускным легкомыслием, он хотел заставить меня поверить, что ему лучше знакомы ощущения, чем сентименты. Я позволил себе заметить, что он пытался прослыть хуже, чем его описывали в подлинных, но очень секретных отчетах, которые ходили по дворцу. “А что говорили обо мне?” продолжал он с веселым видом. “Сир, - ответил я, — понятно, что, находясь на вершине своего могущества, вы позволили заковать себя в цепи любви; что вы стали героем романа; что, воспламененный неожиданным сопротивлением, вы прониклись привязанностью к даме в частной жизни; что вы написали ей

более дюжины любовных писем; и что ее власть над вами возросла настолько, что вынудила вас переодеться и тайно и наедине посещать ее в ее собственном доме в центре Парижа”. - “И как это стало известно?” - спросил он, улыбаясь, что, конечно, равносильно признанию этого факта. “И, несомненно, было добавлено, ” продолжал он, “ что это был самый неосторожный поступок за всю мою жизнь; ибо, если бы моя любовница оказалась вероломной, какой не была бы моя судьба — одинокой и замаскированной, в тех обстоятельствах, в которые я попала, среди ловушек, которыми я была окружена? Но что еще говорят обо мне?” — “Сир, утверждается, что потомство вашего величества происходит не только от римского короля. В "тайной хронике" говорится, что у него есть два старших брата: один - отпрыск прекрасной иностранки, которую вы любили в далекой стране; другой - плод связи поближе, в недрах вашей собственной столицы. Утверждалось, что оба были доставлены в Мальмезон перед нашим отъездом; одного привезла его мать, а другого представил его наставник; и они были описаны как живые портреты своего отца ”.^[23]

Император много смеялся над объемом моей информации, как он это назвал; и, пребывая теперь в веселом расположении духа, он начал откровенно вспоминать свои ранние годы, рассказывая о многих любовных связях и многочисленных приключениях, в которых он был вовлечен. Первое я опускаю; среди вторых он упомянул ужин, который состоялся по соседству с Соной в начале Революции и на котором он присутствовал в компании верных Демацци. Он описал все это с предельной приятностью. Он заметил, что попал в осиное гнездо, где его патристическому красноречию пришлось усиленно бороться с противоположными доктринами других гостей, и это едва не привело его к серьезной передрыге. “Вы и я, ” продолжал он, — были в то время очень далеки друг от друга“. - “Не так уж и далеко, сир, - ответил он, - хотя, конечно, очень далеки в том, что касается доктрин. В то время я также находился поблизости от Соны, на одной из набережных Лиона, где толпы патристов скандировали против пушек, которые они только что обнаружили на нескольких лодках и которые они называли контрреволюцией. Я весьма некстати предложил, чтобы они позаботились о пушках, принеся им гражданскую присягу. Однако я чудом избежал повешения за свою глупость. Вы видите, сир, что я мог бы как раз в тот момент уравновесить ваш счет, если бы с вами случилось какое-нибудь несчастье среди ваших компаньонов-аристократов. Это было не единственное любопытное совпадение, о котором упоминалось в ходе вечера. Император, рассказав мне об интересном обстоятельстве, имевшем место в 1788 году, спросил: “Где вы были в то время?” — “Сир, ” ответил я, немного подумав, “ я был тогда на Мартинике, каждый вечер ужиная с будущей императрицей Жозефиной”.

Начался сильный ливень, и мы были вынуждены свернуть с нашего любимого пути, о котором, как заметил император, мы, вероятно, в будущем будем вспоминать с удовольствием. “Возможно, и так, - ответил я, - но, конечно, этого не произойдет до тех пор, пока мы не покинем его навсегда. Пока мы должны довольствоваться тем, что называем это Путем Философии, поскольку его нельзя назвать Путем Леты”.

СЕН-ЖЕРМЕНСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ И С.—СВОБОДА ИМПЕРАТОРА ОТ ПРЕДРАССУДКОВ И НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬСТВА.-ХАРАКТЕРНЫЙ ЯЗЫК.

16—го. - Сегодня император задал мне несколько вопросов относительно Сен-Жерменского предместья; этого последнего оплота старой аристократии, этого прибежища старомодных предрассудков; *Германской лиги*, как он ее называл. Я сказал ему, что до его последнего

несчастья его власть распространилась на каждую часть страны: она была захвачена, и от нее осталось только ее название; она была потрясена и побеждена славой; и победы при Аустерлице и Йене, и триумф при Тильзите привели к ее завоеванию. Молодая часть жителей и все, у кого были великодушные сердца, не могли быть равнодушны к славе своей страны. Брак императора с Марией-Луизой нанес ей последний удар. Немногие оставшиеся недовольные были либо теми, чьи амбиции не были удовлетворены и кого можно найти во всех классах, либо несколькими упрямыми стариками и глупыми старухами, оплакивающими свое бывшее влияние. Все разумные и рассудительные люди уступили превосходящим талантам главы государства и попытались утешиться своими потерями в надежде на лучшую перспективу для своих детей. Это стало точкой, к которой были направлены все их идеи. Они отдавали должное императору за его пристрастие к старым фамилиям; они согласились, что любой другой на его месте уничтожил бы их. Они очень высоко ценили доверие, с которым император собрал вокруг своей персоны представителей древнего рода; и они ценили его не меньше за формулировки, которые он использовал при выборе их детей для службы в армии: “Эти имена принадлежат Франции и истории; я хранитель их славы, я не позволю им погибнуть”. Эти и другие подобные высказывания привлекли к нему множество прозелитов. Здесь император выразил свое опасение, что этой партии не было оказано достаточной благосклонности. “Моя система объединения, - сказал он, - требовала этого: я желал и даже распорядился оказать им благосклонность; но министры, которые были великими посредниками, никогда должным образом не выполняли моих истинных намерений в этом отношении; либо потому, что у них не было достаточной дальновидности, либо потому, что они боялись, что таким образом могут создать соперников за благосклонность и уменьшить свои собственные шансы. Господин Талейран, в частности, всегда оказывал большое сопротивление такой мере и всегда сопротивлялся моим благоприятным предчувствиям в отношении старой знати”. Я заметил, однако, что большая часть тех, кого он поместил рядом с собой, вскоре проявили привязанность к его персоне; что они добросовестно служили ему и, вообще говоря, остались верны ему в критический момент. Император не отрицал этого и даже зашел так далеко, что сказал, что двойное событие возвращения короля и его собственное отречение, естественно, оказали большое влияние на определенные доктрины; и что, со своей стороны, он мог видеть большую разницу между тем же поведением, которое проводилось в 1814 и в 1815 годах.

И здесь я должен заметить, что с тех пор, как я познакомился с характером императора, я никогда не видел, чтобы он проявлял, ни на одно мгновение, ни малейшего чувства гнева или враждебности по отношению к тем людям, которые были наиболее виноваты в своем поведении по отношению к нему. Он не особо хвалит тех, кто отличился своим хорошим поведением: они всего лишь выполнили свой долг. Он не очень возмущается теми, кто поступил подло; он отчасти видел их характеры насквозь: они поддались порывам своей природы. Он говорит о них холодно и без враждебности, приписывая их поведение в некоторой степени существующим обстоятельствам, которые, по его признанию, носили весьма запутанный характер, а остальное относит на счет человеческой слабости. Тщеславие погубило Мармона: “Потомство справедливо бросит тень на его характер, - сказал он, - и все же его сердце будет цениться больше, чем память о его карьере. Поведение Ожеро было результатом его недостатка информации и низости тех, кто его окружал; поведение Бертье - его упадка духа и абсолютного ничтожества характера”.

Я заметил, что последний упустил наилучшую и легчайшую возможность навсегда прославиться, откровенно заявив о своей покорности королю и испросив разрешения его

Величества удалиться от мира и в одиночестве оплакивать судьбу того, кто удостоил его звания товарища по оружию и назвал своим другом. “Да, ” сказал император, - даже этот шаг, каким бы простым он ни был, был выше его сил”. — “Его таланты, его понимание, ” сказал я, - всегда были предметом наших сомнений. Выбор вашего величества, ваше доверие, ваша огромная привязанность чрезвычайно удивили нас”. — “По правде говоря, ” ответил император, “ Бертье был не лишен таланта, и я далек от желания отрицать его заслуги или мое пристрастие к нему; но его талант и заслуги были особыми и техническими; за пределами ограниченного он не имел никакого ума; и потом, он был так нерешителен”. — Я заметил, что “несмотря на это, он был полон претензий и гордился своим поведением по отношению к нам”. — “Значит, вы думаете, что титул фаворита ничего не стоит?” - сказал император. Я добавил, что “он был очень суровым и властным”. “А что, ” сказал он, - мой дорогой Лас Кейс, может быть более властным, чем слабость, которая чувствует себя защищенной силой? Посмотрите, например, на женщин”.

Бертье сопровождал императора в его карете во время его походов. Пока они ехали, император изучал книгу приказов и отчет о позициях, на основании чего он принимал свои решения, утверждал планы и организовывал необходимые передвижения. Бертье записал свои указания, и на первой же станции, к которой они подъехали, или в первые минуты, отведенные для отдыха, будь то ночью или днем, он, в свою очередь, выполнял все приказы и отдельные детали с замечательной регулярностью, точностью и оперативностью. Это был своего рода долг, к выполнению которого он проявлял себя всегда готовым и неутомимым. “Это была особая заслуга Бертье, - сказал император. - Она была очень ценна для меня; никакой другой талант не мог бы восполнить ее недостаток”.

Теперь я возвращаюсь к некоторым характерным чертам Императора. Он неизменно говорит с совершенным хладнокровием, без страсти, без предубеждения и без негодования о событиях и людях, связанных с его жизнью. Очевидно, что он был бы способен стать союзником своего самого жестокого врага и жить с человеком, который причинил ему величайшее зло. Он говорит о своей прошлой истории так, как будто она произошла три столетия назад: в своих рассказах и наблюдениях он говорит на языке прошлых эпох: он подобен духу, беседующему на Елисейских полях; его беседы - настоящие Диалоги Мертвых. Он говорит о себе как о третьем лице, отмечая действия императора, указывая на недостатки, в которых история может упрекнуть его, и анализируя причины и побуждения, которые могут быть выдвинуты в его оправдание.

Он никогда не сможет оправдать себя, говорит он, перекладывая вину на других, поскольку никогда не следовал никаким решениям, кроме своих собственных. В худшем случае он может жаловаться на ложную информацию, но никогда - на плохой совет. Он окружил себя самыми лучшими советниками, но всегда придерживался собственного мнения и отнюдь не раскаивался в том, что сделал это. “Это, ” сказал он, - нерешительность и анархия действующих лиц, которые приводят к анархии и слабости результатов. Чтобы составить справедливое мнение относительно ошибок, вызванных единственным личным решением императора, необходимо будет бросить на чашу весов великие действия, которые ему помешали бы совершить, и другие ошибки, к совершению которых его побудили бы те самые советы, за неисполнение которых его обвиняют”.

Рассматривая сложные обстоятельства своего падения, он смотрит на вещи настолько совокупно и с такой высоты, что отдельные люди ускользают от его внимания. Он никогда не проявляет ни малейшего признака злобности по отношению к тем, на кого, как можно было бы

предположить, у него есть наибольшие основания жаловаться. Его величайший признак порицания, и у меня часто была возможность это заметить, заключается в том, что он хранит молчание по отношению к ним всякий раз, когда они упоминаются в его присутствии. Но как часто от него не слышали, чтобы он сдерживал бурные и менее сдержанные выражения окружающих? “Вы не знакомы с людьми,” сказал он нам. “их трудно понять, если хочешь быть строго справедливым. Могут ли они понять или объяснить даже свой собственный характер? Почти все те, кто бросил меня, возможно, никогда бы не мечтали о своем собственном отступничестве, если бы я продолжал процветать. Есть пороки и добродетели, которые зависят от обстоятельств. Наши последние испытания были выше человеческих сил! Кроме того, я был скорее оставлен, чем предан; вокруг меня было больше слабости, чем вероломства. Это было *отречение святого Петра*: слезы и раскаяние, вероятно, уже близко. И где вы найдете на страницах истории кого-либо, у кого было бы больше друзей и приверженцев? Кто был когда-либо более популярен и любим? О ком когда-либо сожалели более горячо и глубоко? Здесь, с этой самой скалы, при виде нынешних беспорядков во Франции, у кого не возникло бы искушения сказать, что я все еще царствую там? Короли и принцы, мои союзники, остались верны мне до последнего, они были унесены народом в массу своей: и те, кто был вокруг меня, оказались охваченными и захлестнутыми непреодолимым вихрем.... Нет, человеческая натура могла бы предстать в еще более отвратительном свете, и у меня было бы еще больше поводов для жалоб!”

ОБ ОФИЦЕРАХ ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА В 1814 ГОДУ.—ПЛАН ОБРАЩЕНИЯ К ЦАРЮ.

17—го. -Сегодня император задал мне несколько вопросов относительно офицеров его свиты. За исключением двух-трех, самое большее, которые навлекли на себя презрение той самой партии, к которой они перешли, против них ничего нельзя было сказать: большинство даже проявило горячую преданность интересам императора. Затем император навел справки о некоторых из этих людей, в частности, называя их по именам; и я не мог не выразить свое одобрение им всем. - Что вы мне говорите? -спросил он, поспешно перебивая меня, когда я рассказывал об одном из них. “и все же я оказал ему такой плохой прием в Тюильри по возвращении! Ах! Боюсь, я совершил несколько невольных актов несправедливости! Это происходит из-за того, что я вынужден принимать на веру первую рассказанную историю и у меня нет ни единой свободной минуты для проверки! Боюсь также, что я оставил неоплаченными многие долги благодарности! Как прискорбно быть неспособным делать все самостоятельно!”

Я ответил— “Сир, это правда, что, если вина возлагается на офицеров вашего дома, она должна быть разделена поровну всеми; однако этот факт должен странным образом унижить нас в глазах иностранных наций. Как только король появился, все поспешили к нему, но не как к государю, которого ваше отречение оставило нам, а как к тому, кто никогда не переставал быть нашим государем; не с достоинством людей, гордящихся тем, что всегда выполняли свои обязанности, а с двусмысленным смущением неумелых придворных. Каждый стремился только оправдать себя: с этого момента ваше Величество были отвергнуты; титул императора был утрачен. Министры, вельможи, близкие друзья вашего величества называли вас просто “*Буонапарте*” и не краснели ни за себя, ни за свою нацию. Они извинились, сказав, что были вынуждены служить; что они не могли поступить иначе из-за страха перед обращением, с которым они могли столкнуться”. Император здесь увидел истинную картину нашего

национального характера. Он сказал, что мы все еще тот же народ, что и наши предки галлы: что мы все еще сохраняем то же легкомыслие, то же непостоянство и, прежде всего, то же тщеславие. “Когда же мы, - сказал он, - сменим это тщеславие на толику гордости?”

“ Придворные вашего величества, - сказал я, “ пренебрегли прекрасной возможностью приобрести как почет, так и популярность. В доме насчитывалось более ста пятидесяти офицеров; многие из них принадлежали к знатым семьям и были людьми с независимым состоянием. Они должны были подать пример, которому, если бы ему последовали другие, это могло бы придать новый импульс национальному настрою и позволить нам претендовать на общественное уважение”.^[24] — “Да, - сказал император, - если бы все высшие классы действовали таким образом, дела могли бы повернуться совсем по-другому. Старые редакторы общественных журналов не потакали бы тогда своим химерам о старых добрых временах; нас не раздражали бы их диссертации о прямой и кривой линиях; король честно придерживался бы своей хартии; я бы никогда не мечтал покинуть остров Эльба; глава нации был бы вписан в историю с большей честью и достоинством; и мы все были бы в выигрыше ”.

ИДЕЯ ИМПЕРАТОРА СОХРАНИТЬ КОРСИКУ.—ЕГО МНЕНИЕ О РОБЕСПЬЕРЕ.—ЕГО ИДЕИ ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ.—ИСКУПИТЕЛЬНЫЕ НАМЕРЕНИЯ ИМПЕРАТОРА В ОТНОШЕНИИ ЖЕРТВ РЕВОЛЮЦИИ.

18—го. -Около четырех часов после обычных дневных занятий я сопровождал императора в сад. Он только что закончил свою диктовку о Корсике. Завершив все, что он хотел сказать об этом острове и о Паоли, он обратился к интересу, который он сам возбудил там, будучи еще таким молодым, во время своей разлуки с Паоли. Он добавил, что в последнее время он мог бы наверняка объединить в свою пользу желания, чувства и усилия всего населения Корсики; и что, удались он на этот остров после отъезда из Парижа, он был бы недостижим для какой бы то ни было иностранной державы. У него была идея сделать это, когда он отрекся от престола в пользу своего сына. Он был близок к тому, чтобы оставить за собой владение Корсикой при жизни. Никакие препятствия на море не помешали бы ему добраться туда. Но он отказался от этого замысла ради того, чтобы сделать свое отречение более искренним и более выгодным для Франции. Его резиденция в центре Средиземноморья, в сердце Европы, так близко от Франции и Италии, могла бы послужить союзникам надежным предлогом. Он даже предпочел Америку Англии, руководствуясь теми же мотивами и той же идеей. Это правда, что в искренности своих собственных мер он не предвидел и не мог предвидеть своего несправедливого и насильственного изгнания на остров Святой Елены.

Затем император приступил к обзору различных моментов Революции, особо остановившись на Робеспьере, которого он не знал, но которого считал лишенным таланта, энергии или системы. Несмотря на это, он рассматривал его просто как козла отпущения Революции, принесенного в жертву, как только он попытался остановить ее ход: общая участь, заметил он, всех, кто до него (Наполеона) отважился на этот шаг. Террористы и их доктрина пережили Робеспьера; и если их бесчинства не были продолжены, то только потому, что они были вынуждены подчиниться общественному мнению. Они возложили всю вину на Робеспьера; но последний заявил незадолго до своей смерти, что он не был знаком с недавними казнями и что он не появлялся в Комитетах шесть недель назад. Наполеон признался, что, находясь с армией в Ницце, он видел несколько длинных писем, адресованных Робеспьером своему брату, в которых осуждались ужасы комиссаров Конвента, которые, как он выразился, губили Революцию своей тиранией и

зверствами. “Камбасерес, который, ” заметил император, - должно быть, является хорошим авторитетом в вопросах, относящихся к тому периоду, ответил на вопрос, который я однажды задал ему относительно осуждения Робеспьера, следующими замечательными словами: ‘Сир, это был приговор без суда’; добавив, что Робеспьер обладал большей дальновидностью и концепцией, чем принято было предполагать; и что его намерением было, после усмирения разнузданных группировок, которым он должен был противостоять, восстановить систему порядка и умеренности. ”Незадолго до своего падения, - добавил Камбасерес, - он произнес на эту тему замечательную речь; было сочтено неуместным помещать ее в "Монитор", и теперь все следы ее утрачены".

Это не первый случай, когда я слышу об упущениях и отсутствии точности в "Монитере". В отчетах, помещенных в этот журнал относительно работы Ассамблеи, должна быть точка, отличающаяся неточностью; поскольку протоколы этих заседаний какое-то время составлялись произвольно одним из Комитетов.

Те, кто склонен верить, что Робеспьер был одновременно утомлен, пресыщен и встревожен Революцией и решил остановить ее, утверждают, что он не предпринял бы никаких решительных шагов до тех пор, пока не прочитал бы свою знаменитую речь. Он считал это настолько прекрасным, что не сомневался в его воздействии на Собрание. Если это правда, то его ошибка или тщеславие дорого ему обошлись. Те, кто думает иначе, утверждают, что Дантон и Камиль де Мулен придерживались совершенно одинаковых взглядов; и все же Робеспьер пожертвовал ими. На это им отвечают, что Робеспьер пожертвовал ими, чтобы сохранить свою популярность, потому что он рассудил, что решающий момент еще не наступил; или потому что он не хотел уступить им славу предприятия.

Как бы то ни было, несомненно, что чем ближе мы подходим к инструментам и виновникам этой катастрофы, тем большую неясность и таинственность мы обнаруживаем; и эта неопределенность со временем будет только возрастать. Таким образом, страница истории в этом пункте, как и во многих других, станет записью не столько событий, которые действительно произошли, сколько утверждений, которые приводятся о них.

В ходе нашего разговора о Робеспьере император сказал, что он был очень хорошо знаком с его братом, младшим Робеспьером, представителем Итальянской армии. Он ничего не сказал против этого молодого человека, которого он побудил к действию и внушил ему большое доверие и значительный энтузиазм по отношению к своей персоне; настолько, что незадолго до 9 Термидора молодой Робеспьер, отозванный своим братом, который тогда тайно строил свои планы, настоял на том, чтобы Наполеон сопровождал его в Париж. Последний испытывал величайшие трудности, избавляясь от назойливости, и, в конце концов, избежал ее, только обратившись за вмешательством к главнокомандующему Думербиону, чьим полным доверием он обладал и который заявил, что ему абсолютно необходимо оставаться на месте. “Если бы я последовал за молодым Робеспьером, - сказал император, - насколько иначе могла бы сложиться моя карьера! От каких ничтожных обстоятельств зависит судьба человека! Мне, несомненно, поручили бы какую-нибудь должность; и, возможно, в тот момент мне было суждено попробовать себя в роли вандемьера. Но я был тогда очень молод; мои идеи еще не сформировались. Действительно, вполне вероятно, что я не взялся бы за какую-либо задачу, которая могла бы быть возложена на меня; но предположив противоположный случай и даже признав, что я добился успеха, на какие результаты я мог надеяться? В Вандемьере

революционная лихорадка была полностью подавлена; в Термидор она все еще бушевала с предельной яростью и на самом высоком уровне”.

“Общественное мнение, ” сказал император в другой раз, беседуя на другую тему, “ это невидимая и таинственная сила, перед которой невозможно устоять: нет ничего более неустойчивого, более расплывчатого или более могущественного; и каким бы капризным оно ни было, оно, тем не менее, бывает справедливым и разумным чаще, чем предполагается. Когда я стал временным консулом, первым актом моего правления было изгнание пятидесяти анархистов. Общественное мнение, которое поначалу было настроено к ним яростно враждебно, внезапно переменилось в их пользу, и я был вынужден отказаться от своих слов. Но некоторое время спустя те же самые анархисты, проявив склонность к участию в заговорах, снова были свергнуты тем самым общественным мнением, которое теперь вернулось, чтобы поддержать меня. Таким образом, благодаря ошибкам, совершенным во время реставрации, популярность была обеспечена цареубийцам, которые всего лишь за мгновение до этого были объявлены вне закона огромной массой народа.

“Только мне принадлежало, ” продолжал император, “ пролить свет на память о Людовике XVI во Франции и очистить нацию от преступлений, которыми она была запятнана безумными действиями и прискорбными смертями. Бурбоны, принадлежавшие к королевской семье и прибывшие из-за границы, просто мстили за свое частное дело и усилили национальное поругание. Напротив, я, будучи одним из людей, должен был бы поднять характер нации, изгнав от ее имени из общества тех, чьи преступления опозорили ее. Таково было мое намерение, но я благоразумно приступил к его осуществлению. Три искупительных алтаря в Сен-Дени были лишь прелюдией к моему замыслу. Храм Славы на месте *Магделейны* должен был быть посвящен этому объекту с еще большей торжественностью. Там, рядом с могилой и над самыми костями политических жертв нашей революции, памятники и религиозные церемонии были бы посвящены их памяти во имя французского народа. Это секрет, который не был известен более чем десяти лицам, хотя было сочтено необходимым сообщить намек на замысел тем, кому было доверено обустройство здания. Я не смог бы осуществить свой план менее чем за десять лет; но каких мер предосторожности я не принял; как тщательно я сгладил все трудности и устранил все препятствия! Все бы аплодировали моему замыслу, и никто бы от этого не пострадал. Так много зависит от обстоятельств и форм, ” добавил он, “ что в мое правление Карно не осмелился бы написать мемориал, хвастаясь смертью короля, хотя он делал это при бурбонах. Я должен был присоединиться к общественному мнению, наказав его, в то время как общественное мнение встало на его сторону, сделав его неприступным”.

КАСКАД ИЗ ШИПОВНИКА.

19.—Мы с сыном встали очень рано. Наша задача была выполнена накануне; и поскольку император не мог потребовать меня в течение некоторого времени, мы воспользовались ясным утром, чтобы осмотреть окрестности нашего жилища.

Проходя через долину Джеймс-Таун, справа от нашей небольшой ровной возвышенности в Брайарсе, мы увидели глубокое ущелье, края которого пересекали многочисленные отвесные

скалы. Не без труда мы спустились в овраг и оказались на берегу небольшого прозрачного ручейка, рядом с которым в изобилии росли кресс-салаты. Мы развлекались, собирая их по пути; и после нескольких поворотов вскоре достигли конца долины и ручья, которые закрыты поперек огромной заостренной скалой, с вершины которой низвергается красивый каскад, образованный водами с окружающих высот. Этот водопад, спускающийся в долину, образует ручей, вдоль которого мы только что прошли и который иногда быстрым потоком впадает в море. Вода каскада в этот момент рассеивалась над нашими головами мелким дождем или легким паром; но в штормовую погоду она вырывается наружу бурным потоком и яростно несется по ущелью, пока не достигает моря. Для нас эта сцена представлялась мрачной, уединенной и меланхоличной, хотя в целом она была настолько интересной, что мы с сожалением покинули ее.

Сегодня было воскресенье, и мы все обедали с императором; он добродушно заметил, что мы составляем его официальную партию. После обеда круг наших развлечений был не очень обширен: он спросил нас, будем ли мы ставить комедию, оперу или трагедию. Мы решили поставить комедию, и он сам прочел отрывок из "Аварей" Мольера, который продолжили другие участники вечеринки. Император был простужен, и его слегка лихорадило. Он рано ушел со своей прогулки по саду и пожелал, чтобы я снова встретился с ним вечером, если ему не следовало ложиться спать. Мой сын и я сопровождали остальных джентльменов в город, и по нашем возвращении император удалился отдыхать.

ПЕРВАЯ И ЕДИНСТВЕННАЯ ЭКСКУРСИЯ ЗА ВРЕМЯ НАШЕГО ПРЕБЫВАНИЯ В БРАЙАРСЕ. АДМИРАЛЬСКИЙ БАЛ.

20-го. Император, как обычно, продиктовав что-то одному из джентльменов, позвонил мне около пяти часов. Он был один; остальные джентльмены и мой сын отправились в город, где адмирал в тот вечер давал бал. Император и я шли по дороге, ведущей в город, пока не оказались в пределах видимости моря и кораблей. Слева, в глубине долины, стоял симпатичный маленький домик. Император довольно долго стоял, приставив к глазу подзорную трубу, разглядывая сад, который казался очень хорошо ухоженным и в котором играла группа красивых детей в сопровождении своей матери. Нам сообщили, что этот дом принадлежал майору Хадсону, проживающему на острове, тому самому джентльмену, который одолжил мне Годовой реестр. Дом был расположен на дне оврага, который начинается в окрестностях Брайарса, и рядом с любопытным каскадом, который я уже заметил. Императору вздумалось спуститься в дом, хотя было уже почти шесть часов. Дорога была чрезвычайно крутой: спуск оказался длиннее и труднее, чем мы ожидали, и мы добрались до дна оврага, совершенно запыхавшись. Мы осмотрели небольшое поместье, которое, очевидно, предназначалось для постоянного проживания, а не просто для временного пристанища путешественника, направляющегося в чужую страну; и, приняв знаки внимания хозяина дома и сделав несколько комплиментов хозяйке, император откланялся.

Но вечер был уже далеко за горами, и мы очень устали; поэтому мы взяли предложенных нам лошадей и быстро вернулись в нашу хижину к ужину. Эта небольшая экскурсия и упражнение в верховой езде, от которого так долго отказывались, казалось, пошло императору на пользу.

Он хотел, чтобы я пошла на бал к адмиралу, несмотря на мое нежелание расставаться с ним. В половине девятого он заметил, что ночь темная, дорога плохая и что мне пора отправляться в

путь. Он настоял, чтобы я оставил его, и вошел в свою комнату, где я увидел, как он разделся и лег в постель. Он снова попросил меня уйти, и я неохотно подчинился. Я оставил его одного и таким образом впервые нарушил обычай, который стал мне очень дорог.

Я отправился в город пешком. Адмирал устроил бал с большим успехом. Об этом говорили уже довольно давно. Он хотел, чтобы все поняли, что развлечение было организовано исключительно ради нас, и мы были официально приглашены. Было ли наиболее разумно принять приглашение или отклонить его? Что-то можно было бы сказать с обеих сторон. Политические невзгоды не требовали, чтобы мы изображали домашнее горе; возможно, было бы уместно и даже полезно весело пообщаться с нашими тюремщиками. Следовательно, мы могли бы безразлично принять любое решение. Мы решили ехать. Но какого рода поведение мы должны были соблюдать? Должны ли мы проявить гордость или проявить осмотрительность? Первое могло быть сопряжено с неудобствами; в нашей ситуации каждая уязвленная претензия становилась оскорблением. Во втором не могло быть ничего неприличного: принимать знаки вежливости так, как будто мы к ним привыкли и как будто они нам причитаются, и не обращать внимания на малейший недостаток уважения, безусловно, было самым мудрым поступком. Я прибыл на бал очень поздно и покинул его очень рано. Я был очень доволен развлечением во всех отношениях.

МОЕ ПОВЕДЕНИЕ, КОГДА ИМПЕРАТОР БЫЛ НА ЭЛЬБЕ.

21-22—е число. Император, который часто расспрашивал меня о линии поведения многих его министров, членов его Совета и приближенных во время его пребывания на острове Эльба, наконец, в свою очередь призвал меня к ответу, сказав: “Но вы сами, Лас Касес, что вы делали после прибытия короля? Что с тобой происходило все это время? Ну же, сэр, сделайте доклад на эту тему: вы знаете, что это мой путь; и это единственный план, с помощью которого мы можем должным образом классифицировать то, что мы говорим, или то, что мы хотим узнать. Кроме того, это даст вам еще одну статью для вашего журнала. И разве вы не понимаете, - шутливо добавил он, - что вашим биографам будет трудно только извлечь из них информацию; все это будет у них в руках в готовом виде“.

“Сир, ” ответил я, “ вы получите буквальное изложение всего, хотя мне нечего сказать. 31 марта я командовал 10-м легионом Национальной гвардии Парижа, легиона Законодательного корпуса. В течение дня мы потеряли значительное количество людей. Ночью я услышал о капитуляции; я написал офицеру, следующему по званию после меня, и передал ему командование моим легионом, сообщив ему, что, хотя в качестве члена Государственного совета я ранее получил приказ действовать в другом месте, все же я не хотел покидать свой легион в момент опасности; но что только что произошедшее событие изменило положение дел, и теперь я должен немедленно приступить к выполнению новых обязанностей.

На рассвете я отправился по дороге в Фонтенбло и оказался среди остатков отрядов Мармона и Мортье. Я шел пешком, но не сомневался, что смогу купить лошадь. Однако вскоре я обнаружил, что солдаты, отступающие, не отличаются ни справедливостью, ни вежливостью. В тот катастрофический момент моя форма национальной гвардии была оскорблена, и я сам подвергся жестокому обращению.

После часовой прогулки пешком, измученный усталостью от путешествия, в купе с жаждой отдыха, которую я испытывал две или три ночи назад; не видя вокруг себя ни одного знакомого

лица и не имея надежды раздобыть лошадь, я с опечаленным сердцем решил вернуться в столицу.

““ Национальной гвардии было приказано выступить на помощь при триумфальном вступлении врага: существовала даже вероятность того, что ее выберут в качестве почетного караула покоривших нас монархов. Я решил отсутствовать дома. Неделью или две назад я благополучно вывез жену и детей из Парижа и на несколько дней воспользовался гостеприимством друга. Я никогда не выходил на улицу иначе, как в поношенном пальто, посещал кофейни и общественные места и присоединялся к различным группам, которые формировались на улицах. Моей целью было понаблюдать за людьми и вещами и, прежде всего, узнать истинные чувства людей. Скольким экстраординарным происшествиям я только не был свидетелем во время своих прогулок!

“Я видел перед резиденцией императора России людей, отличающихся своим рангом и называющих себя французами, прилагающих все усилия, чтобы заставить толпу кричать: *"Да здравствует Александр, наш избавитель!"*”

“Я видел, сир, как ваш памятник на Вандомской площади устоял перед усилиями нескольких негодяев, принадлежащих к самым низким отбросам народа, которых наняли известные личности.

“Наконец, на одном из углов Вандомской площади, перед отелом коменданта площади, я увидел, как один из ваших приближенных в первый вечер после вашего отъезда пытался убедить молодых призывников поступить на другую службу, а не на вашу; но он получил от них урок, который заставил бы его покраснеть за свое поведение, если бы он был способен испытывать стыд.

“Несомненно, те, на кого я здесь ссылаюсь, воскликнут, что я смешался с *чернью*; и все же можно справедливо утверждать, что низменные поступки, которые тогда опозорили Францию, исходили не от черни. Эти действия были далеки от того, чтобы вызвать одобрение низших классов народа; напротив, они вызвали решительное осуждение прямотой, великодушием и благородством чувств, проявлявшихся на людных улицах. Каких только упреков я не мог бы высказать, если бы повторил все, что слышал по этому поводу!

“Ваше величество отреклись от престола. Я отказался подписать акт о присоединении Государственного совета; но я подумал, что мог бы загладить это дополнительным актом о присоединении. "Монитор" каждый день заполнялся статьями такого рода; моя, однако, не была сочтена достойной чести быть помещенной.

Наконец прибыл король: отныне он был нашим сувереном. Он назначил день для приема тех лиц, которые были представлены Людовику XVI. Я отправился в Тюильри, чтобы воспользоваться этой прерогативой.—Каковы были мои размышления, когда я вошел в эти покои, которые так недавно были наполнены вашей славой и могуществом! И все же я явился к королю искренне и добросовестно; моя предусмотрительность никогда не заставляла меня даже думать о вашем возвращении.

“Депутации к королю были бесчисленны: было предложено созвать собрание офицеров военно-морского ведомства. Человеку, сообщившему мне этот факт, я ответил, что ничто не может быть более отрадным для моего сердца, чем присоединиться к моим старым товарищам,

ни у кого из которых не было чувств чище, чем у меня; но что должности, которые я занимал, поставили меня в особое и деликатное положение, и что соображения благоразумия должны удерживать меня от появления там, где рвение президента может побудить его употреблять выражения, которые я не мог и не хотел бы санкционировать своим мнением или присутствием.

Однако впоследствии, несмотря на мое унижение и отвращение, я решил, по просьбе некоторых друзей, придумать что-нибудь для себя. Государственный совет был обновлен; несколько членов последнего Совета заверили меня, несмотря на мои недавние предположения на этот счет, что нет ничего проще, чем сохранить за собой мой пост; что им удалось добиться успеха лишь благодаря обращению к канцлеру Франции. У меня не хватило смелости ни на минуту отнять время у его светлости, и поэтому я ограничился письмом, уведолив его, что я отвечал на запросы последнего Государственного совета; и что, если этого обстоятельства недостаточно, чтобы помешать мне стать членом нового собрания, я умолял его рекомендовать меня королю в качестве государственного советника. Я заметил, что не буду выдвигать никаких претензий в пользу моей одиннадцатилетней эмиграции или потери моего наследства во имя короля. В тот период я делал только то, что тогда считал своим долгом; который я всегда, насколько мне известно, выполнял добросовестно и до последнего момента. Эта фраза, как и следовало ожидать, лишила меня даже чести ответить.

Тем временем новое положение Парижа, вид иностранных войск, всевозможные приветствия были выше моих сил; и я принял решение отправиться на короткое время в Лондон, где я должен был встретиться со старыми друзьями, которые могли бы дать мне все утешения, на которые я был способен. Затем я снова вспомнил, что, возможно, найду в Лондоне ту же суматоху и то же ликование, которые изгнали меня из Парижа; это подтвердилось фактом. Лондон был ареной празднеств и ликования, чтобы отпраздновать триумфы англичан и наше унижение.

“Во время моего пребывания в Лондоне морское ведомство было перестроено в Париже, и шевалье де Гримальди, один из моих старых товарищей, которого я долгое время не видел и о котором ничего не слышал, был назначен членом Комитета. Он посетил мою жену и выразил свое удивление по поводу того, что я не подал заявления, заметив, что по закону я имею право вернуться в корпус или уйти в отставку с определенной пенсией. Он посоветовал моей жене привести меня к решению по этому вопросу и положиться на его дружбу, добавив, что нельзя терять времени. Я придавал этому знаку внимания большую ценность, чем той милости, которую он должен был мне оказать. Однако я написал в Комитет, прося, чтобы, поскольку я желал носить форму, к которой я привязался, мне разрешили пользоваться почетным званием *капитан де Вассо*; в то же время я отказался от пенсии, на которую, по моему мнению, я не имел права.

“Я вернулся в Париж. Разнообразие мнений и раздражение общественного мнения были чрезвычайными. Долгое время я жил в величайшем уединении. Теперь я полностью замкнулся в домашнем кругу своей жены и детей. Никогда, ни в какой прежний период моей жизни я не проявлял себя лучшим мужем или отцом; и никогда, пожалуй, я не был так физически счастлив.

“Однажды, когда я читал в Журнале дебатов отчет о работе месье Бошана, я обнаружил, что упоминаются имена нескольких джентльменов, которые, как утверждалось, собрались на площади Людовика XV. 31 марта, чтобы возбудить чувства в пользу королевской семьи; и мое имя было среди них. Это было в хорошей компании, без сомнения; но в то же время это

утверждение было неправдой; и я был бы значительно понижен в оценке многих, если бы мне поверили. Я написал с просьбой исправить ошибку, которая была рассчитана на то, чтобы сделать меня предметом поздравлений, на которые я никоим образом не имел права.

“Я заметил, что в то время действовать описанным способом было не в моей власти, каковы бы ни были мои намерения. Как командир легиона Национальной гвардии, я взял на себя обязательства, от которых никакие соображения на земле не могли меня освободить, и так далее. Я отправил свое письмо депутату Шабо-Латуру, одному из владельцев Журнала дебатов, человеку, к которому я питал большое уважение. Он отказался публиковать мое письмо исключительно из добрых намерений по отношению ко мне. Затем я адресовал его редактору; но он отказался вставить его из-за расхождения во мнениях.

Тем временем состояние общественного сознания указывало на неизбежную и скорую катастрофу. Все предвещало, что бурбоны разделят судьбу Стюартов. Мы с женой использовали каждый вечер, чтобы развлечь себя чтением "Истории Англии" Юма. Мы начали с Карла I, а ваше величество прибыли раньше, чем мы добрались до Якова II". (Здесь император не смог удержаться от смеха.)

“Продвижение и прибытие вашего величества, - продолжал я, - были для нас предметом величайшего удивления и тревоги. Я был далек от того, чтобы предвидеть почетное добровольное изгнание, которое это принесло бы мне в конце концов; ибо я был тогда мало известен вашему величеству; и только обстоятельства, вытекающие из этого события, привели меня сюда. Если бы я занимал самый незначительный пост при короле; если бы я даже часто бывал в Тюильри, что было бы очень естественно и соответствовало приличиям, я бы не появлялся в течение длительного времени в присутствии вашего величества. На самом деле, не потому, что мне было бы в чем себя упрекнуть или что моя привязанность к вам была бы менее искренней; но потому, что я не хотел бы прослыть придворным убранством или казаться всегда готовым вознести благовония в святилище власти. Мне следовало дожидаться встречи, вместо того чтобы настаивать на ней. Но как бы то ни было, я чувствовал себя настолько свободным, все во мне находилось в такой совершенной гармонии, что я, казалось, был частью этого великого события. Поэтому я с нетерпением поспешил встретить первый взгляд вашего Величества; я чувствовал, что имею право на вашу доброту и благосклонность. По вашему возвращению из Ватерлоо те же чувства немедленно и спонтанно привели меня к вам, которую я с тех пор никогда не покидал. Если тогда меня привлекала ваша общественная слава, то теперь я привязан к вашим личным добродетелям; и если это правда, что удовлетворение моих чувств тогда стоило мне некоторой жертвы, то теперь я нахожу, что стократно вознагражден счастьем, которым я наслаждаюсь, имея возможность сказать вам об этом.

“Однако было бы трудно описать крайнее отвращение, которое я испытывал ко всему в течение десяти месяцев вашего отсутствия. Я почувствовал крайнее презрение к человечеству и мирской суете. Все иллюзии были разрушены, всякий интерес исчез. Казалось, что все подошло к концу или не заслуживало ни малейшей ценности. Во время моей эмиграции я получил крест Святого Людовика; указ гласил, что он должен быть узаконен новым бrevetом. У меня не хватило духу заявить о своих правах. Другой указ предписывал, чтобы титулы, пожалованные вашим Величеством, были отправлены для подтверждения; но я чувствовал себя безразличным к компрометации тех, которые я получил во времена Империи. В конце концов, я

получил письмо из Морского министерства, в котором сообщалось, что мое капитанское звание только что было направлено туда, и там оно все еще остается.

“Отсутствие вашего величества было для меня вдовством, скорбь о котором я ни от кого не скрывала. Но по вашему возвращению я был вознагражден за все свидетельством тех, кто окружал вас и кому я раньше был едва знаком. На первом приеме вашего Величества человек, который *временно* возглавлял министерство иностранных дел, выйдя из зала, отвел меня в сторону, к окну, и сказал мне идти домой и готовиться, поскольку мне, вероятно, придется отправиться в путешествие. По его словам, он только что сделал предложение моему величеству, добавив, что представил меня сумасшедшим, но сумасшедшим от любви к вам. Я хотел знать, куда меня отправят; но этого, по его словам, он не хотел и не мог мне сказать. Больше я ничего об этом не слышал.

“Господин Реньо де Сен-Жан д'Анжели внес меня в список имперских уполномоченных, которых ваше Величество разослало по департаментам, я заверил его, что готов сделать все, что угодно; но я заметил, что я *дворянин и эмигрант*, и что этих двух слов, произнесенных первым встречным, будет достаточно, чтобы уничтожить меня, в случае необходимости, в любое время и в любом месте. Он признал справедливость моего замечания и отказался от своего намерения.

Затем один сенатор обратился к вашему величеству с просьбой назначить меня в префектуру Меца, его родного города. Он попросил меня принести эту жертву всего на три месяца, чтобы, как он сказал, примирить народные умы и все исправить. Наконец Декре и герцог Бассано предложили мне должность государственного советника, и на третий день после вашего прибытия ваше величество подписали мое назначение”.

23—го.-Император все еще был нездоров: он заперся в своей комнате и никого не хотел принимать. Он послал за мной в 9 часов вечера. Я нашел его очень подавленным и меланхоличным. Он почти не разговаривал со мной, а я не осмеливался ничего сказать ему. Если я рассматривал его болезнь как чисто физическую, это искренне огорчало меня; если же он страдал от душевного недуга, то насколько больше я был огорчен тем, что не мог использовать все средства утешения, которыми естественно переполняется сердце, для тех, кого мы действительно любим. Император отпустил меня примерно через полчаса.

24—го.-Император продолжал чувствовать недомогание и по-прежнему отказывался принимать кого-либо. Он послал за мной, чтобы я отобедал с ним в поздний час. Ужин был подан на маленьком столике рядом с диваном, на котором он лежал. Он с аппетитом поел. Он сказал, что ему необходимо какое-то внезапное изменение конституции, которое он вскоре получит; так хорошо он понимал свой собственный темперамент. После ужина он взялся за Мемуары маршала де Виллара, которые его позабавили. Он прочитал вслух множество отрывков, которые оживили прежние воспоминания и дали повод для множества анекдотов.

ТЕМПЕРАМЕНТ ИМПЕРАТОРА.—ВЕРХОВАЯ ЕЗДА.—ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕДИЦИНЕ.

25-го.—Императору все еще нездоровилось: он плохо провел ночь. По его желанию я поужинал с ним рядом с диваном, с которого он не мог встать. Однако ему, очевидно, стало намного лучше. После обеда ему захотелось почитать. Вокруг него на диване была разбросана куча книг.

Быстрота его воображения, усталость от постоянного размышления на одну и ту же тему или чтения того, что он уже знал, заставляли его брать в руки и отбрасывать книги одну за другой. Наконец он остановился на "Ифигении" Расина и развлекался тем, что указывал на красоты и обсуждал те немногие недостатки, которые можно было найти в этом произведении. Он отпустил меня в ранний час.

Вопреки общему мнению, в котором я сам когда-то участвовал, император далеко не обладает крепким телосложением. Его конечности крупные, но мышцы расслаблены. С сильно расширенной грудной клеткой он постоянно страдает от холода. Его тело подвержено влиянию малейших случайностей. Запаха краски достаточно, чтобы вызвать у него тошноту; некоторые блюда или малейшая влажность немедленно оказывают на него тяжелое воздействие. Его тело далеко не железное, как принято считать: вся его сила в уме. Его невероятные усилия за границей и неустанные труды дома известны каждому. Ни один государь никогда не испытывал такой сильной физической усталости. Самым замечательным примером активности императора было то, что он проехал верхом из Вальядолида в Бургос (расстояние в тридцать пять испанских лиг) за пять с половиной часов, то есть более семи лье в час.^[25] Император отправился в путь в сопровождении многочисленного эскорта на случай опасности со стороны партизан; но на каждом ярде он оставлял позади себя часть своего отряда и прибыл в Бургос с небольшим количеством сторонников. Также часто говорят о его поездке из Вены в Симмеринг, расстояние в восемнадцать или двадцать лье. Император поехал позавтракать в Симмеринг и сразу после этого вернулся в Вену. Наполеон часто охотился на расстоянии тридцати восьми лье, но никогда не менее пятнадцати. Однажды русский офицер, прибывший в качестве курьера из Санкт-Петербурга в течение двенадцати или тринадцати дней, прибыл в Фонтенбло в тот момент, когда император собирался отправиться на охоту. В качестве отдыха офицер удостоился чести быть приглашенным присоединиться к охотничьему отряду. Он, конечно, принял приглашение, но от усталости упал в лесу, и его нашли только после того, как были предприняты тщательные поиски.

Я знал, что император занимался делами в Государственном совете в течение восьми или девяти часов подряд, а затем вставал со своими мыслями такими же ясными, как когда он садился. Я видел, как он на острове Святой Елены по десять-двенадцать часов кряду изучал книги на самые трудные темы, не выказывая ни малейшего утомления. Он пережил, оставаясь равнодушным, величайшие потрясения, которые когда-либо испытывал человек. По возвращении из Москвы или Лейпцига, после того как он сообщил о катастрофическом событии в Государственном совете, он сказал: "В Париже сообщили, что из-за этого несчастья мои волосы поседели; но вы видите, что это не так (указывая на свою голову); и я надеюсь, что смогу перенести многие другие невзгоды". Но эти чудовищные усилия предпринимаются только, так сказать, вопреки его физическим силам, которые никогда не кажутся менее восприимчивыми, чем когда его ум находится в полной активности.

Император ест очень нерегулярно, но обычно очень мало. Он часто говорит, что человек может навредить себе, съев слишком много, но никогда - съев слишком мало. Он будет оставаться без еды двадцать четыре часа только для того, чтобы на следующий день у него появился аппетит. Но если он мало ест, то еще меньше пьет. Одного бокала мадеры или шампанского достаточно, чтобы восстановить его силы и придать бодрость духа. Он спит очень мало и очень нерегулярно, обычно встает на рассвете, чтобы почитать или написать, а потом снова ложится спать.

Император не верит в медицину и никогда ее не принимает. Он избрал для себя особый способ лечения. Всякий раз, когда он чувствовал себя нездоровым, его план состоял в том, чтобы впасть в крайность, противоположную тому, что было его привычкой в то время. Это он называет восстановлением природного равновесия. Если, например, он какое-то время был неактивен, он внезапно мог проехать около шестидесяти миль или охотиться целый день. Если бы, напротив, его изводила сильная усталость, он бы смирился с состоянием абсолютного покоя на двадцать четыре часа. Эти неожиданные потрясения безошибочно вызвали внутренний кризис и мгновенно произвели желаемый эффект: это средство, как он заметил, никогда не подводило.

Лимфатическая система императора нарушена, и его кровь циркулирует с трудом. Природа, по его словам, наделила его двумя важными преимуществами: первое - это способность спать всякий раз, когда ему нужен отдых, в любое время и в любом месте; второе - он не способен допускать каких-либо вредных излишеств ни в еде, ни в питье. “Если, ” сказал он, “ я хоть немного выйду за рамки дозволенного, мой желудок немедленно взбунтуется”. Он подвержен тошноте по самым незначительным причинам; простого щекочущего кашля достаточно, чтобы произвести на него такой эффект.

НАШ ОБРАЗ ЖИЗНИ В БРАЙАРЗ. —МОЙ ПЕРВЫЙ ВИЗИТ В ЛОНГВУД.—АДСКАЯ МАШИНА; ЕЕ ИСТОРИЯ.

26-28—е. 26-го император оделся очень рано: он чувствовал себя вполне выздоровевшим. Он хотел прогуляться, так как погода была очень хорошая; и, кроме того, в его комнате уже три дня не приводили в порядок. Мы вышли в сад, и он предпочел позавтракать в беседке. Он был в хорошем настроении, и его беседа касалась самых разных тем и личностей.

Здоровье императора теперь полностью восстановилось, и он вернулся к своему обычному занятию, которое, действительно, было его единственным источником развлечения. Чтение, диктовка и прогулки по саду занимали все его время в течение дня. Он все еще время от времени прибегал к своей любимой тропинке, хотя смена сезона и луны почти положили конец нашим вечерним прогулкам. Многочисленные посетители, приходившие в дом мистера Балькомба, привлеченные надеждой встретиться с императором, очень раздражали его и даже вынудили совсем удалиться. Поэтому мы оставались взаперти в нашем маленьком жилище. Сначала мы поняли, что пробудем в Брайарсе всего несколько дней; но прошло шесть недель, а мы все еще ничего не слышали о нашем переезде. Все это время император был так же ограничен, как и на борту корабля. Он совершил только одну экскурсию, когда посетил майор Хадсон; и впоследствии мы узнали, что это обстоятельство вызвало тревогу. Об этом шептались на адмиральском балу, и это достигло ушей наших высокопоставленных лиц, которые были повергнуты этим событием в великий ужас.

Рабочие продолжали свои работы в Лонгвуде, который должен был стать нашей новой резиденцией. Войска, прибывшие с нами из Англии, стояли лагерем по соседству. Полковник давал бал, на который мы были приглашены. Император пожелал, чтобы я поехал и в то же время воспользовался случаем осмотреть наше будущее жилище. Я поехал с мадам Бертран в экипаже, запряженном шестеркой волов. В этом меровингском экипаже мы отправились в Лонгвуд. Это была первая возможность увидеть какую-либо часть острова, за исключением окрестностей Брайарса. Вся дорога, по которой мы проезжали, представляла собой постоянные свидетельства сильного естественного потрясения. Мы не увидели ничего, кроме огромных

каменных массивов, полностью лишенных растительности. Если при каждом изменении линии горизонта мы замечали след зелени или несколько групп деревьев, то при более близком приближении все исчезало, как порождение фантазии поэта; мы находили только несколько морских растений и диких кустарников или, что было еще хуже, несколько жалких камедных деревьев. Это были единственные украшения Лонгвуда. Я вернулся верхом около шести часов. Император задал мне много вопросов относительно нашей новой резиденции. Заметив, что я говорю об этом без особого энтузиазма, он сразу спросил, выиграет ли он от этого изменения или проиграет? Я высказал ему все, что думаю, в одном предложении. "Сир, - сказал я, - мы здесь в клетке; там мы будем в загоне".

28-е число.—Император сменил военную форму, которую он надел, чтобы подняться на борт "Беллерофонта", на маскарадный фрак. В ходе беседы в этот день император упомянул о многочисленных заговорах, которые были организованы против него. В свою очередь, была упомянута адская машина. Это дьявольское изобретение, породившее так много домыслов и ставшее причиной смерти стольких жертв, было делом рук роялистов, которые получили первое представление о нем от якобинцев.

Император заявил, что сотня разъяренных якобинцев, настоящих виновников сентябрьских событий, 10 августа и т. Д., Решили избавиться от Первого консула, для чего изобрели 15 или 16-фунтовую гаубицу, которая, будучи брошенной в карету, взорвалась бы от собственного сотрясения и посеяла бы разрушения во все стороны. Чтобы убедиться в своей цели, они предложили проложить шево-де-фризе вдоль части дороги, которая, внезапно затормозив лошадей, конечно, сделала бы невозможным дальнейшее движение кареты. Человек, нанятый для установки *chevaux de frise*, питая некоторые подозрения относительно порученной ему работы, а также относительно нравственности своих работодателей, сообщил о случившемся в полицию. Вскоре заговорщики были выслежены и задержаны около Ботанического сада при испытании действия машины, которая произвела ужасный взрыв. Первый консул, чья политика заключалась в том, чтобы не разглашать многочисленные заговоры, объектом которых он был, не стал предавать это огласке, а ограничился заключением преступников в тюрьму. Вскоре он смягчил свои приказы о содержании их в строгом заключении, и им была предоставлена определенная степень свободы. В той же тюрьме, в которой содержались эти якобинцы, несколько роялистов также были заключены в тюрьму за попытку покушения на Первого консула с помощью духовых ружей. Эти две партии объединились в лигу, и роялисты передали своим друзьям из тюрьмы идею адской машины как предпочтительную любому другому плану уничтожения.

Весьма примечательно, что в вечер катастрофы император выразил крайнее отвращение к выходу на улицу. Мадам Бонапарт и несколько близких друзей буквально силой заставили его пойти на ораторию. Они подняли его с дивана, где он крепко спал; один принес ему шпагу, а другой шляпу. Пока он ехал в карете, он снова заснул и внезапно проснулся, сказав, что ему приснилось, будто он тонет в Тальяменто. Чтобы объяснить, на что он намекал, необходимо упомянуть, что несколькими годами ранее, когда он был генералом итальянской армии, он проезжал Тальяменто в своем экипаже ночью, вопреки советам всех окружающих. В пылу юности, не обращая внимания ни на какие препятствия, он переправился через реку в окружении сотни человек, вооруженных шестами и факелами. Однако его карета была вскоре спущена на воду; Наполеон подвергся самой непосредственной опасности и на некоторое время считал себя погибшим. В тот момент, когда он проснулся, направляясь в Ораторию, он

находился в эпицентре пожара, карета была поднята, и отрывок из "Тальяменто" по-новому всплыл в его памяти. Иллюзия, однако, была лишь кратковременной; немедленно последовал ужасный взрыв. "Мы взорваны!" - воскликнул первый консул Ланну и Бессьеру, которые были с ним в вагоне. Они были за то, чтобы остановить карету, но Первый консул запретил им этого ни в коем случае. Он прибыл невредимым и появился в Опере как ни в чем не бывало. Он спасся благодаря отчаянной езде своего кучера. Машина ранила только одного или двух человек, замыкавших эскорт.

Самые тривиальные обстоятельства часто приводят к самым важным результатам. Кучер был пьян, и нет никаких сомнений в том, что это оказалось средством спасения жизни Первого консула. Опьянение мужчины было настолько велико, что только на следующее утро он смог осознать, что произошло. Он принял взрыв за салют. Сразу же после этого события были приняты меры против якобинцев, которые были осуждены за замысел преступления, и значительное число из них было сослано. Однако они не были настоящими преступниками, к раскрытию которых привела еще одна весьма необычная случайность.

Триста или четыреста водителей *фиакров* пожертвовали по луидору, или двенадцати франкам, чтобы угостить обедом кучера Первого консула, который стал героем дня и предметом гордости своей профессии. Во время застолья один из гостей, пивших за здоровье кучера Первого консула, заметил, что он знает, кто сыграл с ним злую шутку, намекая на взрыв машины. Его немедленно арестовали, и выяснилось, что в ту самую ночь или в ночь, предшествовавшую взрыву, он остановил свой *фиакр* у ворот, откуда выехала маленькая тележка, устроившая все это безобразие. Полиция прибыла на место, и оказалось, что это каретный двор, где были сданы в аренду все виды транспортных средств. Смотрители двора не отрицали этого факта; они указали на стойло, в котором стояла телега; на нем все еще были следы пороха. Владельцы заявили, что им дали понять, что повозка была нанята какими-то бретонцами, которые занимались контрабандой. Человека, продавшего лошадь, вместе со всеми, кто участвовал в этом деле, было легко вычислить, и было доказано, что заговор был организован шуанскими роялистами. Несколько активных и умных людей были отправлены в свои штаб-квартиры в Морбиане. Они не приложили никаких усилий, чтобы скрыть свою долю в сделке, и только сожалели, что это не удалось. Некоторые из них были задержаны и привлечены к ответственности. Говорят, что главный заговорщик впоследствии стал траппистом и пытался искупить свое преступление религиозными аскезами.

ЗАГОВОР ЖОРЖА, ПИШЕГРЮ И К.—ГЕРЦОГ Энгиенский.—РАБ ТОБИ.— ХАРАКТЕРНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ НАПОЛЕОНА.

29-30—е число. В этой части моей рукописи я нахожу некоторые важные подробности, касающиеся заговора Жоржа, Пишегрю, Моро и судебного процесса над герцогом Энгиенским; но, поскольку эти темы неоднократно повторяются в ходе моего Дневника, я переносу в другую часть то, что произошло здесь, чтобы сразу представить читателю всю мою информацию по вышеуказанным пунктам.

За маленьким садом мистера Балькомба, в котором мы так часто гуляли, присматривал старый негр. Когда мы увидели его в первый раз, император, по своему обычаю, пожелал, чтобы я задал ему несколько вопросов, касающихся его истории; и его ответы сильно возбудили наш интерес. Он был малайским индусом, и команда английского судна вынудила его покинуть свой дом и

продала на острове Святой Елены, где он с тех пор оставался в рабстве. В его рассказе были все признаки правды. Лицо его имело откровенное и доброжелательное выражение; глаза были оживленными и искрились. Короче говоря, внешность его ни в коем случае не была жалкой, а, напротив, поистине располагающей.

История несчастий бедняги наполнила нас негодованием, и несколько дней спустя император выразил желание выкупить его и отправить обратно в его собственную страну. Он упомянул об этом адмиралу. Последний поначалу защищал своих соотечественников и заявил, что старый Тоби (так звали несчастного раба), должно быть, самозванец, ибо это было невозможно. Он, однако, разузнал об этом деле и, найдя, что история была слишком правдивой, разделил наше возмущение и пообещал приложить все усилия для осуществления нашего замысла. Когда мы уехали из Брайарса в Лонгвуд, бедный Тоби, разделивший общую судьбу всего земного, вскоре был забыт; я не знаю, что с ним стало.

Когда мы были в саду, император обычно останавливался возле хижины Тоби и заставлял меня расспрашивать его о его стране, днях его юности, его семье, его нынешнем положении и т. Д.: Можно было бы предположить, что он хотел изучить чувства старого раба. По желанию императора я неизменно заканчивал разговор, поднося ему "Наполеон".

Тоби был очень привязан к нам; наше присутствие, казалось, всегда наполняло его радостью. Когда мы вошли в сад, он немедленно прекратил свою работу и, опершись на лопату, посмотрел на нас с видом удовлетворения. Он не понимал ни слова из разговора, который происходил между императором и мной; но он, казалось, всегда с улыбкой предвосхищал первые слова, которые я ему переводил. Он называл императора *Добрый джентльменом*: это было единственное имя, которое он когда-либо применял к нему, и он не знал его ни под каким другим именем.

Я упомянул вышеприведенные подробности, потому что за нашими встречами с Тоби всегда следовали новые, энергичные и характерные размышления императора. Разносторонность его ума хорошо известна. Всякий раз, когда он обращался к несчастьям бедного раба, он всегда по-новому смотрел на предмет. Я ограничусь тем, что запишу следующие замечания:—

“Бедный Тоби, - сказал он однажды, - был оторван от своей семьи, от родной земли и продан в рабство: что может быть более несчастным для него самого или более преступным для других! Если это преступление совершил только английский капитан, то он, несомненно, один из самых подлых людей; но если это преступление всей команды, то оно могло быть совершено людьми, возможно, не такими подлыми, как можно было бы себе представить; ибо порок всегда индивидуален и едва ли когда-либо коллективен. Братья Иосифа не смогли заставить себя убить его, в то время как Иуда, хладнокровный, лицемерный, расчетливый злодей, предал своего Учителя. Один философ утверждал, что люди рождаются злыми: было бы и трудно, и бесполезно пытаться выяснить, верно ли это утверждение. По крайней мере, несомненно, что большая часть общества не является порочной; ибо если бы большинство было настроено на то, чтобы быть преступниками и нарушать законы, у кого была бы власть сдерживать или предотвращать их? Это триумф цивилизации, ибо этот счастливый результат исходит из ее недр и вытекает из ее природы. Чувства по большей части традиционны; мы чувствуем их, потому что их чувствовали те, кто был до нас: таким образом, мы должны смотреть на развитие человеческого разума и способностей человечества в поисках единственного ключа к социальному порядку, единственной тайны законодателя. Только те, кто желает обманывать

людей и управлять ими ради своей личной выгоды, могли бы желать держать их в невежестве; ибо чем больше они будут просвещены, тем больше они будут убеждены в полезности законов и в необходимости их защиты; и тем более устойчивым, счастливым и процветающим станет общество. Если, однако, знание когда-либо будет опасным для масс, то это может произойти только тогда, когда правительство, идущее вразрез с интересами людей, загоняет их в неестественное положение или обрекает низшие классы на гибель из-за нужды. В таком случае знание вдохновило бы их на самозащиту или на то, чтобы стать преступниками.

“Один только мой кодекс, благодаря своей простоте, принес Франции больше пользы, чем вся масса законов, предшествовавших ему. Мои школы и моя система взаимного обучения готовят поколения, о которых еще никто не знает. Таким образом, во время моего правления количество преступлений быстро сокращалось; в то время как, напротив, у наших соседей в Англии они увеличились до ужасающей степени. Одного этого достаточно, чтобы позволить любому составить решающее суждение о соответствующих правительствах!”^[26]

“Посмотрите на Соединенные Штаты, где без какой-либо видимой силы или надрыва все процветает; каждый счастлив и удовлетворен: и это потому, что общественные желания и интересы фактически являются правящей силой. Поставьте то же самое правительство в противоречие с волей и интересами его жителей, и вы вскоре увидите бы, какие беспорядки, неприятности и неразбериха, а главное, какой рост преступлений последовал бы за этим.

“Когда я получил верховное руководство делами, было высказано пожелание, чтобы я стал Вашингтоном. Слова ничего не стоят; и, без сомнения, те, кто был так готов выразить свое желание, сделали это, не имея никакого представления о времени, местах, людях или вещах. Если бы я был в Америке, я бы охотно стал Вашингтоном, и у меня было бы мало заслуг в этом, потому что я не вижу, как я мог разумно поступить иначе. Но если бы Вашингтон находился во Франции, подвергаясь внутренним раздорам и вторжению извне, я бы бросил ему вызов, чтобы он стал тем, кем он был в Америке; по крайней мере, он был бы глупцом, попытавшись это сделать, и только продлил бы существование зла. Что касается меня, то я мог бы быть только *Коронованным Вашингтоном*. Только на съезде королей, среди королей, уступающих или покоренных, я мог стать таким. Тогда и только там я мог успешно продемонстрировать умеренность, бескорыстие и мудрость Вашингтона. Я мог разумно достичь этого только с помощью *всеобщей диктатуры*. К этому я стремился; можно ли считать это преступлением? Можно ли поверить, что сложить с себя эту власть было бы выше сил человеческой природы? Силла, погрязший в преступлениях, осмелился отречься от престола, преследуемый общественным осуждением! Какой мотив мог бы остановить меня, за которым последовали бы только благословения? - Но мне оставалось победить в Москве!—Сколько людей впоследствии будут сожалеть о моих бедствиях и моем падении!— Но преждевременно требовать от меня этой жертвы, для которой еще не пришло время, было вульгарной нелепостью; и с моей стороны провозгласить или пообещать это было бы воспринято как лицемерие и шарлатанство: это был не мой путь. - Повторяю, мне оставалось победить в Москве! -”

В другой раз, остановившись перед Тоби, он сказал: “Что, в конце концов, представляет собой этот бедный человек-машина? Нет ни одного, чья внешняя форма была бы похожа на другую, или чья внутренняя организация походила бы на остальные! И именно игнорирование этой истины приводит нас к совершению стольких ошибок! Если бы Тоби был Брутом, он бы предал себя смерти; если бы он был эзопом, он, возможно, был бы сейчас советником губернатора;

если бы он был горячим христианином, он носил бы свои цепи перед лицом Бога и благословлял их. Что же касается бедняги Тоби, то он переносит свои невзгоды очень спокойно; он с головой уходит в свою работу и проводит свои дни в невинном спокойствии. Затем, молча посмотрев на него несколько мгновений, он отвернулся и сказал: “Конечно, от бедняги Тоби до короля Ричарда большой шаг! — И все же, - продолжал он на ходу, - преступление не менее чудовищно; ведь у этого человека, в конце концов, была семья, счастье и свобода; и это был ужасный акт жестокости - привести его сюда томиться в оковах рабства”, - Затем, внезапно остановившись, он добавил: - “Но я читаю в ваших глазах, что вы думаете, что он не единственный, кто пострадал”. пример подобного рода на острове Святой Елены!“ И то ли он почувствовал себя оскорбленным из-за того, что его поставили в один ряд с Тоби, то ли счел необходимым поднять мне настроение, или по какой-то другой причине, он продолжил с достоинством и воодушевлением: “Мои дорогие Лас Кейсы, здесь нет ни малейшего сходства: если возмущение более высокого класса, жертвы также обладают совершенно разными ресурсами. Мы не подвергались телесным страданиям; или, если бы это было предпринято, у нас есть души, способные разочаровать наших тиранов! В нашей ситуации могут быть даже свои прелести! Взоры вселенной устремлены на нас! Мы мученики бессмертного дела! Миллионы людей оплакивают нас: наша страна вздыхает, а слава оплакивает нашу судьбу! Мы здесь боремся против гнета богов, и молитвы народов обращены к нам!” — После паузы в несколько секунд он продолжил:— “Кроме того, это не источник моих настоящих страданий! Если бы я думал только о себе, возможно, у меня были бы причины радоваться! Неудачи не лишены героизма и славы! Невзгоды не помешали моей карьере! Если бы я умер на троне, окутанный плотной атмосферой своей власти, я бы для многих остался проблемой; но теперь несчастье позволит всем судить обо мне без маскировки“.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ КОРПУСА ПРОВОДНИКОВ.—ЕЩЕ ОДНА ОПАСНОСТЬ, КОТОРОЙ ПОДВЕРГСЯ НАПОЛЕОН.—НЕМЕЦКИЙ ОФИЦЕР.

1-3 декабря. Этот промежуток заполнен множеством инцидентов: некоторые я отвергаю как ненужные, о некоторых мне следовало бы умолчать. Я здесь приведу лишь несколько анекдотов о главнокомандующем армией Италии.

После переправы через Минчо Наполеон, согласовав все свои планы и преследуя врага во всех направлениях, вошел в замок на левом берегу реки. Его беспокоила головная боль, и он воспользовался ванночкой для ног. Большой отряд противника, в большом замешательстве, прибыл, поднявшись по реке до самого замка. С Наполеоном было всего несколько человек; часовой, дежуривший у ворот, едва успел закрыть их, крикнув: “К оружию!” - и генерал итальянской армии в час победы был вынужден бежать через задние ворота сада в одном сапоге. Если бы он попал в плен до того, как утвердилось его репутация, гениальные поступки, положившие начало его карьере, возможно, в глазах всего человечества были бы расценены просто как удачные и заслуживающие порицания предприятия. Опасность, которой французский генерал только что избежал (обстоятельство, которое, благодаря его методу действий, вероятно, часто повторялось), заключалась в происхождении проводников, назначенных для охраны его персоны. С тех пор эти руководства были внедрены в других армиях.

В той же кампании Наполеон подвергся другой неминуемой опасности: Вурмсер, который был вынужден броситься в Мантую и внезапно вышел на открытую равнину, узнал от пожилой

женщины, что всего за несколько минут до своего прибытия французский генерал с немногочисленными сторонниками остановился у ее дверей и что он бежал на виду у австрийцев. Вурмсер немедленно отправил кавалерийские отряды во все стороны, с уверенностью рассчитывая на ценную добычу. “Но, - сказал император, - я должен отдать ему справедливость, он отдал особые приказы, чтобы я не был убит или каким-либо образом ранен”. К счастью для молодого генерала, его счастливая звезда и быстрота его лошади спасли его.

Новая система военных действий, применявшаяся Наполеоном, привела всех в замешательство. Едва началась кампания, как Ломбардия была наводнена войсками со всех сторон, и французы вплотную подошли к Мантуе. Главнокомандующий, находясь в окрестностях Пиццигитоне, встретил большого толстого немецкого капитана или полковника, попавшего в плен. Наполеону вздумалось расспросить его, оставаясь незамеченным, и он поинтересовался, как идут дела. “Очень плохо”, - ответил офицер. “Я не знаю, чем это кончится; но, кажется, никто не понимает, что делает; нас послали сражаться с молодым болваном, который нападает на вас справа и слева, спереди и сзади, так что вы не знаете, как действовать дальше. Такой способ ведения войны невыносим; и, со своей стороны, я очень рад, что покончил с этим...”

Наполеон рассказывал, что после одного из своих великих сражений в Италии он прошел по полю битвы с двумя или тремя другими людьми еще до того, как тела погибших были преданы земле. “В глубокой тишине прекрасной лунной ночи, ” сказал император, “ собака, внезапно выскочив из-под одежды своего мертвого хозяина, бросилась на нас, а затем немедленно вернулась в свое укрытие, жалобно воя. Он то лизал своего хозяина в лицо, то снова налетал на нас, таким образом, одновременно прося помощи и стремясь отомстить. То ли из-за моего особого склада ума в тот момент, - продолжал император, - то ли из-за времени, места или самого действия, я не знаю; но, конечно, ни одно происшествие ни на одном поле битвы никогда не производило на меня такого глубокого впечатления. Я невольно остановился, чтобы созерцать эту сцену. У этого человека, подумал я, возможно, есть друзья в лагере или в его компании; и вот он лежит здесь, покинутый всеми, кроме своей собаки! Какой урок преподносит здесь Природа через посредство животного! Какое странное существо человек! и как таинственны его впечатления; я без эмоций отдавал приказы о сражениях, которые должны были решить судьбу армии; я наблюдал без слез за выполнением этих операций, в результате которых было принесено в жертву множество моих соотечественников; и тут мои чувства пробудил жалобный собачий вой! Конечно, в тот момент меня легко растрогал бы умоляющий враг; я вполне мог представить Ахилла, отдающего тело Гектора при виде слез Приама ”.

ВОЙНА.—ПРИНЦИПЫ.—ПРИМЕНЕНИЕ.—МНЕНИЯ О НЕСКОЛЬКИХ ГЕНЕРАЛАХ.

4-5-е число. Мое зрение стало настолько плохим, что я был вынужден прервать свое занятие: я почти потерял зрение во время кампании в Италии.

С некоторых пор в погоде произошли заметные изменения. Мы ничего не знали о смене времен года. Поскольку за последний год солнце дважды проходило над нашими головами, мы сказали, что у нас должно быть, по крайней мере, два лета. Все здесь совершенно отличалось от того, к чему мы привыкли; и, в довершение наших затруднений, мы были вынуждены, находясь теперь в южном полушарии, производить все наши расчеты способом, совершенно противоположным тому, который мы практиковали в Европе. Часто шли дожди, воздух был очень влажным, и стало холоднее, чем раньше. Император больше не мог выходить из дома по

вечерам; он постоянно простужался и плохо спал. Ему пришлось отказаться от приема пищи в палатке, и он приказал подавать ее в свою комнату. Здесь он почувствовал себя лучше, но не мог пошевелиться со своего места.

Наш разговор продолжился после того, как ужин был убран со стола. Сегодня император напал на генерала Гурго по поводу элементов и первых артиллерийских учений. Генерал недавно служил в этом подразделении вооруженных сил, и вся его профессиональная наука была довольно свежей. Дискуссия была очень любопытной и велась с большим воодушевлением. Наполеон так и не показал себя более слабой стороной: можно было бы подумать, что он только что сдал экзамен в академии.

Затем разговор зашел о войне и великих полководцах. “Судьба сражения, ” заметил император, - зависит от мгновения, от мысли: враждебные силы наступают в различных комбинациях, они атакуют друг друга и сражаются определенное время; наступает критический момент, все решает вспышка ума, и наименьшие резервы достигают цели”. Он говорил о Лютцене, Бауцене и т. Д.; и впоследствии, ссылаясь на Ватерлоо, он сказал, что, если бы он придерживался идеи повернуть противника направо, он легко добился бы успеха; он, однако, предпочел пронзить центр и разделить две армии. Но все было фатально в этом сражении; оно даже приобрело вид абсурда: тем не менее он должен был одержать победу. Никогда еще ни одно из его сражений не вызывало у него меньших сомнений; и теперь он не мог объяснить, что произошло. Груши, по его словам, потерял себя; Ней казался сбитым с толку, и его лицо сразу же выразило раскаяние, которое он испытывал по поводу событий в Фонтенбло и Лон-ле-Сонье; д'Эрлон был бесполезен; короче говоря, генералы больше не были самими собой. Если бы вечером он знал о положении Граучи и мог бы воспользоваться им, он мог бы утром, с помощью этого прекрасного резерва, исправить свой неудачный успех и, возможно, даже уничтожить союзные войска одним из тех чудес, тех поворотов Судьбы, которые были ему знакомы и которые никого бы не удивили. Но он ничего не знал о Гручи; и, кроме того, нелегко было действовать решительно среди обломков армии. Трудно было бы представить состояние французской армии в ту катастрофическую ночь; это был поток, вырвавшийся из своего русла, сметающий все на своем пути.

Переходя к другой теме, он сказал, что опасности, которым подвергались военачальники древности, не идут ни в какое сравнение с теми, которые подстерегают полководцев современности. Он заметил, что нет такой позиции, на которой до генерала не могла бы добраться артиллерия; но в древности генерал ничем не рисковал, за исключением тех случаев, когда он сам бросался в атаку, что цезарь делал всего два или три раза.

“Мы редко находим, - сказал он, “ в сочетании все качества, необходимые для того, чтобы стать великим полководцем. Наиболее желательная цель состоит в том, чтобы суждения человека находились в равновесии с его личным мужеством; это сразу поднимает его над обычным уровнем”. Это то, что император называл “*быть хорошо выровненным*” как по основанию, так и по перпендикуляру”.

“Если, - продолжал он, - храбрость является преобладающим качеством генерала, он опрометчиво пустится в предприятия, выходящие за рамки его представлений; и, с другой стороны, он не рискнет претворять свои идеи в жизнь, если его характер или храбрость уступят его рассудку”.

Затем он привел в пример вице-короля, единственная заслуга которого заключалась в уравновешенности характера, которой, однако, было достаточно, чтобы сделать его очень выдающимся человеком.

Физическое и моральное мужество тогда стало предметом дискуссий. “Что касается физической храбрости, ” сказал император, “ то Мюрат и Ней не могли не быть храбрыми, но ни один человек никогда не обладал меньшим здравомыслием, особенно первый. Что касается морального мужества, - заметил он, - то я очень редко встречал *мужество, присущее двум часам ночи*. Я имею в виду неподготовленную смелость, то, что необходимо в неожиданном случае и что, несмотря на самые непредвиденные события, оставляет полную свободу суждений и решений”. Он, не колеблясь, заявил, что сам в высшей степени одарен *этим мужеством* *в два часа ночи*, и что в этом отношении он встречал лишь немногих людей, которые были хоть сколько-нибудь равны ему. Он заметил, что обычно складывается неверное представление о силе духа, необходимой для участия в одной из тех великих битв, от которых зависит судьба армии или нации, или обладание тронem. “Генералов, - добавил он, - редко можно встретить жаждущими дать сражение; они выбирают свои позиции, укрепляются, обдумывают свои комбинации; но затем начинается их нерешительность: нет ничего более трудного и в то же время столь важного, как знать, когда принимать решение”.

Затем он обратился к нескольким генералам и снизошел до ответов на некоторые вопросы, которые ему задали. “Клебер, - сказал он, - был наделен высочайшим талантом; но он был просто человеком момента: он стремился к славе как к единственному пути к наслаждению; но у него не было национального чувства, и он мог бы без всяких жертв посвятить себя службе за границей”. Клебер начал свою юношескую карьеру среди пруссаков, к которым он по-прежнему был очень привязан. Дессе в высшей степени обладал важным равновесием, описанным выше. Моро едва ли заслуживал того, чтобы его ставили в первый ряд генералов; в нем природа оставила свою работу незаконченной; он обладал скорее инстинктом, чем гениальностью. У Ланна храбрость поначалу преобладала над рассудительностью, но последняя с каждым днем набирала силу и приближалась к равновесию. К моменту своей смерти он стал очень способным командиром. “Я нашел его карликом, - сказал император, - но потерял гигантом”. У другого генерала, которого он называл, рассудительность, напротив, превосходила храбрость; нельзя отрицать, что он был храбрым человеком; но он, как и многие другие, не забывал о шансе попасть в пушечное ядро.

Говоря о воинском рвении и отваге, император сказал: “Я знаю глубину, или то, что я называю *глотком воды*, всех моих генералов. Некоторые, ” добавил он, подкрепляя свои слова действием, - утонули по пояс, некоторые - до подбородка, другие - выше головы; но число последних очень невелико, уверяю вас”. Суше, по его словам, был одним из тех, чье мужество и рассудительность неожиданно возросли. Массена был очень выдающимся человеком, и в силу странной особенности темперамента он обладал желанным равновесием только в пылу битвы; оно создавалось посреди опасности. “Генералами, - наконец заметил император, - которым, казалось, суждено было в будущем прославиться, были Жерар, Клозель, Фуа, Ламарк и другие. Это были мои новые маршалы.

ПОЛОЖЕНИЕ ИСПАНСКИХ ПРИНЦЕВ В ВАЛЕНСИИ.—ПАПА В ФОНТЕНБЛО. — РАЗМЫШЛЕНИЯ И С.

6. Император, после того как продиктовал мне что-то сегодня утром, был последовательно занят с другими джентльменами, с которыми он на некоторое время продлил свою прогулку. Когда они удалились, я последовал за ним по нижней тропинке: он был уныл и молчалив, и выражение его лица казалось несколько суровым и взъерошенным. “Что ж,” сказал он, когда мы возвращались к обеду, “у нас в Лонгвуде будут часовые под окнами. Они хотели заставить меня пригласить иностранного офицера за мой стол и в мою гостиную. Я не могу сесть на лошадь без сопровождения офицера; короче говоря, мы не можем ступить ни шагу под страхом быть оскорбленными!..” Я ответил, что это была еще одна капля скорби, добавленная к горькой чаше, которую мы были обречены испить за его прошлую славу и могущество; но что его философии было достаточно, чтобы бросить вызов злобе его врагов и заставить их покраснеть за свою жестокость перед лицом всего мира. Я осмелился заметить, что испанские принцы в Валенсии и папа римский в Фонтенбло никогда не сталкивались с подобным обращением. “Конечно, нет,” продолжал он. - Принцоохотились и давали балы в Валенсии, физически не ощущая своих цепей; они испытывали уважение и вежливость со стороны всех. Старый король Карл IV. переезжал из Компьена в Марсель, а из Марселя в Рим, когда хотел. И все же, как отличаются те места от этого! С папой римским в Фонтенбло, какие бы слухи ни ходили в мире, обращались точно так же. И все же сколько людей, несмотря на все поблажки, которыми он пользовался, отказались быть назначенными охранять его! — Обстоятельство, которое меня несколько не оскорбляло, ибо я считал это совершенно естественным. Такие занятия зависят от деликатности чувств, а наши европейские нравы требуют, чтобы власть была ограничена честью”. Он заметил, что, со своей стороны, как частный человек и офицер, он должен был без колебаний отказаться охранять папу римского, высылка которого во Францию, добавил он, никогда им не приказывалась. — Я выказал большое удивление. — “Вы поражены”, - сказал он. - “Вы этого не знали? Но тем не менее это правда, как и многие другие подобные факты, которые вы узнаете со временем. Но применительно к предмету, о котором мы только что говорили, необходимо отличать поведение суверена, действующего коллективно, от поведения частного человека, чьи чувства ничем не ограничены. Политика допускает, более того, часто требует от одного того, что было бы непростительно в другом”. Час обеда, когда были представлены различные темы для разговоров, рассеял его меланхолию, и жизнерадостность, наконец, взяла верх.

Тем временем император всерьез решил покинуть свое нынешнее жалкое жилище, какие бы неудобства ни представляла его новая резиденция. Собираясь провести остаток вечера с нашим хозяином, император велел мне вручить ему шкатулку с его шифром и сказать, что он сожалеет обо всех хлопотах, которые доставил ему.

О НОВОЙ ЭЛОИЗЕ И О ЛЮБВИ.

7. Император вызвал меня к себе рано утром. Он начал читать "Новую Элоизу", часто отмечая изобретательность и силу аргументации, элегантность стиля и выражений: он читал более двух часов. Это чтение произвело на меня сильное впечатление; оно вызвало глубокую меланхолию — смешанное чувство нежности и печали. Мне всегда нравилась эта работа, и теперь она пробудила счастливые воспоминания и вызвала глубокое сожаление: император часто улыбался мне. Во время завтрака темой разговора была "Новая Элоиза".

“Жан-Жак переоценил свой предмет, - сказал император. - он изобразил безумие: любовь должна быть источником удовольствия, а не страдания”. Я утверждал, что Жан-Жак не описал ничего такого, чего не мог бы почувствовать человек, и что даже несчастье, на которое ссылался Император, на самом деле было счастьем. “Я вижу, - сказал он, “ в вас есть немного романтики: сделали ли вас несчастья любви счастливыми?”“Я не жалею на свою судьбу, сир, - ответил я. - Если бы мне пришлось начать жизнь сначала, я бы захотел вернуться к тому пути, которым уже шел”.

Император возобновил чтение после завтрака, но время от времени прерывался: очарование, казалось, овладевало и им в свою очередь. Наконец он отложил книгу, и мы вышли в сад. “В самом деле, ” сказал он, когда мы шли по улице, “ в этой работе есть огонь; она волнует, она пробуждает чувства”. Мы глубоко обсудили этот предмет; мы были очень пространны в наших замечаниях и в конце концов согласились, что совершенная любовь подобна идеальному счастью; что и то, и другое одинаково воздушно, мимолетно, таинственно и необъяснимо; и что, в конце концов, любовь - это занятие праздного человека, развлечение воина и гибель монарха.

К нам присоединились верховный маршал и месье Гурго, которые только что вернулись из Лонгвуда. Адмирал уже несколько дней настаивал на нашем переезде туда; и император не меньше стремился туда отправиться, поскольку условия в Брайарсе были очень плохими. Однако, прежде чем он удалился, было необходимо, чтобы запах краски полностью исчез, поскольку из-за своей особой организации он никак не мог этого вынести. В императорских дворцах позаботились о том, чтобы никогда не подвергать его этому воздействию. Во время его различных путешествий малейший запах краски часто приводил к необходимости сменить приготовленные для него апартаменты; а на борту "Нортумберленда" он сильно заболел из-за покраски корабля. Накануне вечером ему сообщили, что в Лонгвуде все готово и что неприятный эффект краски полностью исчез. Соответственно, он решил переехать в следующую субботу, поскольку таким образом избавился бы от назойливых рабочих в воскресенье; но теперь пришли главный маршал и г-н Гурго, чтобы сказать, что они посетили это место и что оно непригодно для жилья. Император выразил большое неудовольствие по поводу первого полученного им отчета и решения, которое оно побудило его принять. Два джентльмена удалились, и мы спустились по нижней аллее. Император был сильно не в духе. Теперь оченьнеожиданно прибыл месье де Монтолон из Лонгвуда, заявив, что все готово и что император может удалиться, как только пожелает. Эти два рассказа, столь противоречивые и близкие друг другу, вызвали его неудовольствие. К счастью, было объявлено об обеде, что отвлекло его внимание от этой темы. Покрывало было постелено в покоях императора, ибо у него был такой сильный холод, что он не мог выносить палатки. После обеда он вернулся к чтению и закончил день, как и начал, "Новой Элоизой".

АНГЛИЙСКИЙ ЛЕЙТЕНАНТ.—ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО.—ОТЪЕЗД В ЛОНГВУД ОПРЕДЕЛЕН ПО.—СОСТОЯНИЕ ФРАНЦИИ.—МЕМОРИАЛ В ОПРАВДАНИЕ НЕЯ.

8—й-9-й. В связи с возникшими вчера сомнениями относительно краски я решил сам отправиться туда, чтобы выяснить истинное положение дел и ознакомить с ним императора за завтраком. Соответственно, я отправился в путь очень рано, пройдя пешком три части пути, потому что никто не встал, чтобы приготовить для меня лошадь. Я вернулся около девяти часов. Запах краски, конечно, был очень слабым, но для императора это было уже слишком.

9-го числа капитан 74-го "Миндена" был представлен императору в саду. Капитан прибыл с мыса Доброй Надежды и собирался отплыть в Европу. Он имел честь быть представленным Наполеону в Париже, при консульстве, около двенадцати лет назад. Он попросил разрешения представить императору одного из своих лейтенантов в связи с некоторыми личными обстоятельствами, которые мы сочли весьма необычными. Молодой человек родился в Болонье, как раз в то время, когда французская армия вошла в этот город. Французский генерал Наполеон по какой-то случайности присутствовал на крестинах ребенка, которому он подарил трехцветную кокарду, которая с тех пор бережно хранилась в семье.

После отъезда этих джентльменов из Лонгвуда прибыл верховный маршал. Он ни в коей мере не считал краску оскорбительной; нынешнее жилище императора было очень плохим, и часть его имущества уже была вывезена; поэтому он решил отправиться в Лонгвуд на следующий день, чему я был искренне рад. В течение нескольких прошедших дней я имел возможность наблюдать, что было принято решение заставить императора покинуть его нынешнее жилище. Я держал при себе все сообщения, публичные или частные, которые были сделаны мне по этому поводу. Я взял за правило избавлять его от любых причин для раздражения, какие только мог, и просто довольствовался тем, что действовал так, как считал наиболее целесообразным. За два дня до этого был послан офицер, чтобы унести палатку, хотя мы не выражали никакого желания на этот счет. Офицеру также было приказано снять наружные ставни с окон императора; но я воспротивился этому, сказав ему, что это невозможно, поскольку император еще не встал, и я отослал его прочь. В другой раз, чтобы встревожить меня, мне сообщили как большой секрет, что, если император немедленно не уедет, предполагается разместить сотню солдат у ворот ограды. "Очень хорошо", - ответил я и больше не обращал внимания. Что могло быть причиной такой спешки? Я подозреваю, что каприз наших тюремщиков и желание довести свою власть до предела повлияли на это дело больше, чем что-либо другое.

Мы получали газеты вплоть до 15 сентября, и они стали предметом разговоров. Император проанализировал их. Будущее казалось окутанным облаками. "Однако, - сказал император, "воображению представляются три великих события: раздел Франции, правление Бурбонов или новая династия. Людовик XVIII, - заметил он, - легко мог бы править в 1814 году, сделавшись национальным монархом. Теперь у него есть только отвратительный и ненадежный шанс, вытекающий из чрезмерной суровости, — царство террора. Его династия может утвердиться навсегда, или же то, что должно прийти ему на смену, все еще может храниться в тайне будущего". Кто-то из присутствующих заметил, "что герцог Орлеанский может быть призван на трон"; но император с помощью ряда очень убедительных и красноречивых рассуждений доказал, что, если герцог Орлеанский, в свою очередь, не наденет корону в соответствии с естественным порядком наследования, то в хорошо понятных интересах всех государей Европы предпочесть его (Наполеона) герцогу Орлеанскому, взошедшему на трон преступным путем. "Ибо, " сказал он, "что такое доктрина королей по сравнению с событиями сегодняшнего дня? Она направлена на предотвращение возобновления примера, который я привел, против того, что они называют законностью? Итак, пример, который я привел, не может быть повторен более одного раза в течение многих веков; но пример герцога Орлеанского, ближайшего родственника монарха на троне, может повторяться ежедневно, ежечасно и в каждой стране. Нет такого государя, у которого в его собственном дворце и около его особы не было бы двоюродных братьев, племянников и других родственников, которые могли бы легко последовать такому примеру, если бы он был однажды подан".

В тех же газетах мы прочитали выдержку из мемориала в оправдание маршала Нея.— Император считал это весьма прискорбным. Это не было рассчитано на спасение его жизни и ни в коем случае не на поддержание его чести. Аргументы в его защиту были, мягко говоря, слабыми и лишены смысла. После всего, что он сделал, он будет протестовать против своей преданности королю и своего отвращения к императору: “Абсурдный план, - сказал Наполеон, - но он был в целом принят теми, кто участвовал в нынешние памятные времена, и которые, кажется, не учли, что я настолько полностью отождествляю себя с нашими чудесами, нашими памятниками, нашими институтами и всеми нашими национальными деяниями, что отделять меня от них - значит причинять вред Франции. Слава Франции в том, чтобы признать меня! И, несмотря на всю тонкость, уклончивость и ложь, которые могут быть использованы для доказательства обратного, мой характер все равно будет справедливо оценен французской нацией. Защита Нея, ” продолжал он, - была четко прослежена. Им руководил общий порыв, который, по его мнению, был рассчитан на обеспечение благополучия его страны; он подчинился без всяких предательских намерений. За этим последовала перемена в судьбе, и он предстал перед трибуналом; это было все, что он мог сказать по поводу произошедших великих событий. Что касается защиты его жизни, то по этому поводу нечего было сказать, за исключением того, что он был защищен торжественной капитуляцией, которая гарантировала каждому отдельному человеку молчание и забвение в отношении всех политических действий и мнений. Если бы он придерживался этой линии защиты и, тем не менее, пожертвовал бы своей жизнью, это было бы перед лицом всего мира нарушением самых священных законов. Он оставит после себя воспоминания о славном персонаже, унесет с собой в могилу сочувствие каждого великодушного человека и навлечет позор и порицание на своих убийц. Но этот энтузиазм, вероятно, выше его моральных сил”, - сказал император. “Ней - храбрейший из людей, и ничего более”.

Несомненно, что, когда Ней покидал Париж, он был всецело предан королю и не оборачивался, пока не увидел, что все потеряно. Если затем он проявил энтузиазм в противоположном направлении, то лишь потому, что чувствовал, что ему предстоит многое искупить. После своего знаменитого приказа дня он написал Наполеону, что то, что он сделал, было сделано главным образом ради благополучия страны; и что, поскольку он больше не может быть угоден императору, он просит его разрешить ему уйти в отставку. Император пожелал, чтобы он приехал, и сказал, что примет его так же, как на следующий день после битвы при Москве. Ней представился Наполеону и сказал, что после того, что произошло в Фонтенбло, он по необходимости должен испытывать сомнения в его привязанности и верности; и что поэтому он не просит никакого другого звания, кроме гренадерского в императорской гвардии. Император ответил, протянув ему руку и назвав его храбрейшим из храбрых, как он привык это делать. Император сравнил положение Нея с положением Тюренна. Нея можно было бы защитить, но Тюренна нельзя было оправдать. И все же Тюренн был помилован и осыпан почестями, в то время как Ней, вероятно, был обречен на смерть.

“В 1649 году, - сказал он, “ Тюренн командовал королевской армией, командование которой было возложено на него Анной Австрийской, регентшей королевства. Хотя он и принес присягу на верность, все же он подкупил свои войска, объявил себя сторонником Фронды и двинулся

маршем на Париж. Но когда его объявили виновным в государственной измене, раскаявшаяся армия покинула его, и Тюренн укрылся у принца Гессенского, чтобы избежать преследования правосудия. Ней, напротив, был воодушевлен единодушным желанием и протестом своей армии. Прошло всего девять месяцев с тех пор, как он признал монарха, которому предшествовали шестьсот тысяч иностранных штыков: монарха, который не принял конституцию, представленную ему Сенатом, как формальное и необходимое условие своего возвращения, и который, заявив, что он правил девятнадцать лет, доказал, что он рассматривал все предыдущие правительства как узурпацию. Ней, чье образование научило его уважать национальный суверенитет, двадцать пять лет сражался в поддержку этого дела и из рядового дослужился до звания маршала. Если его поведение 20 марта не было благородным, это, по крайней мере, объяснимо и в некоторых отношениях простительно; но Тюренн был абсолютным преступником, потому что Фронды был союзником Испании, которая в то время находилась в состоянии войны с его Сувереном, и потому что он руководствовался своими собственными интересами и интересами своей семьи в надежде получить суверенитет за счет Франции и, следовательно, в ущерб своей стране”.

ЗАВЕДЕНИЕ В ЛОНГВУДЕ.

ПЕРЕЕЗД В ЛОНГВУД.—ОПИСАНИЕ ДОРОГИ.—ВСТУПЛЕНИЕ Во ВЛАДЕНИЕ.— ПЕРВАЯ ВАННА ИМПЕРАТОРА И Т. Д.

10—е.-Император приказал позвать меня около девяти часов, чтобы я сопровождал его в сад. Ему пришлось покинуть свои покои очень рано, поскольку утром всю мебель должны были перевезти в Лонгвуд. Войдя в сад, император послал за мистером Балькомбом, нашим хозяином. Затем он заказал завтрак и пригласил мистера Балькомба позавтракать с ним. Он был в прекрасном расположении духа и вел очень оживленную беседу.

Около двух часов дня доложили об адмирале: он выступил вперед с видом смущения. То, как обращались с императором в Брайарсе, и ограничения, которые были наложены на членов его свиты, проживавших в городе, привели к охлаждению между ними. Император перестал принимать адмирала с визитами, но в данном случае он вел себя с ним так, как будто они встретились только вчера.

Наконец мы покинули Брайарс и отправились в Лонгвуд. Император ехал на лошади, которую привели для него с Кейптауна. Он не видел его раньше: это было маленькое, резвое и довольно красивое животное. Император был одет в форму гвардейского егеря: его изящная фигура и красивое лицо были особенно примечательны. Его внешность привлекла всеобщее внимание, и я был рад услышать замечания, которые она вызвала. Адмирал был очень внимателен к нему. По дороге собралось много людей, чтобы посмотреть, как он проезжает. Несколько английских офицеров вместе с нами составляли его эскорт.

Дорога из Брайарса в Лонгвуд проходит некоторое расстояние в направлении города. Затем она внезапно сворачивает направо и после трех или четырех поворотов пересекает цепь холмов, образующих одну сторону долины. Далее дорога начинается на ровной высоте с небольшим уклоном, и перед вами открываются новые горизонты и новые пейзажи. Теперь мы оставили позади цепь бесплодных гор и скал, отделяющих причальную часть острова, и увидели перед собой поперечную группу холмов, из которых пик Дианы является самым высоким и кажется ключевым камнем, или ядром, окружающей картины. С левой, или восточной, стороны, где расположен Лонгвуд, горизонт ограничен изломанной цепью скал, образующих очертания острова. Там почва представляет собой невозделанную пустыню; но справа взгляд останавливается на обширном участке местности, который, хотя и пересечен, по крайней мере, представляет следы растительности: он покрыт многочисленными жилыми домами и в целом довольно хорошо возделан. С этой стороны, надо признаться, картина романтична и приятна.

Здесь слева от дороги открывается глубокая долина, которая находится в очень хорошем состоянии; а двумя милями дальше, там, где дорога делает поворот, стоят Ворота Хата, жалкий маленький домишко, который был выбран в качестве резиденции великого маршала и его семьи. На небольшом расстоянии от этой точки долина слева, постепенно увеличиваясь в глубину, образует круглый залив, который из-за своей огромной глубины и протяженности получил название Чаши для пунша Дьявола. Дорога здесь сужается у возвышенности справа и идет вдоль этого обрыва, пока не сворачивает в направлении Лонгвуда, до которого рукой подать.

У въезда в Лонгвуд мы обнаружили стражника при оружии, который оказывал предписанные почести августейшему пленнику. Конь императора, энергичный и неукротимый, непривычный к такого рода парад, был напуган звуком барабана; он отказался проезжать через ворота, и только с помощью шпор всаднику удалось заставить его двигаться вперед. В этот момент я заметил, как лица, составлявшие императорский эскорт, обменялись очень выразительными взглядами. Мы вошли в нашу новую резиденцию около четырех часов.

Адмирал приложил немало усилий, чтобы указать нам даже на мельчайшие детали в Лонгвуде. Он руководил всеми приготовлениями, и некоторые вещи были даже делом его собственных рук. Император был доволен всем, и адмирал казался очень довольным. Он, очевидно, ожидал раздражительности и презрения, но император проявил совершенное добродушие.

Он ушел к себе в шесть часов и знаком пригласил меня следовать за ним в его комнату. Здесь он осмотрел различные предметы мебели и осведомился, обеспечен ли я подобным образом. Когда я ответил отрицательно, он настоял на том, чтобы я принял их, сказав в самой обаятельной манере: "Возьмите их; я ни в чем не буду нуждаться: обо мне позаботятся лучше, чем о вас". Он чувствовал себя очень усталым и спросил, не так ли он выглядит. Это было следствием того, что он провел пять месяцев в абсолютном бездействии. По утрам он много ходил пешком, не считая того, что проехал несколько миль верхом.

Наша новая резиденция была снабжена купальной машиной, которую адмирал приказал плотникам установить наилучшим образом. Император, который с тех пор, как покинул Мальмезон, был вынужден отказаться от ванны, ставшей для него одним из предметов первой необходимости, выразил желание немедленно принять ванну и велел мне остаться с ним. Еще раз были рассмотрены самые незначительные детали нашего нового устройства; и, поскольку квартира, которая была отведена мне, была очень плохой, император выразил пожелание,

чтобы в течение дня я занимал то, что он называл своим топографическим кабинетом, который примыкал к его личному кабинету, чтобы, как он сказал, я мог быть ближе к нему. Я был очень тронут доброй манерой, в которой все это было сказано. Он даже зашел так далеко, что несколько раз повторил мне, что я должен прийти на следующее утро и принять ванну в его машине; и когда я извинился, сославшись на уважение и дистанцию, которые должны соблюдаться между нами, “Мои дорогие Лас Кейсы, - сказал он, “ товарищи по заключению должны подходить друг другу. Я не хочу принимать ванну весь день, и тебе это не менее необходимо, чем мне ”. Можно было бы предположить, что он хотел возместить мне потерю, которую я собирался понести, поскольку больше не был единственным человеком в его окружении. Эта доброта восхитила меня, это правда; но она также вызвала чувство сожаления. Доброта императора, несомненно, была наградой за мое усердие в Брайарсе; но это также дало мне повод предвкушать завершение того постоянного общения с ним, которому я был обязан нашему глубокому уединению. Император, не желая снова одеваться, обедал в своей комнате и пожелал, чтобы я остался с ним. Мы были одни, и наш разговор зашел о предмете особого свойства, результат которого может оказаться чрезвычайно важным. Он поинтересовался моим мнением и попросил сообщить его ему на следующее утро.

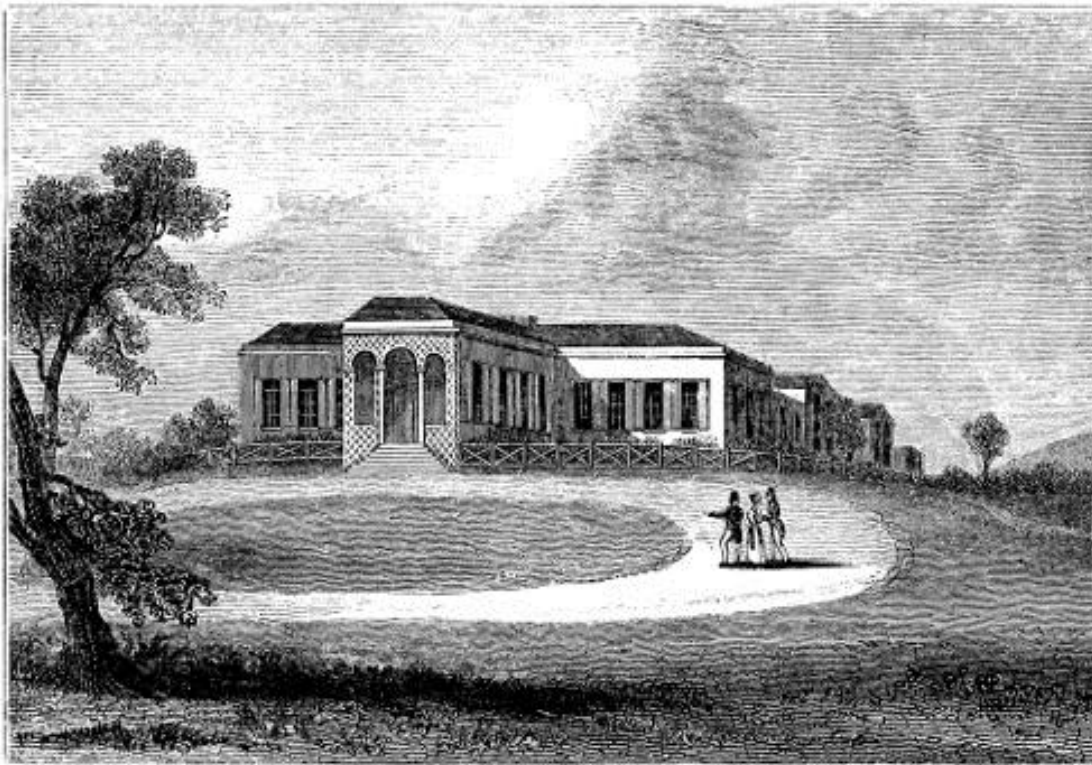
ОПИСАНИЕ ЛОНГВУДА.

11-14. Теперь перед нами открылась новая часть нашего существования на несчастной скале Святой Елены. Мы поселились в нашем новом жилище, и границы нашей тюрьмы были очерчены.

Лонгвуд, который первоначально был просто фермерским домом, принадлежащим Ост-Индской компании, а впоследствии был передан в качестве загородной резиденции заместителю губернатора, расположен в одной из самых высоких частей острова. Разница температур между этим местом и долиной, где мы приземлились, характеризуется отклонением английского термометра по крайней мере на десять градусов. Лонгвуд стоит на ровной возвышенности, которая довольно обширна с восточной стороны и довольно близко к побережью. Непрерывные и часто сильные штормы, всегда дующие в одном и том же районе, подметают поверхность земли. Солнце, хотя и появляется редко, тем не менее оказывает свое влияние на атмосферу, что может вызвать расстройства печени, если не соблюдать должных мер предосторожности. Сильные и внезапные дожди довершают невозможность различить какое-либо регулярное время года. Но в Лонгвуде нет регулярной смены сезонов. Круглый год дуют ветры, тучи и идут дожди, а температура воздуха такая мягкая и однообразная, что, возможно, в конце концов, скорее способствует скуке, чем болезни. Несмотря на обильные дожди, трава быстро исчезает, будучи либо пощипанной ветром, либо увядшей от жары. Вода, которая подается сюда по трубопроводу, настолько вредна для здоровья, что заместитель губернатора, когда он жил в Лонгвуде, никогда не разрешал использовать ее в своей семье, пока она не прокипятится; и мы вынуждены делать то же самое. Деревья, которые на расстоянии придают этой сцене улыбчивый вид, на самом деле просто камедные деревья — жалкий кустарник, не дающий тени. С одной стороны горизонт ограничен безбрежным океаном; но остальная часть пейзажа представляет собой лишь нагромождение огромных голых скал, глубоких заливов и безлюдных долин; а вдалеке виднеется зеленая и окутанная туманом горная цепь, над которой возвышается пик Дианы. Короче говоря, Лонгвуд может радовать только после утомительного долгого путешествия, когда вид любой земли является ободряющей перспективой. Прибыв на остров Святой Елены в погожий день, путешественник, возможно,

будет поражен необычностью внезапно появляющихся предметов и воскликнет: “Как красиво!” - но его визит кратковременен; и какую боль только не причиняет его поспешное восхищение несчастным пленникам, обреченным провести свою жизнь на острове Святой Елены!

Рабочие в течение двух месяцев были постоянно заняты подготовкой Лонгвуда к нашему приему; результат их трудов, однако, был невелик. Вход в дом вел через только что построенную комнату, которая должна была выполнять двойное назначение прихожей и столовой. Эта квартира вела в другую, которая была превращена в гостиную; за ней находилась третья комната, идущая в поперечном направлении и очень темная. Это помещение предназначалось для хранения карт и книг императора, но впоследствии было переоборудовано в столовую. Спальня императора вела в эти апартаменты с правой стороны. Эта комната была разделена на две равные части, образуя кабинет императора и спальню: небольшая внешняя галерея служила ванной комнатой. Напротив покоев императора, на другом конце здания, находились апартаменты мадам де Монтолон, ее мужа и сына, которые с тех пор использовались как библиотека императора. Отдельно от этой части дома находилась маленькая квадратная комната на первом этаже, примыкающая к кухне, которая была отведена мне. Моему сыну пришлось входить в свою комнату через люк и с помощью лестницы; это был всего лишь чердак, и в нем едва хватало места для его кровати. На наших окнах и кроватях не было занавесок. Те немногие предметы мебели, которые были в наших апартаментах, очевидно, были приобретены у жителей острова, которые, несомненно, с готовностью воспользовались возможностью выгодно распорядиться ими, чтобы обеспечить себя чем-нибудь получше.



РЕЗИДЕНЦИЯ НАПОЛЕОНА В ЛОНГВУДЕ.

Лондон: Опубликовано для Генри Колберна, февраль 1836г.

Великий маршал со своей женой и детьми был оставлен на расстоянии двух миль позади нас, в месте, называемом Воротами Хижины. Генерал Гурго спал в палатке, как и Доктор,^[27] и офицер, командующий нашей охраной, до тех пор, пока не будут готовы их апартаменты, которые экипаж "Нортумберленда" быстро готовил.

Мы были окружены чем-то вроде сада; но из-за того небольшого внимания, которое мы могли уделять его возделыванию, а также из-за нехватки воды и особенностей климата это был сад только по названию. Впереди, отделенный от нас довольно глубоким оврагом, расположился лагерь пятьдесят третий полк, разные части которого были размещены на соседних высотах.— Таким было наше новое жилище.

12-го числа полковник Уилкс (бывший губернатор Ост-Индской компании), которого сменил адмирал, прибыл с визитом к императору. Я выступал по этому случаю в качестве переводчика. 13 или 14-го "Минден" отплыл в Европу, и я воспользовался представившейся возможностью, чтобы отправить письма в Лондон и Париж.

УСТРОЙСТВО ЗАВЕДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА.—ЧУВСТВА ПЛЕННИКОВ ПО ОТНОШЕНИЮ ДРУГ К ДРУГУ.—ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА ИМПЕРАТОРА.—ПОРТРЕТ НАПОЛЕОНА РАБОТЫ М. ДЕ ПРАДТА, ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ.—ЕГО ОПРОВЕРЖЕНИЕ.

15-16—е гг. Домашняя прислуга императора после его отъезда из плимута состояла из двенадцати человек. Мне доставляет удовольствие записывать их имена: это свидетельство их привязанности.^[28] Каким бы многочисленным ни казалось это учреждение, можно с уверенностью сказать, что после нашего отъезда из Англии, во время плавания и со времени нашей высадки на острове Святой Елены оно перестало служить императору. Наша рассеянность, неопределенность нашего положения, наши потребности и нерегулярный способ их удовлетворения неизбежно создавали беспорядок.

Как только мы все собрались в Лонгвуде, император решил устроить свое заведение и назначить каждому из нас работу, соответствующую нашим способностям. Оставив за главным маршалом общий контроль и надзирание за всем домашним хозяйством, он поручил г-ну де Монтолону все домашние заботы. Г-ну Гурго он доверил управление конюшнями, а меня назначили присматривать за имуществом и мебелью, а также следить за нашими припасами. Последняя часть моих обязанностей, по-видимому, слишком сильно вмешивалась в регулирование бытовых деталей. Я решил, что было бы выгодно, если бы эти два отдела находились под контролем одного человека, и вскоре мне удалось достичь этой цели.

Теперь все шло сносно, и мы чувствовали себя определенно более комфортно, чем раньше. Но какими бы разумными ни были постановления, принятые императором, они, тем не менее, посеяли семена недовольства, которые пустили корни и время от времени давали о себе знать. Один считал себя проигравшим из-за перемен; другой стремился придать слишком большое значение своей должности; а третий считал, что с ним поступили несправедливо при общем распределении обязанностей. Мы больше не были членами одной семьи, каждый из которых прилагал все усилия, чтобы обеспечить преимущество целого. Мы были далеки от того, чтобы претворять в жизнь то, что, казалось, диктовала нам необходимость; и обломки роскоши или остатки честолюбия часто становились предметом споров.

Хотя привязанность к личности императора объединила нас вокруг него, все же случай, а не симпатия, свел нас вместе. Наша связь была чисто случайной, а не результатом какого-либо естественного родства. Таким образом, в Лонгвуде мы были окружены центром, но без какой-либо связи друг с другом. Как могло быть иначе? Почти все мы были чужими друг другу, и, к сожалению, наши разные условия, возраст и характеры были рассчитаны на то, чтобы так продолжалось и дальше.

Эти обстоятельства, хотя и были сами по себе незначительными, имели неприятный эффект, лишив нас наших самых приятных ресурсов. Они изгнали то доверие, тот обмен чувствами и тот интимный союз, которые рассчитаны на то, чтобы смягчить даже самые жестокие несчастья. Но, с другой стороны, именно эти обстоятельства способствовали развитию многих замечательных черт характера императора. Они проявлялись в его попытках вызвать среди нас единство и согласованность чувств; в его постоянной заботе устранить всякий справедливый повод для ревности; в добровольной рассеянности, с помощью которой он отводил свое внимание от того, чего не хотел замечать; и, наконец, в отеческих выражениях неудовольствия, объектами которых мы иногда становились и которых (к чести всех надо сказать) избегали так осторожно и принимали с таким уважением, как если бы они исходили с трона Тюильри.

Кто в мире может сейчас претендовать на то, что знает императора в его характере частного человека лучше, чем я?—Кто еще был с ним в течение двух месяцев одиночества в пустыне Брайарс?—Кто еще сопровождал его в его долгих прогулках при лунном свете и наслаждался столькими часами в его обществе? У кого, как и у меня, была возможность выбрать момент, место, и тему для разговора? Кто, кроме меня, слышал, чтобы он вспоминал прелести своего детства или описывал радости своей юности и горечь недавнего горя? Я убежден, что досконально знаю его характер и что теперь я могу объяснить многие обстоятельства, которые в момент их возникновения многим казались трудными для понимания. Теперь я могу очень хорошо понять то, что так сильно поразило нас и что особенно отличало его в дни его могущества; а именно, что ни один человек никогда надолго не навлек на себя неудовольствия Наполеона: каким бы заметным ни был его позор, в какую бы глубокую пропасть он ни был ввергнут, он все еще мог с уверенностью надеяться на восстановление благосклонности. Те, кто когда-то наслаждался близостью, какой бы повод для обиды они ему ни давали, никогда полностью не теряли его уважения. Император в высшей степени одарен двумя превосходными качествами; — обширным запасом справедливости и склонностью к привязанности от природы. Среди всех его раздражений и приступов гнева чувство справедливости все еще преобладает. Он обязательно прислушается к здравым аргументам и, если предоставить его самому себе, откровенно выдвигает их всякий раз, когда они приходят ему в голову. Он никогда не забывает ни оказанных ему услуг, ни приобретенных привычек. Рано или поздно он неизменно вспоминает о тех, кто, возможно, навлек на себя его неудовольствие; он размышляет о том, что они перенесли, считает их наказание достаточным, вспоминает о них, когда они, возможно, забыты миром; и они снова пользуются его благосклонностью, к удивлению как самих себя, так и других. Примеров этому было много. Император искренен в своих привязанностях, не показывая своих чувств. Когда он однажды привыкает к человеку, ему нелегко переносить разлуку. Он замечает и осуждает свои ошибки, винит свой собственный выбор, выражая свое неудовольствие самым неприкрытым образом; но все равно бояться нечего: это всего лишь множество новых связей.

Вероятно, вас удивит, что я обрисовал характер императора в таком простом стиле. Все, что обычно пишут о нем, притянуто за уши: считалось необходимым использовать антитезы и яркие краски; добиваться эффекта и напрягать воображение для высокопарных фраз. Со своей стороны, я просто описываю то, что я вижу, и выражаю то, что я чувствую. Это размышление, между прочим, приходит *само собой*.

Император сегодня читал со мной в английских газетах свой собственный портрет, нарисованный архиепископом Малинским и украшенный бесчисленными остротами, подчеркивающими антитезы и контрасты. Он пожелал, чтобы великий маршал переписал это слово в слово. ~~TheThe~~Ниже приведены основные моменты: “Ум наполеона, - говорит аббат де Прадт в своем послании в Варшаву в 1812 году, - был обширен; но в манере жителей Востока: и из-за противоречивого характера, он как бы под действием своей собственной тяжести опускался до деталей, которые по праву можно было бы назвать низменными. Его первая идея всегда была грандиозной, а вторая - подлой и мелочной. Его ум был подобен кошельку: щедрость и подлость держали друг друга на привязи. Его гений, который был одновременно приспособлен к мировой сцене и шоу шарлатана, напоминал королевскую мантию, соединенную с курткой арлекина. Он был человеком крайностей; тот, кто приказал Альпам склониться, Симплону сгладить свою неровность, а морю наступать или отступать от своих берегов, в конце концов сдался английскому крейсеру. Наделенный удивительной и бесконечной пронизательностью; блистающий остроумием; улавливающий или создающий в каждом вопросе новые и неосознаваемые связи; изобилующий живыми и живописными образами, одушевленными и заостренными выражениями, тем более убедительными из-за самой неточности своего языка, который всегда носил своего рода иностранный отпечаток; софистичный, утонченный и изменчивый до крайности, он перенял правила оптики, отличные от тех, которыми руководствуются другие люди. Прибавьте к этому упоение успехом, привычку пить из зачарованной чаши и опьянять себя благовониями мира: ивы можете составить представление о человеке, который, соединяя в своих капризах все возвышенное и подлое в человеческом характере, величественный в великолепии владычества и безапелляционный в управлении, со всем низменным, даже в своих величайших достижениях, соединяя вероломную засаду с ниспровержением тронов, представляет собой в целом такого Юпитера—Скапена, какого никогда прежде не изображали на портретах. сцена из жизни”.

Безусловно, здесь изобилие остроумия, причем самого изученного рода. Я пропускаю мимо ушей неприличный и позорный факт, что преподобный прелат, архиепископ, обремененный щедротами своего государя, которому во время его процветания он оказывал самое усердное ухаживание и расточал самую низменную лесть, должен, находясь в бедственном положении этого государя, позволять себе высказывания столь тривиальные, гротескные и оскорбительные, как процитированное выше. Не обращая внимания на *сюртук арлекина* и *Юпитера-Скапена*, я просто останавлиюсь на достоинствах суждения аббата де Прадта, когда он говорит, что “первая идея императора всегда грандиозна, а вторая мелочная; что он человек крайностей: тот, кто приказал Альпам склониться, Симплону сгладить свои неровности, а морю наступать и отступать от своих берегов, а в конце концов сдался английскому крейсеру”. Аббат де Прадт, должно быть, имел лишь слабое представление о возвышенности, величии и великодушии этого благородного поступка. Удалиться от народа, введенного в заблуждение вероломными интриганами, чтобы устранить все препятствия на пути к его благополучию; пожертвовать своими личными интересами ради предотвращения бедствий гражданской войны без общенациональных результатов; пренебречь почетными и безопасными, но

зависимыми убежищами; предпочесть убежище среди людей, которым он в течение двадцати лет был заклятым врагом; считать их великодушные равным своему собственному; уважать их законы настолько, чтобы верить, что они защитят его от остракизма со стороны властей. Европа: — конечно, такие идеи и чувства не являются обратной стороной возвышенного, благородного и великого.

В эту часть моего дневника было вставлено несколько страниц, полных подробностей, весьма дискредитирующих архиепископа Малинского, которые были получены из собственных уст императора или собраны от разных людей, окружавших его. Однако я вычеркиваю их, принимая во внимание удовлетворение, которое, как мне сообщили, император впоследствии испытал, ознакомившись с *Конкордатами* де Прадта. Со своей стороны, я вполне удовлетворен многочисленными другими свидетельствами того же характера, почерпнутыми из того же источника. Честное и добровольное признание в тысячу раз лучше, чем все те реплики, которые можно обрушить на обидчика. Есть люди, для которых искупление имеет должное значение; я один из них.

Сразу после того, как я написал вышеизложенное, мне довелось прочесть несколько строк, написанных аббатом де Прадтом, которые, безусловно, очень хороши с точки зрения дикции, но которые еще прекраснее благодаря своей справедливости. Я не могу удержаться от того, чтобы не привести их здесь, поскольку они вполне компенсируют те, которые уже цитировались. Декларация союзных государей в Лайбахе, в которой Наполеон с точки зрения осуждения был объявлен представителем Революции, вызвала следующие замечания архиепископа Малинского:

“Теперь, когда он беззащитен, слишком поздно оскорблять Наполеона, после того как он столько лет пресмыкался у его ног, в то время как у него была власть наказывать.... Те, кто вооружен, должны уважать обезоруженного врага, и слава победителя в значительной степени зависит от уважения, проявляемого к пленному, особенно когда он уступает превосходящей силе, а не гениальности. Слишком поздно называть Наполеона революционером после того, как в течение столь длительного времени его провозглашали восстановителем порядка во Франции, а через Францию и в Европе. Слишком поздно обрушивать стрелы оскорблений на того, кто когда-то протягивал ему руки как другу, клялся в своей верности ему как союзнику и стремился поддержать шатающийся трон, смешав свою кровь с его”. Далее он говорит: “*Он представитель революции!* Революция разорвала узы союза между Францией и Римом: он восстановил их. Революция ниспровергла храмы Всемогущего: он восстановил их. Революция создала два враждебных друг другу класса духовенства: он примирил их. Революция осквернила Сен-Дени: он очистил его и предложил искупление праху королей. Революция ниспровергла трон: он возвысил его и придал ему новый блеск. Революция изгнала французскую знать из их страны: он открыл им ворота Франции и своего дворца, хотя и знал, что они его непримиримые враги и по большей части враги общественных институтов; он реинкорпорировал их в общество, от которого они были отделены. Этот *представитель революции*, которая отличается эпитетом “антисоциальная”, привез из Рима главу католической церкви, чтобы помазать его чело маслом, которым освящают диадемы! Этот *представитель революции*, которая была объявлена враждебной суверенитету, наполнила Германию королями, повысила ранг принцев, восстановила высшую королевскую власть и воссоздала искаженную модель. Этот *представитель революции*, которая осуждается как принцип анархии, подобно другому Юстиниану, составил среди шума войны и ловушек

внешней политики те кодексы, которые являются наименее дефектной частью человеческого законодательства, и построил самую мощную правительственную машину во всем мире. Этот *представитель революции*, которую вульгарно обвиняют в том, что она ниспровергла все институты, восстановила университеты и государственные школы, наполнила свою империю шедеврами искусства и совершила те удивительные и колоссальные работы, которые делают честь человеческому гению: и все же перед лицом Альп, которые склонились по его приказу; океана, покоренного в Шербуре, Флашинге, Гельдере и Антверпене; рек, плавно текущих под мостами Йены, Серра, Бурдо и Турина; каналов, соединяющих моря в единое целое. курс, неподвластный Нептуну; наконец, перед лицом Парижа, преображенного Наполеоном, он объявлен агентом всеобщего разрушения! Говорят, что тот, кто восстановил все, является *представителем* того, что все разрушило! К каким неискушенным людям должен быть обращен этот язык? и т.д.”

МОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СУЩЕСТВЕННО УЛУЧШИЛОСЬ. —ИЗМЕНИЛАСЬ МОЯ СПАЛЬНЯ И Т. Д.

17—го. -Император вызвал меня в два часа, когда начал одеваться. Войдя, он заметил, что я выглядел бледным.: Я ответил, что это, возможно, из-за атмосферы моей комнаты, которая из-за своей близости к кухне была настоящей печью и часто наполнялась дымом. Затем он выразил пожелание, чтобы я постоянно занимал топографический кабинет, в котором я мог бы писать днем и спать ночью на кровати, которую адмирал оборудовал для самого императора, но которой он не пользовался, поскольку предпочитал свою собственную раскладушку. Когда он закончил одеваться и выбирал между двумя или тремя табакерками, которые лежали перед ним, он внезапно отдал одну из них своему камердинеру (Маршану): “Отложи это, - сказал он, - оно всегда бросается мне в глаза, и это причиняет мне боль”. Я не знаю, что было на этой табакерке; но я предполагаю, что это был портрет короля Рима.

Император вышел из своих покоев, и я последовал за ним; он пересек дом и вошел в мои покои. Увидев туалетное зеркало, он спросил, то ли это, которое он мне подарил. Затем, приложив руку к стене, которая обогревалась кухней, он снова заметил, что я никак не могу оставаться в этой комнате, и категорически настоял на том, чтобы я занял его кровать в топографическом кабинете, добавив тоном подкупающей доброты, что это “кровать друга”. Мы вышли и направились к жалкой ферме, которая была в пределах видимости. По пути мы увидели казармы китайцев. Эти китайцы - рабочие, которые зачисляются на борт английских кораблей в Макао и остаются на острове Святой Елены на службе Ост-Индской компании в течение определенного количества лет, когда они возвращаются домой, собрав небольшой запас денег, как это делают жители Оверни во Франции. Император хотел задать им несколько вопросов, но они не смогли нас понять. Затем мы посетили то, что называется фермой Лонгвуд, император был очарован этим названием; он ожидал найти одну из восхитительных ферм Фландрии или Англии; но это было всего лишь на уровне наших низших *метаорий*. После этого мы спустились в сад Компании, который разбит в ложине, где сходятся два противоположных оврага. Император позвал садовника и человека, который ухаживает за скотом Компании и присматривает за китайцами, которым он задал много вопросов. Он вернулся домой очень усталым, хотя мы прошли едва ли милю: это была его первая экскурсия.

Перед обедом император призвал меня и моего сына к нашему обычному занятию. Он сказал, что я бездельничал, и обратил мое внимание на моего сына, который смеялся у меня за спиной. Он спросил, почему он смеялся, и я ответил, что это, вероятно, потому, что его Величество мстил за него. “А! - сказал он, улыбаясь. - Я вижу, что играю здесь роль дедушки”.

ПРИВЫЧКИ И ЧАСЫ ИМПЕРАТОРА.—ЕГО ОБРАЩЕНИЕ К ДВУМ ИМПЕРАТРИЦАМ.— ПОДРОБНОСТИ.—ПРИНЦИПЫ ИМПЕРАТОРА ПО ПОВОДУ ПОЛИЦИИ.—ТАЙНАЯ ПОЛИЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПИСЕМ.—ЛЮБОПЫТНЫЕ ПОДРОБНОСТИ.— ИМПЕРАТОР ВЫСТУПАЕТ ЗА ФИКСИРОВАННУЮ И УМЕРЕННУЮ СИСТЕМУ ПРАВЛЕНИЯ.

18-19. Постепенно наши часы и привычки стали постоянными. Около десяти часов император завтракал в своих покоях, и один из нас иногда прислуживал ему. За столом домочадцев мы позавтракали почти в один и тот же час. Император разрешил нам оказывать честь этому столу так, как нам заблагорассудится, и приглашать к нему всех, кого мы сочтем нужным.

Часы прогулок императора еще не были назначены. Днем стояла невыносимая жара, а к вечеру быстро и обильно навалилась сырость. Некоторое время назад нам сообщили, что карета и верховые лошади прибывают с Мыса, но они так и не прибыли. В течение дня император был занят диктовкой различным лицам из своей свиты; и он обычно оставлял меня на время, предшествующее обеду, который подавался только в восемь или девять часов. Он потребовал моего присутствия около пяти или шести часов вместе с моим сыном. Я не мог ни писать, ни читать из-за состояния моих глаз, но мой сын смог заменить меня. Он писал под диктовку императора, и я присутствовал только для того, чтобы помочь ему впоследствии исправить его торопливые каракули; ибо по привычке я мог повторить почти буквально и полностью все, что было написано Императором.

Теперь, когда Итальянская кампания была закончена, мы начали ее пересматривать, а император исправил и продиктовал заново. Обедали мы, как я уже отмечал, между восемью и девятью часами. Стол был накрыт в комнате, ближайшей ко входу в дом. Госпожа де Монтолон сидела справа от императора, я - слева от него, а господа де Монтолон, Гурго и мой сын сели на противоположных местах. В комнате все еще пахло краской, особенно в сырую погоду; и хотя это было не очень неприятно, императору это порядком досаждало: поэтому мы просидели за столом не более десяти минут. Десерт был приготовлен в соседней комнате, которая служила гостиной, и мы снова уселись за стол. Затем подали кофе, и завязался разговор. Мы прочли несколько сцен из Мольера, Расина и Вольтера и всегда сожалели, что у нас нет экземпляра Корнеля. Затем мы поиграли в *реверсис*, который был любимой игрой императора в юности. Это воспоминание было ему приятно, и сначала он подумал, что сможет подолгу развлекать себя этим, но вскоре перестал обманываться. Мы играли в эту игру и во все ее разновидности, что сделало ее настолько сложной, что я видел, как одновременно использовалось от пятнадцати до восемнадцати тысяч фишек. Целью Императора всегда было сделать реверсис, то есть проделать каждый трюк, что непросто. Однако ему часто это удавалось: —характер развивается везде и во всем. Мы легли спать около десяти или одиннадцати часов.

Сегодня, 19-го, когда я засвидетельствовал свое почтение императору, он показал мне клевету на себя, которая попала к нему в руки, и попросил меня перевести ее. Среди массы другой ерунды были упомянуты некоторые частные письма, которые, как утверждалось, были

адресованы Наполеоном императрице Жозефине под торжественным названием *Мадам и шер Элуз*. Затем был сделан намек на группу шпионов и агентов, с помощью которых император знал частные дела каждой семьи во Франции и проникал в секреты всех кабинетов министров в Европе. Император не пожелал продолжать и заставил меня отложить книгу, сказав— “Это слишком абсурдно”. Дело в том, что в своей частной переписке Наполеон всегда обращался к императрице Жозефине очень немодно, используя местоимение “ты” (*tu*); и “моя хорошая маленькая Луиза” (*ma bonne petite Louise*) было формой, в которой он обращался к Марии Луизе.

Впервые я увидел бегущую руку императора в Сен-Клу, после битвы при Фридланде, когда императрица Жозефина развлекалась тем, что заставляла нас пытаться расшифровать записку, которую она держала в руке и которая, казалось, была написана иероглифами. В нем говорилось следующее: “Мои сыновья еще раз пролили свет на мою карьеру: победа при Фридланде будет вписана в историю наряду с победами при Маренго, Аустерлице и Йене. Вы заставьте выстрелить пушку; Камбасерес опубликует бюллетень”.

Мне снова посчастливилось увидеть записку, написанную рукой императора во время заключения Тильзитского мирного договора. В нем содержалось следующее: “Королева Пруссии действительно очаровательная женщина. Она любит кокетничать со мной; но не ревнуй: я подобен скатерти, по которой скользит все подобное, не проникая внутрь. Мне слишком дорого обошлась бы игра в галантность.

На эту тему в салоне Жозефины рассказывали анекдот. Рассказывали, что однажды у королевы Пруссии в руке была прекрасная роза, которую император попросил ее подарить ему. Королева несколько мгновений колебалась, а затем протянула его ему, сказав: “Почему я должна с такой готовностью исполнять твою просьбу, в то время как ты остаешься глух ко всем моим мольбам?” Она намекнула на крепость Магдебург, которую настойчиво просила его сдать. Такова была природа интимности и таких бесед, которые были столь бесстыдно искажены в английских произведениях определенной степени достоинства, где император описывался как дерзкий и жестокий тиран, стремящийся с помощью своих свирепых мамелюков посягнуть на честь прекрасной королевы прямо перед лицом ее несчастного мужа.

Что касается грандиозного механизма шпионажа и полиции, о котором так много говорилось, то какое государство на Континенте могло бы похвастаться меньшим количеством подобных зол, чем Франция; и все же какая страна больше нуждалась в них? Какие обстоятельства более настоятельно требовали их? Каждая брошюра, опубликованная в Европе, была направлена против Франции с целью сделать одиозным в другой стране то, что считалось целесообразным скрывать у себя дома. Тем не менее, однако, эти меры, столь необходимые в принципе, хотя, несомненно, ненавистные в своих деталях, рассматривались императором лишь в общих чертах и всегда со строгим соблюдением его неизменной максимы, согласно которой не должно делаться ничего, что не является абсолютно необходимым. В Государственном совете я часто слышал, как он расследует эти вопросы; расследует их с особой тщательностью; исправляет злоупотребления и стремится предотвратить зло, а также назначает комитеты своего Совета для посещения тюрем и представления ему отчетов. Поскольку я сам участвовал в миссии подобного рода, у меня была возможность наблюдать за проступками и злоупотреблениями младших агентов; и, в то же время, я знал о горячем желании государя пресечь их.

Император обнаружил, что эта ветвь администрации в определенной степени противоречит устоявшимся предрассудкам и мнениям; и поэтому он хотел возвысить ее в глазах народа, передав под контроль человека, чей характер был неподвластен порицанию. В 1810 году он вызвал государственного советника барона... в Фонтенбло. Барон был эмигрантом, или что почти то же самое. Его семья, его раннее образование, его прежние взгляды — все было рассчитано на то, чтобы сделать его объектом подозрений для человека более недоверчивого, чем Наполеон. В ходе беседы император сказал: “Если бы граф де Лилль оказался сейчас в Париже, и вам было бы поручено руководство полицией, вы бы арестовали его?” — “Да, конечно, — ответил государственный советник, — потому что тем самым он нарушил бы свой запрет и потому что его появление противоречило бы всем существующим законам”. — “Если бы вы были членом комиссии, назначенной судить его, осудили бы вы его?” — “Да, несомненно; ибо законы, которым я поклялся повиноваться, потребовали бы, чтобы он был арестован”. чтобы я осудил его“. - ”Очень хорошо! - сказал император. - Возвращайтесь в Париж: я назначаю вас своим префектом полиции“.

Что касается проверки писем при правительстве Наполеона, то, что бы ни говорилось публично по этому поводу, император заявил, что на почте, безусловно, читалось очень мало писем. Те из них, которые были доставлены частным лицам в открытом или повторно запечатанном виде, по большей части не были прочитаны: прочитать все было бы бесконечной задачей. Система проверки писем была принята с целью предотвращения, а не обнаружения опасной корреспонденции. На письмах, которые были действительно прочитаны, не было никаких следов вскрытия, настолько эффективными были примененные меры предосторожности. “Со времен правления Людовика XIV, - сказал император, - существовало управление политической полиции для обнаружения иностранной корреспонденции, и с того периода делами этого ведомства управляли одни и те же семьи, хотя личности и их функции были одинаково неизвестны. Это была во всех отношениях официальная должность. Лица, руководившие этим отделом, получили образование за большие деньги в разных столицах Европы. У них были свои особые представления о приличиях, и они всегда проявляли нежелание просматривать домашнюю переписку: она, однако, также находилась под их контролем. Как только имя какого-либо лица вносилось в списки этого важного ведомства, его герб и печати немедленно выгравировывались в канцелярии; и таким образом, его письма после прочтения запечатывались и доставлялись без каких-либо подозрительных следов. Эти обстоятельства в сочетании с серьезным злом, которое они могли причинить, и важными результатами, к которым они были способны привести, составляли огромную ответственность должности генерального почтмейстера и требовали, чтобы ее исполнял человек благоразумный, рассудительный и интеллигентный ”. Император высоко оценил г-на де Лавалетта за то, как он исполнял свои обязанности.

Император отнюдь не благосклонно относился к системе проверки корреспонденции. Что касается полученной таким образом дипломатической информации, то он не считал ее достаточной ценностью, чтобы компенсировать понесенные расходы, поскольку учреждение обошлось в 600 000 франков. Что касается рассмотрения писем граждан, то он рассценил это как меру, рассчитанную на то, чтобы причинить больше вреда, чем пользы. “Редко бывает, ” сказал он, “ чтобы заговор осуществлялся по таким каналам; и что касается индивидуальных мнений, полученных из эпистолярной переписки, то они могут быть скорее опасны, чем полезны для государя, особенно среди такого народа, как французы. На кого только наша национальная непостоянство и непостоянство не заставят нас жаловаться? Человек, которого я, возможно,

оскорбил своим поведением, напишет сегодня, что я тиран, хотя всего лишь вчера он осыпал меня похвалами, и, возможно, завтра будет готов отдать свою жизнь, чтобы служить мне. Следовательно, нарушение тайны переписки может привести к тому, что принц потеряет своих лучших друзей, поскольку неправомерно внушит ему недоверие и предубеждение ко всем; особенно потому, что враги, способные причинить вред, всегда достаточно хитры, чтобы не подвергать себя такого рода опасности. Некоторые из моих министров были настолько осторожны в этом отношении, что мне так и не удалось обнаружить ни одного из их писем”.

Кажется, я уже упоминал, что по возвращении императора с Эльбы в апартаментах г-на Де Блака в Тюильри были обнаружены многочисленные петиции и письма, в которых о Наполеоне отзывались самым неприличным образом. Он приказал сжечь их. “Из них получилась бы самая отвратительная коллекция”, - сказал император. “На мгновение мне пришла в голову мысль поместить некоторые из них в “Монитор”. Они опозорили бы определенных людей, но не преподали бы нового урока человеческому сердцу: люди всегда одинаковы!”

Император был далек от того, чтобы знать обо всех мерах, принимаемых полицией от его имени в отношении сочинений отдельных лиц; у него не было ни времени, ни возможности расследовать их. Теперь он ежедневно узнает от нас или из брошюр, случайно попадающих к нему на пути, об арестах отдельных лиц или о запрете произведений, о которых он никогда раньше не слышал.

Говоря о произведениях, которые были запрещены полицией во время его правления, император заметил, что, имея много свободного времени во время своей резиденции на Эльбе, он развлекался тем, что просматривал некоторые из этих произведений, и что он часто не мог понять мотивов, побудивших полицию их запретить.

Затем он перешел к разговору на тему свободы и ограничений прессы. По его словам, это бесконечный вопрос, который не допускает посредничества. Главная трудность, по его словам, заключалась не в самом принципе, а в обращении с обвиняемой стороной или обстоятельствах, при которых могло возникнуть необходимость применить принцип, взятый в абстрактном смысле. Император был бы сторонником неограниченной свободы. Во всех наших беседах на острове Святой Елены он постоянно рассматривал каждый важный вопрос с одной и той же точки зрения и с использованием одних и тех же аргументов. Таким образом, Наполеон действительно был и должен оставаться в глазах потомков типом, эталоном и государем либеральных взглядов; они принадлежали его сердцу, его принципам и его уму. Если иногда казалось, что его действия расходятся с этими представлениями, то это было тогда, когда на него властно влияли обстоятельства. Это подтверждается следующим фактом, которому я сейчас придаю большее значение, чем тогда, когда он впервые стал мне известен.

На одном из званых вечеров в Тюильри Наполеон, беседуя в сторонке с тремя или четырьмя придворными, столпившимися вокруг него, завершил дискуссию по важному политическому вопросу следующими примечательными словами: “Что касается меня, то я принципиально и естественно выступаю за твердое и умеренное правительство”. И, заметив, что лицо одного из собеседников выразило удивление: “Вы мне не верите!” - продолжал он. “Почему бы и нет? Это потому, что мои поступки, по-видимому, не согласуются с моими словами? Мой дорогой сэр, как мало вы знаете о людях и вещах! Неужели сиюминутная необходимость - ничто в ваших глазах? Если бы я ослабил поводья хотя бы на мгновение, у нас был бы настоящий беспорядок; ни вы, ни я, вероятно, не проспали бы еще одну ночь в Тюильри”.

ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА ИМПЕРАТОРА ВЕРХОМ.—СТРОГОСТЬ МИНИСТЕРСКИХ ИНСТРУКЦИЙ.—НАШИ ДОСАДЫ И ЖАЛОБЫ.—ЗАМЕЧАНИЯ ИМПЕРАТОРА.—ГРУБЫЕ ОТВЕТЫ.

20-23-го. Император сел на коня после завтрака. Мы направились к ферме: мы нашли фермера в саду Компании, и он сопровождал нас по всей территории. территория. Император задал ему ряд вопросов, касающихся его фермы, как он обычно делал во время своих охотничьих вылазок в окрестности Версаля, где он обсуждал с фермерами мнения Государственного совета, чтобы, в свою очередь, донести до Совета возражения фермеров. Мы продвигались по землям Лонгвуда параллельно долине, пока, не найдя дальнейшей дороги для лошадей, не были вынуждены повернуть назад. Затем мы пересекли небольшую долину, достигли высоты, на которой стояли лагерем войска, продвинулись к холму Аларминг и, перевалив через его вершину, оказались за пределами лагеря, недалеко от Дома Аларминг, на дороге, ведущей из Лонгвуда к резиденции мадам Бертран. Император сначала предложил навестить ее, но примерно на полпути к месту назначения передумал, и мы вернулись в Лонгвуд.

Инструкции английских министров относительно императора на острове Святой Елены были продиктованы в том позорном духе суровости, который в Европе побуждал к грубому нарушению международного права. Английский офицер должен был постоянно находиться за столом императора; эта жестокая мера, конечно, была рассчитана на то, чтобы лишить нас удобств фамиллярного общения. Приказ не был приведен в исполнение только потому, что император, если бы он был приведен в исполнение, принимал бы пищу в своих собственных покоях. У меня есть очень веские основания полагать, что он сожалел, что не сделал этого на борту "Нортумберленда". Английский офицер должен был сопровождать императора в его конных прогулках: это было серьезной помехой, из-за которой его мысли ни на мгновение не могли отвлечься от его прискорбного положения. Этот приказ, однако, не был приведен в исполнение в определенных пределах, которые были предписаны нам, потому что император заявил, что он вообще не будет ездить верхом на таких условиях.

В нашем печальном положении каждый день приносил с собой какую-нибудь новую причину беспокойства; мы постоянно испытывали какие-нибудь новые уколы, которые казались тем более жестокими, что нам было суждено терпеть их еще долгое время. Какими бы рваными ни были, несомненно, наши чувства, мы остро ощущали каждую свежую рану; и мотивы, которые приписывались нашим досадам, часто принимали вид иронии. Таким образом, под окнами императора и перед нашими дверями были выставлены часовые; и нам сообщили, что это было сделано для нашей безопасности. Нам препятствовали в общении с жителями острова; нас поместили в своего рода тесное заточение; и нам сказали, что это было сделано для того, чтобы избавить императора от всяких неприятностей. Пароли и приказы постоянно менялись; мы жили в постоянном замешательстве и опасении подвергнуться какому-нибудь непредвиденному оскорблению. Император, чьи чувства были живы ко всему этому, решил написать адмиралу через г-на де Монтолона. Он говорил с теплотой и высказал несколько замечаний, достойных внимания. "Пусть адмирал не думает," сказал он, "что я буду вести с ним переговоры по какому-либо из этих вопросов. Если бы он предстал передо мной завтра, несмотря на мое справедливое негодование, он нашел бы мое лицо таким же безмятежным, а нрав таким же невозмутимым, как обычно. Это было бы не результатом притворства с моей стороны, а просто плодом опыта. Я вспоминаю, что лорд Уитворт однажды наполнил Европу

рассказом о своем долгом разговоре со мной, едва ли хоть одно слово из которого было правдой. Но это была моя вина, и это научило меня быть более осторожным в будущем. Император правил слишком долго, чтобы не знать, что он не должен полагаться на усмотрение кого бы то ни было, кто может иметь возможность сказать ложь: *император сказал мне то-то и то-то*; в то время как у императора может не быть средств подтвердить или опровергнуть это утверждение.

“Один свидетель ничем не хуже другого. Следовательно, необходимо нанять кого-нибудь, кто мог бы сказать рассказчику, что, приписывая императору такие-то слова, он лжет и что он готов дать ему удовлетворение за это выражение, чего не может сделать сам император”.

Письмо месье де Монтолона было выдержано в резких выражениях; ответ был оскорбительным и грубым: *“На острове Святой Елены не знали такого понятия, как император; справедливость и умеренность английского правительства по отношению к нам были бы предметом восхищения будущих поколений и т.д.”*. Доктору О'Мире было поручено сопроводить этот письменный ответ словесными дополнениями самого оскорбительного характера: спросить, например, желает ли император, чтобы адмирал посылал ему различные отвратительные клеветнические и анонимные письма, которые были получены и адресованы ему, и т.д.

Я был занят с императором в то время, когда ему был передан этот ответ. Я не мог скрыть своего удивления и возмущения некоторыми использованными выражениями. Но мы могли позволить философии занять место негодования: достаточно было осознать, что любое удовлетворение было вне нашей досягаемости. Обратиться с прямой жалобой к принцу-регенту, возможно, означало бы доставить удовольствие этому принцу, а также дать рекомендацию тому, кто нас оскорбил. Кроме того, Император не мог обращаться с жалобами ни к одному человеку на земле: он мог апеллировать только к Небесным трибуналам, народам и потомству.

23-го числа с мыса прибыл фрегат "Дорис" с семью лошадьми, которые были приобретены там для императора.

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ИМПЕРАТОРА ПОПУЛЯРНОСТЬЮ; ЕГО ДОВОДЫ И Т.п.— РАЗГОВОР О МОЕЙ ЖЕНЕ.—О МАТЕРИ И СЕСТРЕ ГЕНЕРАЛА ГУРГО.

24—го. Император читал какую-то публикацию, в которой его заставляли говорить в слишком любезном тоне; и он не мог удержаться от восклицания против ошибки автора. “Как они могли вложить эти слова в мои уста?” - сказал он. “Это слишком нежно, слишком сентиментально для меня: все знают, что я так не выражаюсь”. “Сир, ” ответил я, “ это было сделано с добрым намерением; поступок сам по себе невинен и, возможно, произвел бы хороший эффект. Эта репутация дружелюбия, которую вы, по-видимому, презираете, могла бы оказать большое влияние на общественное мнение; она могла бы, по крайней мере, нейтрализовать эффект окраски, в которой определенная европейская система ложно представила ваше Величество миру. Ваше сердце, с которым я теперь знаком, несомненно, так же хорошо, как у Генриха IV, которого я не знал. Так вот, его дружелюбный характер все еще вошел в поговорку: его по-прежнему почитают как идола; и все же я подозреваю, что Генрих IV. был немного шарлатаном. И почему ваше величество пренебрегли этим? У вас слишком большое отвращение к этой системе. В конце концов, шарлатанство правит миром, и это счастье, когда оно оказывается всего лишь невинным”.

Император посмеялся над тем, что он назвал моей прозой. “В чем, - сказал он, - преимущество популярности и дружелюбия характера?” Кто обладал этими качествами в большей степени, чем несчастный Людовик XVI? И все же, какова была его судьба? Его жизнь была принесена в жертву!—Нет! государь должен достойно служить своему народу, а не делать своим главным занятием угождение ему. Лучший способ завоевать его любовь - обеспечить его благосостояние. Нет ничего опаснее для государя, чем льстить своим подданным: если они впоследствии не получают всего, чего хотят, они раздражаются и воображают, что обещания были нарушены; и если им затем оказывают сопротивление, их ненависть возрастает пропорционально тому, насколько они считают себя обманутыми. Первая обязанность государя, несомненно, состоит в том, чтобы соответствовать желаниям народа; но то, что говорит народ, едва ли когда-либо является тем, чего он хочет: его желания и чаяния нельзя узнать из его собственных уст так хорошо, как их можно прочесть в сердце его государя.

“Каждая” система, без сомнения, может быть сохранена: как мягкая, так и строгая. У каждого есть свои преимущества и свои недостатки, ибо все в этом мире взаимно уравновешено. Если вы спросите меня, какая была польза от моих суровых форм и выражений, я отвечу, чтобы избавить меня от боли от наказания, которым я угрожал. Какой вред я все-таки причинил? Какую кровь я пролил? Кто может похвастаться, что, оказавшись он в моем положении, он мог бы добиться большего успеха? Какой исторический период, демонстрирующий что-либо подобное трудностям, с которыми я был окружен, дает такие безвредные результаты? В чем меня упрекают? Были изъяты мои правительственные архивы и личные бумаги; но что же там было найдено для публикации миру? Все монархи, находящиеся, как и я, среди фракций, беспорядков и заговоров, окружены убийствами и казнями! Однако во время моего правления какое внезапное спокойствие воцарилось во Франции!— Вы, без сомнения, поражены такой цепочкой размышлений, - продолжал он, улыбаясь, - вы, кто часто проявляет мягкость и простодушие ребенка.

Я не мог не признать силу его аргументов и теперь, в свою очередь, утверждал, что обе системы могут иметь свои особые преимущества. “Каждый индивид, - сказал я, - должен формировать для себя характер посредством образования; но в то же время он должен быть осторожен в том, чтобы заложить его основу на характере, который он получил от Природы; в противном случае он рискует потерять преимущества последнего, не приобретя тех качеств характера, которые он желает приобрести; и его образование может оказаться инструментом для введения его в заблуждение. В конце концов, течение жизни человека - это истинный результат проявления его характера и надлежащий критерий, по которому о нем следует судить. На что же тогда я могу жаловаться? Из низшей степени нищеты я собственными усилиями поднялся до сносной независимости; и с улиц Лондона я поднялся к ступеням вашего трона и к скамьям вашего Совета; и все это тоже без причины краснеть в присутствии кого бы то ни было за то, что я когда-либо говорил, писал или делал. Разве я тогда тоже не совершал свои маленькие чудеса по своему? Что я мог бы сделать лучше, если бы моему характеру придали другой оборот?”

Здесь разговор был прерван вошедшим человеком, который сообщил, что адмирал и несколько дам, прибывших на "Дориде", просят о милости быть представленными императору; но он сухо ответил, что никого не желает принимать и не желает, чтобы его беспокоили.

В наших нынешних обстоятельствах личная вежливость адмирала воспринималась лишь как дополнительное оскорбление: а что касается тех, кто его сопровождал, поскольку никто не мог

приблизиться к нам без разрешения адмирала, император не пожелал, чтобы почести его персоне оказывались таким образом. Если предполагалось, что он должен оставаться в тесном заключении, ему следовало сказать об этом; но если нет, ему должно быть позволено видаться с кем ему заблагорассудится без вмешательства кого бы то ни было. Прежде всего, было несправедливо, что в Европе притворялись, что окружают его всевозможным вниманием и уважением, в то время как, напротив, они раздражали его всевозможными непристойностями и капризами.

Император вышел в сад в пять часов. Полковник 53-го полка встретил его там и попросил разрешения представить ему на следующий день офицеров своего полка. Император удовлетворил его просьбу и назначил время для их приема на три часа. Полковник откланялся, и мы продолжили нашу прогулку. Император ненадолго остановился, чтобы посмотреть на цветок на одной из клумб, и спросил меня, не лилия ли это. Это была действительно великолепная лилия.

После обеда, когда мы играли в нашу обычную игру в *реверсис*, от которой император постепенно начал уставать, он внезапно повернулся ко мне и спросил: “Как ты думаешь, где сейчас находится мадам Лас Касес?” — “Увы, сир, - ответил я, - Бог свидетель!” — “Она в Париже, - продолжал он. “ сегодня вторник; сейчас девять часов; она сейчас в опере”. — “Нет, сир, она слишком хорошая жена, чтобы ходить в театр, пока я здесь”. — “Говорит как истинный муж, - сказал император, смеясь, “ всегда самоуверенный и легковерный!” Затем, повернувшись к генералу Гурго, он призвал его в том же стиле относиться к его матери и сестре. Гурго казался очень удрученным, и глаза его наполнились слезами, которые император, заметив, искоса взглянул на него и сказал в самой интересной манере: “Каким злым, варварским и тираническим я должен быть, чтобы так шутить со столь нежными чувствами!”^[29]

Затем император спросил меня, сколько у меня детей, и когда и как я познакомился с мадам Лас Касес. Я ответил, что моя жена была первым знакомым в моей жизни; что наш брак был узами, которые мы сами связали в ранней юности, но что для его завершения потребовалась большая часть событий Революции.

ИМПЕРАТОРА ЧАСТО РАНИЛИ В ЕГО ПОХОДАХ.—КАЗАКИ.—ИЕРУСАЛИМ ОСВОБОЖДЕН

25-е число. Император, который плохо себя чувствовал накануне вечером, сегодня утром все еще был нездоров и прислал сообщение, что он не сможет принять офицеров 53-го полка, как он назначил. Он послал за мной примерно в середине дня, и мы снова просмотрели несколько глав “Итальянской кампании”. Я сравнил то, что повествует о битве при Арколе, с книгой “Илиада”.

Незадолго до ужина он собрал нас всех вокруг себя в своей комнате. Вошел слуга, чтобы объявить, что обед готов; он отослал нас, но, поскольку я выходил последним, он позвал меня обратно. “Оставайся здесь, - сказал он, - мы пообедаем вместе. Пусть молодежь уходит; мы, старики, составим друг другу компанию”. Затем он решил одеться, намереваясь, как он сказал, пойти в гостиную после обеда.

Одеваясь, он положил руку на левое бедро, где был глубокий шрам. Он привлек мое внимание к нему, ткнув в него пальцем; и, обнаружив, что я не понимаю, что это такое, он сказал мне, что

это след от штыковой раны, из-за которой он чуть не потерял конечность при осаде Тулона. Маршан, который перевязывал его, позволил себе заметить, что это обстоятельство было хорошо известно на борту "Нортумберленда"; что один из членов команды сказал ему, когда он поднимался на борт, что первым ранил нашего императора англичанин.

Император по этому поводу заметил, что люди в целом удивлялись и много говорили об исключительной удаче, которая сохранила его, так сказать, неуязвимым во стольких битвах. "Они ошибались, - добавил он. - единственная причина заключалась в том, что я всегда скрывал все свои опасности". Затем он рассказал, что под его началом были убиты три лошади при осаде Тулона; несколько других были убиты и ранены в его походах в Италию; и три или четыре при осаде Сен-Жан-д'Акра. Он добавил, что был несколько раз ранен; что в битве при Ратисбоне пуля попала ему в пятку; а в битве при Эслинге, или Ваграме, я не могу сказать, в какой именно, другая пуля порвала ему ботинок и чулок и оцарапала кожу на левой ноге. В 1814 году он потерял лошадь и шляпу в Арси-сюр-Об или в его окрестностях. После битвы при Бриенне, когда он возвращался вечером в штаб-квартиру в меланхолическом и задумчивом настроении, на него внезапно напали несколько казаков, перешедших в тыл армии. Он оттолкнул одного из них рукой и вынужден был обнажить саблю в свою защиту; несколько казаков были убиты рядом с ним. "Но что делает это обстоятельство весьма необычным, - сказал он, - так это то, что это произошло возле дерева, которое в тот момент привлекло мое внимание и в котором я узнал то самое, под которым, когда мне было всего двенадцать лет, я обычно сидел во время игр и читал "Освобожденный Иерусалим"". ... Несомненно, именно на этом месте Наполеона впервые воспламенила жажда славы!

Император повторил, что он очень часто подвергался опасности в своих различных сражениях, но это тщательно держалось в секрете. Он раз и навсегда предписал хранить абсолютное молчание обо всех обстоятельствах подобного рода. Он сказал, что было бы невозможно подсчитать путаницу и беспорядок, которые могли бы возникнуть в результате малейшего сообщения или малейшего сомнения относительно его существования. От его жизни зависела судьба великой империи, а также вся политика и судьбы Европы. Он добавил, что эта привычка держать обстоятельства такого рода в секрете помешала ему рассказывать о них в своих кампаниях; и действительно, теперь он почти забыл о них. По его словам, они могли прийти ему в голову только случайно и в ходе разговора.

МОЙ РАЗГОВОР С АНГЛИЧАНИНОМ.

26—го.-Император продолжал чувствовать недомогание.

Один из английских джентльменов, жене которого вчера было отказано во въезде, вместе с адмиралом нанес мне визит сегодня утром с целью предпринять еще одну и последнюю попытку быть представленным Наполеону. Этот джентльмен очень хорошо говорил по-французски, поскольку прожил во Франции всю войну. Он был одним из тех людей, которые были известны в то время под именем *детенус*: которые, посетив Францию в качестве путешественников, были арестованы там Первым консулом после разрыва Амьенского мирного договора в качестве возмездия за захват наших торговых судов английским правительством, согласно его обычаю, до объявления войны. Это событие вызвало долгую и оживленную дискуссию между двумя правительствами и даже предотвратило в течение всей войны создание картеля по обмену пленными. Английские министры упорно отказывались рассматривать своих задержанных соотечественников в качестве заключенных, опасаясь, что

они при этом неявно откажутся от того, что, возможно, можно назвать их *правом на пиратство*. Однако их упорство стоило их соотечественникам длительного плена. Они пробыли во Франции более десяти лет; их отсутствие было таким же долгим и утомительным, хотя и не таким славным, как у осаждавших Трою.

Этот английский джентльмен был шурином адмирала Бертона, командующего индийской базой, который недавно скончался. Это обстоятельство, весьма возможно, обеспечило бы ему немедленную связь с министрами по прибытии в Англию. Возможно, адмирал назначил бы его носителем разведданных о нас. Поэтому вместо того, чтобы отказаться от разговора, я продлил его. Это продолжалось более двух часов, и все было рассчитано с моей стороны с учетом того, что он мог бы повторить адмиралу или сообщить правительству или частным кругам Англии. Я не буду утомлять своих читателей пересказом этого. Они нашли бы только одно и то же вечное перечисление наших упреков и обид: повторение наших жалоб и досады: постоянное разоблачение нарушения тех законов, которые почитаются самыми священными; надругательства над нашей добросовестностью; высокомерия, наглости и мелочной наглости власти. Я особо остановился на жестоком обращении, которому мы здесь подвергались, и на капризах человека, который был назначен нашим зрителем. “Его слава,” сказал я, “должна заключаться не в угнетении, а в освобождении нас. Своим вниманием он должен постараться заставить нас забыть обо всей строгости и несправедливости политики его страны. Может ли он заслужить осуждение человечества, когда его удача позволяет ему славно связать свое имя с именем человека эпохи, героя истории? Может ли он возражать, что связан его инструкциями? Но даже тогда, в духе наших европейских манер, честь позволяет ему интерпретировать их соответствующим образом”.

Англичанин слушал меня с большим вниманием. Казалось, иногда он проявлял особый интерес к тому, что я говорил, и выражал свое одобрение некоторым моим замечаниям. Но был ли он искренен и не выразит ли он в Лондоне совсем другие чувства?

Всякий раз, когда корабль прибывает в Англию со острова Святой Елены, государственные газеты немедленно публикуют различные истории о пленниках в Лонгвуде, настолько ложные и абсурдные по своей природе, что они неизбежно должны вызывать смех у широких масс общественности. Когда мы выразили наше возмущение этими пустыми слухами в присутствии здесь почтенных и выдающихся англичан, они ответили: “Не обманывайте себя, эти ложные сообщения исходят не от наших соотечественников, которые посещают вас; но от наших министров в Лондоне; ибо к избытку и насилию власти администрация, которой мы сейчас правим, добавляет всю низость самых низких и подлых интриг”.

О ФРАНЦУЗСКИХ ЭМИГРАНТАХ.—ДОБРОТА, ПРОЯВЛЕННАЯ АНГЛИЧАНАМИ.—РЕСУРСЫ ЭМИГРАНТОВ.

27—го. -Император почувствовал себя лучше и около часа дня выехал верхом. По возвращении он принял офицеров 53-го полка и вел себя с ними самым дружелюбным и снисходительным образом.

После этого визита император, пожелавший, чтобы я остался с ним, прогулялся по саду. Там я рассказал ему о разговоре, который у меня состоялся накануне с англичанином. Затем он задал мне несколько вопросов, касающихся французских эмигрантов, Лондона и англичан. Я сказал ему, что, хотя эмигранты в целом не любили англичан, все же было мало таких, кто не

привязался к тому или иному англичанину; что, хотя англичане не любили эмигрантов, все же было немного английских семей, которые не проявляли дружелюбия к некоторым французам. Это реальный ключ к тем чувствам и сообщениям, столь часто противоречивым, с которыми приходится сталкиваться по этому вопросу. Что касается доброты, которую мы получили от англичан, особенно от среднего класса, у которого всегда следует учиться характеру нации, то она не поддается никакому выражению и налагает на нас тяжкий долг благодарности. Было бы трудно перечислить частные благодеяния, благотворительные учреждения и благотворительные меры, с помощью которых были облегчены наши страдания. Пример отдельных людей побудил правительство помогать нам регулярными пособиями; и даже когда они были предоставлены, частная благотворительность не прекратилась.

Присутствующий здесь император спросил меня, был ли я участником грантов, предоставленных английским правительством: Я сказал ему, что испытывал большее удовольствие оттого, что был обязан поддержкой исключительно своим собственным усилиям; и что состояние общества и поощрение промышленности в Англии были таковы, что с этим чувством человек был уверен в успехе. В двух случаях у меня была возможность разбогатеть: Кольбер, епископ Родезский, уроженец Шотландии, который очень любил меня, предложил мне сопровождать его брата на Ямайку, где он был назначен главой исполнительной власти и где он был одним из самых значительных плантаторов. Он доверил бы мне управление своим имуществом и нашел бы для меня другую работу того же рода. Епископ заверил меня, что за три года я сколочу состояние. Однако я не мог заставить себя уехать; я предпочел продолжать жить в бедности, а не удаляться на большее расстояние от французского берега.

“В другой раз, ” продолжал я, “ некоторые друзья хотели убедить меня поехать в Индию, где я получил бы работу и покровительство, и были уверены, что за короткое время я заработаю значительное состояние. Но я отказался. Я считал себя слишком старым, чтобы путешествовать так далеко. Это было двадцать лет назад; и все же я сейчас на острове Святой Елены.

Однако мало кто испытывал большие трудности, чем я, в начале моей эмиграции и наслаждался большим комфортом ближе к ее концу. Я не раз оказывался на грани полного отсутствия всего. Тем не менее, я никогда не был обескуражен или удручен. Я утешал себя сокровищем философии и сравнивал свое собственное положение с положением многих окружающих меня людей, которые были еще более несчастны, чем я сам: со стариками и старухами, например, с теми, кто был лишен образования или кто, не обладая способностями, необходимыми для овладения иностранным языком, был таким образом отрезан от всех ресурсов. Я был молод, полон надежд и способен к напряжению. Я учил тому, чего сам не очень хорошо знал, всему, что от меня требовали, и за ночь я выучил то, чему мне, возможно, придется учить на следующий день. Мой исторический атлас был удачной идеей, которая открыла передо мной золотую жилу. Однако в тот период я осуществил лишь наброски своего плана; но в Лондоне все поощряется, все продается; и, более того, Небеса благословили мои усилия. Я высадился в устье Темзы и добрался до Лондона пешком, всего с семью луидорами в кармане, без друга, без знакомых, в чужой стране; но я покинул ее в почтовой карете, у меня было 2500 гиней, и я приобрел много дорогих друзей, ради служения которым я с радостью пожертвовал бы своей жизнью”.

“Но, предположив, что я был бы эмигрантом, - сказал император, - какова была бы моя судьба?” Он рассматривал различные профессии, но остановился на жизни солдата. “В конце концов, я

должен был завершить свою карьеру”, — сказал он. “Это не совсем точно”, - заметил я. “ Сир, вы были бы задушены в толпе. По прибытии в Кобленц в любом французском корпусе вы были бы размещены в соответствии с вашим званием в списке, без какой-либо возможности выйти за его пределы; ибо мы строго соблюдали формы” и т.д.

Затем император поинтересовался, когда и как я вернулся во Францию. “После заключения Амьенского мира, - сказал я, - воспользовавшись вашей амнистией, я все же присоединился к английской семье и пробрался туда своего рода контрабандным путем, чтобы добраться до Парижа раньше, чем это было бы в противном случае. Сразу по прибытии туда, опасаясь скомпрометировать эту семью, я лично отправился делать заявление в полицию и получил бумагу, которую я должен был предъявлять для проверки раз в неделю или раз в месяц. Я не обратил на это внимания; но из-за моего пренебрежения со мной ничего не случилось. Я решил вести себя осмотрительно и поэтому чувствовал удовлетворение от того, что мне нечего бояться. Однако в какой-то момент я понял, что мое намерение могло дорого мне обойтись: это было во время самого сильного кризиса в отношениях Жоржа и Пишегрю. Вечера я обычно проводил в обществе близких друзей в своем собственном доме; я почти никогда не выходил на улицу. Однако в этот раз, побуждаемый судьбой или, может быть, сильным интересом, который я проявлял к происходящим событиям, я прогуливался по Сен-Жерменскому предместью довольно поздно вечером. Я пропустил дорогу к мосту Людовика XVI. который я так хорошо знал, и вышел на бульвар Инвалидов, не понимая, где нахожусь. Число постов повсюду было увеличено, и каждый состоял из удвоенной охраны. Я спросил дорогу у одного из часовых и отчетливо услышал, как его товарищ, находившийся в нескольких ярдах от меня, спросил его, почему он не остановил меня; он ответил, что я не причиняю никакого вреда. Я поспешил домой так быстро, как только мог, в ужасе от опасности, которой я так чудом избежал. Формально я был противником полиции: обстоятельства моей эмиграции, мое имя, мои привычки и мои взгляды - все это приводило к отождествлению меня с недовольными. Любое расследование, которое могло бы быть возбуждено в отношении меня, нанесло бы мне ущерб. Я не мог сослаться ни на кого; и что встревожило меня еще больше, так это то, что в моем кармане нашли бы пять гиней. Я, правда, пробыл во Франции два года, но эти гиней были последними плодами моего труда: я всегда носил их при себе и храню до сих пор. Раньше я получал удовольствие, видя их: они напоминали мне о прошедшем периоде несчастий. Легко представить себе выводы, которые можно было бы сделать из стольких совпадающих обстоятельств. Напрасными были бы мои опровержения и утверждения; мне не воздали бы должного. Я, без сомнения, сильно пострадал бы; и все же я ни в малейшей степени не был виноват: такова человеческая справедливость! Однако я никогда не брал на себя труд уладить свои дела с полицией; и все же у меня никогда не возникало никаких трудностей.

“Когда я был представлен ко двору вашего Величества, эмигранты, которые находились в том же положении, что и я, и в течение десяти лет находились под надзором полиции, подали прошение о своем освобождении, которого они добились; со своей стороны, я решил позволить моему *надзору* умереть естественной смертью. Будучи приглашенным от имени вашего Величества на праздник в Фонтенбло, я подумал, что было бы хорошей шуткой обратиться в полицию за паспортом. Они согласились, что это, строго говоря, необходимо, но

отказались это сделать на том основании, что это выставило бы правительство в смешном свете. В последующий период, став камергером вашего величества, я имел случай отправиться в частное путешествие; и тогда они освободили меня от всех будущих формальностей.

“По возвращении вашего величества в 1815 году, желая услужить некоторым эмигрантам, вернувшимся вместе с королем, я обратился от их имени в полицию. Поскольку я был членом государственного совета, все реестры были открыты для меня. После того, как я ознакомился со статьей, касающейся моих друзей, мне захотелось обратиться к своей собственной. Я оказался назначенным выдающимся придворным графа д'Артуа в Лондоне. Я не мог не задуматься о различиях времен и переменах, вызванных революцией. Однако мой реестр был совершенно неправильным. Я, конечно, посещал графа д'Артуа, но не чаще, чем раз в месяц. Что же касается того, что я был придворным, то, если бы я когда-либо и был так сильно склонен им быть, это было бы не в моей власти. Я должен был обеспечивать себя на каждый день, и у меня было достаточно гордости, чтобы желать жить своим собственным трудом; поэтому мое время было ценным”. Императора очень позабавила моя история, и я испытал большое удовольствие, рассказав ее ему.

В этот день фрегат "Дорис" отплыл в Европу.

28—го. - Семья мистера Балькомба позвонила в надежде увидеть императора, но ему снова стало нехорошо. Его здоровье ухудшается; это место, очевидно, неблагоприятно для него. Он послал за мной в три часа; его слегка лихорадило, но чувствовал он себя лучше. Он много говорил о домашних порядках в доме, что иногда раздражало его. Затем он оделся, намереваясь выйти. Я убедил его надеть фланелевый жилет, который он весьма неосмотрительно отложил в сторону в этом влажном и переменчивом климате. Мы прогулялись по саду, и разговор продолжал вращаться на ту же тему, что и раньше. Император прогуливался наугад, а мы подошли к гумнам, которые росли вдоль парка, беседуя о нашем местном положении, о наших отношениях с властями и размышляя о политических событиях в Европе. Нас настиг ливень, и мы были вынуждены укрыться под деревом. Вскоре к нам присоединились великий маршал и господин де Монтолон. Император заставил меня вернуться вместе с ним, и когда мы вернулись домой, он сыграл партию в пикет в гостиной с мадам де Монтолон. Так как было очень сыро, император приказал развести огонь; но как только его разожгли, нас прогнал дым, и мы были вынуждены укрыться в покоях императора. Здесь игра возобновилась, но очень скоро была прервана разговором императора, который стал чрезвычайно интересным. Он развлекал нас анекдотами и мельчайшими подробностями своей домашней жизни; и подтверждал, исправлял или опровергал то, что мадам де Монтолон и я рассказывали ему, поскольку это было публично распространено. Ничто не могло быть более отрадным: беседа была совершенно конфиденциальной, и мы искренне сожалели, что ее прервали объявлением об ужине.

ТРУДНАЯ ЭКСКУРСИЯ.—ПОЕЗДКА В ДОЛИНУ.—БОЛОТО.—ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ.—АНГЛИЧАНЕ НЕ ОБМАНУТЫ.—ЯД МИТРИДАТА.

29—е. - В окрестностях Лонгвуда есть место, откуда открывается далекий вид на ту часть моря, где впервые появляются корабли по прибытии: здесь тоже есть дерево, у подножия которого зритель может спокойно разглядывать его. В течение нескольких дней у меня вошло в привычку проводить здесь несколько праздных минут, развлекая себя мысленным наблюдением за

кораблем, который должен был завершить наше изгнание. Знаменитый мюнхенец прожил двадцать лет в самом сердце Сибири, каждый день выпивая за свое возвращение в Санкт-Петербург, и наконец был благословлен исполнением своего желания. Я буду обладать его мужеством, но, надеюсь, мне не придется испытывать его терпение.

Корабли появлялись подряд в течение нескольких дней. Сегодня рано утром в поле зрения появились три корабля, два из которых, как я решил, были военными кораблями. — По возвращении домой мне сообщили, что император уже встал: я пошел в сад, чтобы встретить его и сообщить о своем открытии. Он распорядился, чтобы ему принесли завтрак под дерево, и пожелал, чтобы я составил ему компанию. После завтрака он предложил мне прокатиться с ним верхом. Мы ехали вдоль зарослей камеди, за пределами Лонгвуда, а затем попытались спуститься в очень крутую и изрезанную глубокими бороздами долину, склоны которой были покрыты песком и россыпью камней, поросших ежевикой. Нам пришлось спешиться. Император пожелал, чтобы генерал Гурго свернул в сторону с лошадьми и двумя сопровождавшими нас грумами, и настоял на продолжении своего путешествия пешком, несмотря на трудности, которые нас окружали. Я подал ему руку, и с большим трудом нам удалось перебраться через гребни. Император сетовал на утрату своей юношеской ловкости и обвинял меня в том, что я более активен, чем он сам. Он думал, что разница в этом отношении больше, чем может оправдать незначительная разница в возрасте. Я сказал ему, что удовольствие служить ему заставляет меня забыть о своем возрасте. Пока мы шли, он заметил, что любой, кто мог бы увидеть нас в то время, без труда распознал бы неугомонность и нетерпение французского характера. “На самом деле, - сказал он, - никому, кроме французов, и в голову не пришло бы делать то, что мы сейчас делаем”. Наконец мы, запыхавшиеся, добрались до дна долины. То, что мы издали приняли за проторенную дорогу, оказалось всего лишь маленьким ручейком шириной в полтора фута. Мы намеревались переправиться через него и дожидаться наших лошадей, но берега этого маленького ручейка были очень ненадежны. Казалось, они состояли из сухой земли, которая сначала поддерживала нас, но вскоре мы обнаружили, что внезапно проваливаемся, как будто пробивались сквозь лед. Я уже погрузился почти по колено, когда внезапным усилием высвободился и повернулся, чтобы помочь императору, который обеими ногами увяз в грязи и упирался руками в землю, пытаясь выпутаться. С большим трудом и по большой грязи мы вернулись *натвердую землю*; и я не мог не думать о болотах Арколь, описанием которых мы занимались несколько дней назад и в которых Наполеон был очень близок к гибели. Император посмотрел на свою одежду и сказал: “Лас Кейс, это грязное приключение. Если бы мы увязли в грязи, - добавил он, - что бы сказали в Европе? Ханжеские лицемеры, вне всякого сомнения, доказали бы, что нас поглотили за наши преступления”.

Когда нам, наконец, привели лошадей, мы продолжили наш путь, пробираясь сквозь живые изгороди и перепрыгивая через гребни, и с большим трудом преодолели всю длину долины, отделяющей Лонгвуд от пика Дианы. Мы возвращались через резиденцию мадам Бертран; было три часа, когда мы добрались домой. Затем мы узнали, что суда, которые были замечены утром, были бригом и транспортом из Англии, а также американским кораблем.

Император послал за мной около семи часов; он был у великого маршала, который читал ему газеты с 9 по 16 октября. Он не закончил читать в девять часов. Император, удивленный тем, что уже так поздно, поспешно встал и подошел к столу, жалуясь на то, что его заставили ждать обеда. Они были достаточно глупы, чтобы назвать очень нелепую причину задержки. Этот

домашний беспорядок очень раздражал его; и тогда он рассердился на себя за то, что дал волю своему гневу; так что обед прошел в скуке и молчании.

Однако, вернувшись в гостиную к десерту, император заговорил о новостях, которые принесли нам газеты: об условиях мира, о крепостях, переданных иностранным державам, и о брожении в крупных городах Европы. Он виртуозно излагал эти темы. Он рано ушел спать и, очевидно, не забыл о моменте, предшествовавшем обеду.

Вскоре он послал за мной, желая продолжить чтение бумаг. Когда я готовился читать, он вспомнил о состоянии моих глаз и не позволил мне этого сделать. Я умолял разрешить мне продолжить, говоря ему, что читаю быстро и скоро должен был бы закончить их; но он отобрал их у меня, сказав: “Мы не можем повелевать природой. Я запрещаю это; я подожду до завтра”. Затем он начал немного расхаживать и вскоре дал волю чувствам, которые угнетали его душу. Каким любезным он казался в своих упреках и жалобах! Каким человечным и добрым он казался! Каким справедливым и правдивым было каждое замечание, которое ускользало от него! Это были несколько драгоценных моментов, когда Природа, застигнутая врасплох, обнажает самые сокровенные уголки человеческого сердца и характера. Я ушел от него, сказав про себя то, что мне так часто случалось говорить: “Боже Милостивый, как мало миру известно о характере императора!”

Однако здесь они начинают составлять о нем более справедливое мнение. Те англичане, чьи жестокие предубеждения против него были в значительной степени оправданы полученными ими ложными отзывами, начинают теперь иметь более правильное представление о его характере. Они допускают, что каждый день их странным образом не вводят в заблуждение и что император сильно отличается от того Наполеона, чей образ дошел до них благодаря лжи и политическим интересам. Все те, кто имел возможность видеть его и слышать, как он разговаривает, имеют только одно мнение на этот счет. Адмирал не раз, в разгар наших споров с ним, поспешно восклицал, что император, несомненно, самый добродушный, справедливый и разумный из всех нас. И он был прав.

В другом случае один англичанин, которого мы часто видели, признался Наполеону с величайшим смирением сердца и как бы в порядке искупления, что ему приходится упрекать свою совесть в том, что он когда-то твердо верил всей отвратительной лжи, рассказываемой о нем. Он верил всем рассказам об удушениях, массовых убийствах и зверской свирепости; короче говоря, он даже верил в уродство своей личности и отвратительные черты своего лица. “И как же, ” откровенно сказал он, “ я мог не поверить во все это? Наши английские издания были переполнены этими заявлениями; они были у всех на устах; ни один голос не был поднят, чтобы опровергнуть их”. — “Да, - сказал Наполеон, улыбаясь, “ именно вашим министрам я обязан этими милостями: они наводнили Европу памфлетами и пасквилями против меня. Возможно, в свое оправдание они могли бы сказать, что они всего лишь ответили на те, которые получили из Франции; и справедливости ради следует признать, что те французы, которые с тех пор ликовали над руинами своей страны, без колебаний снабдили их такими предметами в изобилии.

“Как бы то ни было, в период моего пребывания у власти меня неоднократно призывали принять меры по противодействию этой закулисной работе; но я всегда отказывался от этого. Какое преимущество я должен был получить от такой защиты? Было бы сказано, что я заплатил за это, и это только еще больше дискредитировало бы меня. Еще одна победа, еще один памятник —

это, как я сказал, лучший, единственный ответ, который я могу дать. Ложь проходит, а правда остается! Здравомыслящая часть нынешнего века, и в особенности потомки, будут строить свои суждения только на основе фактов. И каковы были последствия? Тучи уже рассеиваются, свет пробивается сквозь них, и мой характер становится яснее с каждым днем. Скоро в Европе войдет в моду отдавать мне должное. Те, кто сменил меня, владеют архивами моей администрации и полиции, а также отчетами моих судов: они содержат на своем жалованье и в своем распоряжении тех, кто, должно быть, был исполнителями и соучастниками моих зверств и преступлений; но какие доказательства они представили? О чем они сообщили?

“Когда пройдут первые минуты ярости, все честные и здравомыслящие люди воздадут должное моему характеру; никто, кроме негодяев или дураков, не будет моими врагами. Я могу быть спокоен; последовательность событий, споры противоборствующих сторон, их враждебные порождения будут ежедневно расчищать путь для правильных и славных материалов моей истории. И какая выгода была извлечена из огромных сумм, которые были выплачены за клевету на меня? Все следы их скоро будут стерты, в то время как мои учреждения и памятники будут рекомендовать меня самым отдаленным потомкам.

“ Более того, теперь уже слишком поздно обрушивать на меня кучу оскорблений. Яд клеветы, - сказал он, повторяя мысль, высказанную им ранее, - на мне иссяк; он больше не может повредить мне; он действует только на Митридата, *как яд*.

ИМПЕРАТОР ПАШЕТ.—ЛЕПТА ВДОВЫ.—ИНТЕРВЬЮ С АДМИРАЛОМ.—НОВЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ.—ПОЛЬСКИЙ КАПИТАН ПИОНТКОВСКИЙ.

30—го. - Император пожелал, чтобы меня вызвали до восьми часов. Пока он одевался, я закончил читать ему газеты, которые начал просматривать накануне. Одевшись, он сам отправился в конюшню, попросил свою лошадь и выехал со мной один; его слуги были еще не совсем готовы. Мы поехали дальше наугад и вскоре прибыли в поле, где несколько рабочих были заняты вспашкой. Император слез с лошади, схватил плуг и, к великому изумлению человека, державшего его в руках, собственноручно прочертил борозду значительной длины. Он снова вскочил в седло и продолжил свою прогулку по окрестностям, к нему последовательно присоединились генерал Гурго и конюхи.

По возвращении император выразил желание позавтракать под деревом в саду и пожелал, чтобы мы остались с ним. Во время поездки он упомянул о маленьком подарке, который он предназначил для нас. “Это, конечно, мелочь, - заметил он, - но все должно быть соразмерно обстоятельствам, и для меня это действительно *вдовья лепта*”. Он намекнул на ежемесячную стипендию, которую он решил выплатить каждому из нас. Это должно было быть вычтено из незначительной суммы, которую мы ухитрились припрятать, несмотря на бдительность англичан; и отныне эта сумма была единственным ресурсом Наполеона. Легко себе представить, какой драгоценной стала эта безделушка. Я воспользовался первым моментом, оказавшись с ним наедине, чтобы высказать свое мнение по этому поводу и заявить о своей личной решимости отказаться от предполагаемой им щедрости. Он рассмеялся над этим, и поскольку я настаивал на своем решении, он сказал, ущипнув меня за ухо: “Что ж, если оно тебе не нужно сейчас, оставь его для меня: я буду знать, где его найти, когда оно мне понадобится”.

После завтрака император вошел в дом и пожелал, чтобы я дочитал газеты. Некоторое время я был погружен в чтение, когда господин де Монтолон попросил представить его. У него только

что состоялся долгий разговор с адмиралом, который очень хотел увидеть императора. Мне было приказано приостановить мои переводы из газет, и император некоторое время ходил по комнате, как бы колеблясь, как поступить; наконец, взяв шляпу, он направился в гостиную, чтобы принять адмирала. Это обстоятельство доставило мне величайшее удовлетворение, ибо я знал, что оно было рассчитано на то, чтобы положить конец нашей враждебности. Я был твердо уверен, что двухминутный разговор с императором устранил больше трудностей, чем двухдневная переписка с кем-либо еще. Соответственно, вскоре мне сообщили, что его убедительные аргументы и любезные манеры произвели желаемый эффект. Меня заверили, что при отъезде адмирал казался очарованным: что касается императора, то он был очень доволен тем, что произошло; он далек от того, чтобы испытывать неприязнь к адмиралу; он даже несколько расположен к нему. “Может быть, ты и очень хороший моряк, ” сказал ему император, “ но ты совершенно ничего не знаешь о нашем положении. Мы ни о чем не просим тебя. Мы можем переносить в тишине и уединении наши боли и лишения; мы можем находить ресурсы внутри себя; но все же наше уважение стоит того, чтобы его заслужить ”. Адмирал сослался на свои инструкции. “Но, ” возразил император, - вы не учитываете огромного расстояния, которое лежит между диктовкой и исполнением этих инструкций! Тот самый человек, который издает их в отдаленной части мира, выступил бы против них, если бы увидел, как их приводят в исполнение. Кроме того, - продолжал он, - несомненно, что при малейшем расхождении, наименьшем противодействии, малейшем выражении общественного мнения министры дезавуировали бы свои инструкции или сурово осудили бы тех, кто не дал им более благоприятного толкования”.

Адмирал вел себя на удивление хорошо; у императора были все основания быть довольным им: все резкости были смягчены, и по каждому пункту царило взаимопонимание. Было решено, что император отныне будет свободно разъезжать по острову; что офицер, которому было поручено сопровождать императора, должен просто наблюдать за ним на расстоянии, чтобы император не был оскорблен видом стражи; что посетители должны допускаться к императору не с разрешения адмирала, как инспектора Лонгвуда, а с разрешения великого маршала, который оказывал честь заведению.

Сегодня наша маленькая колония пополнилась прибытием капитана Пионтовского, уроженца Польши. Он был одним из тех, кого мы оставили в Плимуте. Его привязанность к императору и горе от разлуки с ним смягчили суровость английских министров, и он получил разрешение отправиться на остров Святой Елены.

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР СКЕЛТОН.

31—го. Вице-губернатор Скелтон и его супруга, которые всегда оказывали нам большое внимание, пришли засвидетельствовать свое почтение императору, который после часовой беседы пожелал, чтобы я перевел полковнику приглашение прокатиться с ним верхом. Приглашение было с радостью принято, и мы отправились в путь. Мы проехали через долину, отделяющую нас от пика Дианы, к великому изумлению полковника, для которого эта поездка была совершенно в новинку. Он находил это утомительным и во многих отношениях опасным. Император пригласил полковника и миссис Скелтон на обед и развлекал их самым приятным образом.

НОВЫЙ ГОД. -ОХОТНИЧЬИ РУЖЬЯ И прочее.—СЕМЬЯ ПОЛКОВНИКА УИЛКСА.

1-3 января 1816 года. В день нового года мы все собрались около десяти часов утра, чтобы поздравить императора с наступающим сезоном. Он принял нас через несколько минут. Нам пришлось высказать ему пожелания, а не поздравления. Император пожелал, чтобы мы позавтракали и провели весь день вместе. Он заметил, что нас всего лишь горстка в одном уголке мира и что единственным нашим утешением должно быть уважение друг к другу. Мы все сопровождали императора в сад, где он прогуливался, пока не был готов завтрак. В этот момент его охотничьи ружья, которые до сих пор были задержаны адмиралом, были отправлены ему обратно. Эта мера со стороны адмирала была лишь еще одним доказательством нового расположения, которое он принял по отношению к нам. Ружья не могли быть полезны императору, ибо природа местности и полное отсутствие дичи делали невозможным то, что он мог наслаждаться даже тенью развлечения в стрельбе. Птиц не было, за исключением нескольких голубей среди камедных деревьев, но они вскоре были убиты или вынуждены улететь несколькими выстрелами, которыми развлекались Жан Гурго и мой сын.

Казалось фатальным, что меры, продиктованные лучшими и добрейшими намерениями со стороны адмирала, все еще носили вид ограничения и окраску каприза, что разрушало их эффект. Вместе с охотничьими ружьями императора находились два или три ружья, принадлежавшие лицам из его свиты. Они были доставлены своим владельцам, но с условием, что их каждый вечер будут присылать в палатку дежурного офицера. Вполне можно предположить, что это предложение побудило нас, не колеблясь, вообще отказаться от этой услуги; и пушки были сданы нам безоговорочно только после небольших переговоров. И в конце концов, какие важные темы обсуждались? Несколько охотничьих ружей; и владельцы их были несчастными людьми, изгнанными из остального мира, окруженными часовыми и охраняемыми целым лагерем. Я упоминаю об этом обстоятельстве, потому что, хотя оно и незначительно само по себе, оно лучше многих других доказывает наше реальное положение и то, как с нами обращались.

3-го числа я завтракал с мадам Бертран, которую должен был сопровождать на обед к губернатору. От жилища мадам Бертран до Плантейшн-Хауса (резиденции губернатора) полтора часа езды в экипаже, запряженном шестеркой волов, поскольку использовать лошадей на этой дороге было бы опасно. Мы пересекли или повернули на пять или шесть перевалов, по бокам которых были пропасти высотой в несколько сотен футов. Четырех волов сняли с повозки на быстрых спусках и снова впрягли в ярмо при подъеме на холмы. Пройдя примерно три части пути, мы остановились, чтобы нанести визит доброй пожилой даме восьмидесяти трех лет, которая очень любит детей мадам Бертран. Ее дом расположен в очень приятном месте: она не выходила из него шестнадцать лет, когда, услышав о прибытии императора, отправилась в город, заявив, что, даже если это будет стоить ей жизни, она полна решимости увидеться с ним: она была достаточно счастлива, чтобы добиться своей цели.

Плантационный дом - самое удачно расположенное и приятное место жительства на всем острове. Особняк, сад, служебные помещения - все напоминает резиденцию семьи с доходом от 25 до 30 000 ливров в одной из французских провинций. Территория возделана с величайшим вниманием и вкусом. Житель Плантейшн-Хауса может представить себя в Европе, даже не подозревая о том запустении, которое царит в любой другой части острова. Плантационный дом занимает полковник Уилкс, губернатор, чья власть теперь заменена

адмиралом. Он человек с самыми утонченными манерами; его жена - приятная женщина, а дочь - очаровательная молодая леди.

Губернатор пригласил компанию примерно из тридцати человек. Манеры и церемонии компании были полностью европейскими. Мы провели несколько часов в Плантейшн-Хаусе; и это, можно с полным правом сказать, был единственный промежуток забвения и отвлеченности, которым мы наслаждались с тех пор, как покинули Францию. Полковник Уилкс проявил особое пристрастие и доброту ко мне. Мы взаимно выразили комплименты и сочувствие двух авторов, довольных достоинствами друг друга. Мы обменялись нашими работами. Полковник осыпал *на Лесажа* лестными комплиментами, и те, которые я ему ответил, были самыми искренними, поскольку его работа содержит новый и интересный рассказ об Индостане, где он прожил значительное время в качестве дипломата. Философский дух, кладезь информации в сочетании с исключительной чистотой стиля делают это произведение первоклассным. В своих политических взглядах полковник Уилкс хладнокровен и беспристрастен; он спокойно и бесстрастно судит о происходящих событиях и проникнут здоровыми идеями и либеральными взглядами умного и независимого англичанина.

Когда мы уже собирались сесть за стол, нам, к нашему великому удивлению, сообщили, что император в сопровождении адмирала только что прошел совсем рядом с воротами Плантейшн-Хауса; и один из гостей (мистер Доветон из Сэнди-Бей) заметил, что Наполеон утром оказал ему честь визитом и провел в его доме три четверти часа.

ЖИЗНЬ В ЛОНГВУДЕ.—ПОЕЗДКА ИМПЕРАТОРА ВЕРХОМ.—НАША НИМФА.- ПРОЗВИЩА.—НА ОСТРОВАХ И ИХ ЗАЩИТА.-ВЕЛИКИЕ КРЕПОСТИ; ГИБРАЛТАР.— КУЛЬТУРА И ЗАКОНЫ ОСТРОВА. ЭНТУЗИАЗМ И т.д.

4-8—й. Когда я вошел в покои императора, чтобы рассказать ему о нашей прогулке предыдущего дня, он взял меня за ухо и сказал: “Что ж, вчера ты меня бросил: несмотря на это, я провел вечер очень хорошо. Не думай, что я не смог бы обойтись без тебя”. Восхитительные слова! особенно трогательным был тон, которым они сопровождались, и те знания, которыми я теперь обладаю о том, кем они были произнесены.

Погода каждый день была прекрасной, температура сухой; жара невыносимой, но внезапно спадала, как обычно, к пяти-шести часам.

Император с момента своего прибытия в Лонгвуд прекратил свои обычные диктовки: он проводил время за чтением в своем кабинете, одевался между тремя и четырьмя часами, а затем выезжал верхом в сопровождении двух или трех из нас. Должно быть, утра казались ему длиннее, но от этого его самочувствие улучшалось. Наши поездки всегда были направлены в соседнюю долину, о которой я уже говорил; мы либо проезжали мимо нее, сначала проезжая нижнюю ее часть, и возвращались мимо дома великого маршала; или, наоборот, сначала поднимались по этой стороне, чтобы спуститься по ней на обратном пути; мы даже раз или два выезжали за ее пределы и пересекали другие подобные долины. Таким образом, мы исследовали окрестности и посетили несколько домов, которые там находились; все они были бедными и убогими. Дороги иногда были непроходимы; иногда нам даже приходилось слезать с лошадей. Нам приходилось перелезать через живые изгороди и взбираться на каменные стены, с которыми мы встречались очень часто; но мы никогда не позволяли ничему остановить нас.

Во время этих наших обычных прогулок мы на несколько дней остановились на обычном месте отдыха посреди долины. Там, в окружении пустынных скал, проявился неожиданный цветок: под скромной крышей мы обнаружили очаровательную молодую девушку пятнадцати-шестнадцати лет. В первый же день мы застали ее врасплох в ее обычном костюме: он свидетельствовал о чем угодно, только не о недостатке. На следующее утро мы обнаружили, что она приложила величайшие усилия к своему туалету; но наш прелестный полевой цветок теперь казался нам не более чем самым обыкновенным садовым цветком. Тем не менее, с тех пор мы останавливались у ее жилища на несколько минут каждый день; она всегда подходила на несколько шагов, чтобы уловить две-три фразы, которые император либо обращал к ней, либо заставлял переводить ей, когда проходил мимо, и мы продолжали наш путь, рассуждая о ее прелестях. С того времени она стала дополнением к определенной номенклатуре Лонгвуда: она стала *нашей нимфой*. Среди тех, кто был с ним близок, император без всякого умысла придумывал новые имена для каждого человека и предмета, которые привлекали его внимание. Таким образом, перевал, через который мы проезжали в момент, о котором я сейчас пишу, получил название *Долины Молчания*; нашим хозяином в Брайарсе был наш *Амфитрион*; его сосед, майор шести футов ростом, был нашим *Геркулесом*; сэр Джордж Кокберн был моим *лордом-адмиралом*, пока мы были в хорошем настроении, но когда преобладало дурное настроение, для него не было другого титула, кроме *какакулаи* и т.д.

Наша нимфа - точная копия героини маленькой пасторали, которой доктор Уорден изволил украсить свои письма; хотя я исправил его ошибку, когда он дал мне почитать рукопись перед своим отъездом в Европу, сказав ему: "Если вы намерены создать рассказ, это хорошо; но если вы хотите изобразить правду, вы должны полностью изменить это". По-видимому, он считал, что его рассказ представляет гораздо больший интерес, и соответственно сохранил его. Но вернемся к нашей *нимфе*: мне сообщили, что Наполеон принес ей огромную удачу. Известность, которую она приобрела благодаря ему, привлекла любопытство путешественников, а ее собственное очарование довершило остальное; она стала женой очень богатого купца или капитана на службе Ост-Индской компании.

Возвращаясь с наших прогулок, мы обычно заставали в сборе лиц, которых император пригласил к себе отобедать. У него были, последовательно, полковник 53-го полка, несколько офицеров и их дам, адмирал, красивая и любезная миссис Ходсон, жена нашего Геркулеса, которую император однажды навестил в долине Бриарс и на детей которой он обратил так много внимания, и т.д.

После обеда император присоединился к одной партии за картами, а остальная компания присоединилась к другой.

В тот день, когда адмирал обедал в Лонгвуде, император, попивая кофе, несколько минут рассуждал о делах на Острове. Адмирал сказал, что 66-й полк прибывает на подкрепление 53-му. Император рассмеялся над этим и спросил его, не считает ли он себя уже достаточно сильным. Затем, продолжая свои общие замечания, он сказал, что от дополнительных семидесяти четырех человек было бы больше пользы, чем от полка; что военные корабли обеспечивают безопасность острова; что укрепления не приводят ни к чему, кроме задержки; что высадка превосходящих сил увенчалась полным успехом, хотя ее последствия могут быть отложены на некоторое время; при условии, однако, что расстояние не допускает прибытия помощи.

Адмирал спросил его, какое, по его мнению, самое сильное место в мире, и император ответил, что указать на это невозможно, потому что сила места проистекает частично из его собственных средств защиты, а частично из посторонних и неопределенных обстоятельств. Он, однако, упомянул Страсбург, Лилль, Мец, Мантую, Антверпен, Мальту и Гибралтар. Адмирал сообщил ему, что в Англии его уже некоторое время подозревали в намерении напасть на Гибралтар: “Мы знали об этом лучше, - ответил император. - В наших интересах было оставить Гибралтар в вашем распоряжении. Это не приносит вам никакой пользы; это ничего не защищает и не перехватывает; это всего лишь предмет национальной гордости, который обходится Англии очень дорого и наносит огромную обиду Испании. С нашей стороны было бы очень неразумно разрушать такие хитроумные устройства”.

6-го числа я был приглашен вместе с мадам Бертран и моим сыном отобедать в "Брайарз", где у нашего старого хозяина собралось много гостей. Мы вернулись очень поздно и не без того подвергались опасности из-за трудностей дороги и ночной темноты, которые вынудили нас проделать часть пути пешком из уважения к мадам Бертран.

7-го числа императора посетили секретарь правительства и один из членов Совета. Как обычно, он задал им множество вопросов, касающихся земледелия, процветания и улучшений, на которые мог бы быть способен Остров. В 1772 году была принята система снабжения жителей мясом за полцены из магазинов Компании, следствием чего стали большая праздность и пренебрежение сельским хозяйством. Эта система была изменена пять лет назад, что, в сочетании с другими обстоятельствами, возродило соперничество и довело процветание Острова до уровня, намного превосходящего тот, которым он когда-либо наслаждался раньше. Следует опасаться, что наше прибытие может нанести смертельный удар по этому растущему процветанию.

Остров Святой Елены, имеющий семь или восемь лье в окружности (размером примерно с Париж), подчиняется общим законам Англии и местным законам острова: эти местные законы разрабатываются Советом и утверждаются в Англии Советом директоров Ост-Индской компании. Совет состоит из Управляющего, двух гражданских членов и Секретаря, который ведет реестры; все они назначаются Компанией и могут быть смещены по своему усмотрению. Членами Совета являются законодатели, администраторы и магистраты; они принимают решения без апелляции, с помощью присяжных, по гражданским и уголовным делам. На острове нет ни адвоката, ни поверенной; секретарь Совета удостоверяет подлинность всех актов и является своего рода уникальным нотариусом. Население острова составляет в настоящее время около пяти или шести тысяч душ, включая чернокожих и гарнизон.

Однажды днем я прогуливался по саду с императором, когда к нам подошел моряк лет двадцати двух-двадцати трех, с открытым лицом, жесты которого выражали нетерпение и радость, смешанные с опасением быть замеченным извне. Он говорил только по-английски и торопливо рассказал мне, что дважды преодолевал препятствия в виде часовых и все опасности строгого запрета, чтобы поближе увидеть императора. Он получил эту удачу, сказал он, пристально глядя на императора, и должен умереть довольным; что он возносит свои молитвы Небесам о том, чтобы Наполеон наслаждался добрым здоровьем и был еще на один день счастливее. Я отпустил его, и, расставшись с нами, он снова спрятался за деревьями и изгородями, чтобы подольше видеть нас. Мы часто встречались с такими недвусмысленными доказательствами доброй воли этих моряков. Моряки с "Нортумберленда", прежде всего, считали, что у них

сложились дружеские отношения с императором. Пока мы жили в Брайарсе, где наше уединение было не таким тесным, они часто крутились вокруг нас по воскресеньям, говоря, что пришли еще раз взглянуть на своего товарища по плаванию. В тот день, когда мы покинули Брайарс, я был с императором в саду, когда у ворот появился один из матросов и спросил меня, может ли он войти, не оскорбляя меня. Я спросил его, из какой он страны и какую религию исповедует. Он ответил, сотворив различные крестные знамения в знак того, что понял меня, и братства. Затем, пристально посмотрев на императора, перед которым он стоял, и подняв глаза к Небу, он начал вести беседу сам с собой с помощью жестов, которые его большое веселое лицо делало отчасти гротескными, а отчасти сентиментальными. Тем не менее, было бы трудно выразить более естественно восхищение, уважение, добрые пожелания и сочувствие; в то время как на его глазах выступили крупные слезы. “Передай этому дорогому человеку, ” сказал он мне, “ что я желаю ему не зла, а всего возможного счастья. То же самое делает большинство из нас. Долгих лет жизни и здоровья ему!” В руке у него был букет полевых цветов, который он, казалось, хотел предложить нам; но то ли его внимание было занято, то ли он чувствовал себя скованным присутствием Императора, то ли своими собственными чувствами, и он некоторое время стоял в нерешительности, словно борясь с самим собой; затем внезапно поклонился нам и исчез.

Император не мог удержаться от выражения некоторых эмоций при этих двух обстоятельствах; так сильно выражения лиц, акцент и жесты этих двух людей несли на себе печать правды. Затем он сказал: “Посмотрите на эффект воображения! Насколько велико его влияние! Здесь люди, которые не знают меня — которые никогда не видели меня; они только слышали, как обо мне говорят; и чего только они не чувствуют! чего бы они только не сделали, чтобы служить мне! И такой же каприз можно встретить во всех странах, у людей всех возрастов и обоих полов! Это фанатизм! Да, воображение правит миром!”

НЕПРИЯТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ИМПЕРАТОРА.—НОВЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ С АДМИРАЛОМ.

9. Территория вокруг Лонгвуда, в пределах которой мы имеем право подышать свежим воздухом, допускает только получасовую прогулку верхом; что побудило императора, чтобы продлить поездку или занять больше времени, спуститься в ущелья очень плохими и действительно опасными путями.

Поскольку остров не имел тридцати миль в окружности, было бы желательно расширить его до мили от морского побережья; тогда мы могли бы совершать поездки и даже варьировать их на протяжении пятнадцати-восемнадцати миль. Наблюдение за нашими передвижениями не было бы ни более хлопотным, ни менее эффективным, если бы часовые были расставлены на морском берегу и у входа в долины; или даже если бы они отслеживали все шаги императора по сигналам. Правда, нам сказали, что император был волен пересечь весь остров в сопровождении английского офицера; но император решил, что он никогда не выйдет за пределы Острова, если его лишат привилегии быть либо совсем одному, либо в обществе только своих друзей. Адмирал в своей последней беседе с императором с большой деликатностью решил, что всякий раз, когда он (Император) пожелает выйти за установленные пределы, он должен сообщить об этом английскому капитану, дежурящему в Лонгвуде; что последний должен отправиться на свой пост, чтобы открыть проход для императора; и что наблюдение, если таковое будет, впредь должно продолжаться таким образом, чтобы

император в течение оставшейся части своей экскурсии, входил ли он в какой-либо дом или воспользовался какой-либо удобной ситуацией для продолжения своих работ, не мог заметить ничего, что могло бы на мгновение отвлечь его ум. из медитации. Согласно этому соглашению, император предложил сегодня утром сесть на лошадь в семь часов: он приказал приготовить легкий завтрак и намеревался отправиться в направлении Сэнди-Бэй, чтобы увидеть источник воды, и провести утро среди какой-нибудь прекрасной растительности (преимущество, которого у нас не было в Лонгвуде); и в этом месте он предполагал диктовать в течение нескольких часов.

Наши лошади были готовы; в тот момент, когда мы собирались сесть на них, я пошел сообщить капитану о нашем намерении, который, к моему великому удивлению, заявил о своем намерении ехать рядом с нами; сказав, что император, в конце концов, не может обижаться на то, что офицер не будет вести себя как слуга, оставаясь один. Я ответил, что император, несомненно, одобрил бы это мнение, но что он немедленно откажется от своей увеселительной вечеринки. “Вы должны,” сказал я, “считать вполне естественным и ни в коем случае не поводом для обиды то, что он испытывает отвращение к обществу человека, который его охраняет”. Офицер проявил большое беспокойство и сказал мне, что его положение было крайне затруднительным. “Совсем не так,” заметил я ему, - если вы только выполняете свои приказы. Мы ничего от вас не просим; вам нечего оправдывать или объяснять нам. Вам, должно быть, так же желательно, как и нам, расширить границы до морского берега: таким образом, вы были бы освобождены от хлопотной обязанности, которая не может сделать вам чести. Предложенная цель была бы не менее эффективно достигнута при таком устройстве. Осмелюсь сказать, что это было бы даже более верно: всякий раз, когда мы хотим понаблюдать за человеком, мы должны охранять дверь его комнаты или ворота ограждения, которое его окружает; промежуточные двери - это только источники бесполезных хлопот. Вы теряете Императора из виду каждый день, когда он спускается в глубокие впадины внутри кольца, и удостоверяетесь в его существовании только по его возвращению. Что ж, тогда сделайте уступку достоинством, которого требует природа вещей. Расширьте границы с точностью до мили от морского берега; тогда вы сможете также постоянно отслеживать Императора с помощью ваших сигналов со своих высот”.

На все это офицер ответил только тем, что повторил, что ему не нужны ни взгляд, ни слово императора; что он будет с нами, как будто его здесь нет. Он, казалось, и в самом деле был неспособен понять, что один его вид может быть оскорбителен для императора. Я сказал ему, что существует шкала степеней чувства и что одна и та же мера неприменима ко всему миру. Он, по-видимому, думал, что мы по-своему интерпретируем чувства императора, и что, если ему (императору) будут объяснены причины, которые он мне привел, последний присоединится к ним. Он был склонен написать ему. Я заверил его, что в том, что касается лично его, он не сможет сказать императору так много, как это сделал бы я сам, но что я пойду и передам императору слово в слово состоявшийся между нами разговор. Я пошел и вскоре вернулся и подтвердил ему то, что я выдвинул ранее. С этого момента император отказался от своей предполагаемой экскурсии.

Желая, однако, от себя лично избежать всякого недоразумения, которое могло бы усугубить дискуссии, всегда неприятные, я спросил его, не возражает ли он поделиться со мной отчетом, который он намеревался представить адмиралу. Он сказал мне, что у него их нет, но что он должен дать их только устно. Затем, возобновив наш долгий разговор, я в нескольких словах свел его к двум очень положительным моментам: с его стороны, к тому, что он сказал мне, что

желает присоединиться к партии Императора; и с моей, что я ответил, что император с этого момента отказался от своей партии и не выйдет за пределы, отведенные ему. С этим заявлением мы оба были полностью согласны. Император приказал позвать меня в его комнату. Размышляя в глубоком молчании о только что пережитой досаде, он снова разделся и был в своем утреннем халате. Он задержал меня позавтракать и заметил, что небо, казалось, грозит дождем; что у нас должен был быть неудачный день для нашей экскурсии. Но это было слабым утешением за жестокую сдержанность, которая только что лишила его невинного удовольствия.

Дело в том, что офицер получил новые приказы; но император лишь обосновал проект своей маленькой экскурсии предыдущими обещаниями адмирала, которыми император имел удовольствие выразить ему свое удовлетворение. Нынешняя перемена, о которой императору ничего не было сказано, неизбежно должна была быть ему крайне неприятна. Либо данное ему слово было нарушено, либо была предпринята попытка навязаться ему. Это оскорбление, которое он испытал от адмирала, является одним из тех, которые значительно задели чувства императора.

Император принял ванну и не стал ужинать с нами. В девять часов он приказал позвать меня к себе в комнату, он читал "Дон Кихота", и наш разговор перешел на испанскую литературу, перевод "Лесажа" и т. Д. Он был очень меланхоличен и мало говорил; примерно через три четверти часа он отослал меня прочь.

КОМНАТА МАРШАНА.—БЕЛЬЕ, ОДЕЖДА И прочее. ИМПЕРАТОРА,—ШПОРЫ ШАМПОБЕРА И прочее.

10—го. Около четырех часов император пожелал, чтобы меня позвали в его комнату: он был одет и был в сапогах; его намерением было либо сесть верхом, либо прогуляться по саду; но шел легкий дождик. Мы прогуливались, разговаривая, ожидая, когда прояснится погода. Он открыл дверь своей комнаты, ведущую в кабинет топографов, чтобы мы могли прогуляться по всей длине этого кабинета. Когда мы подошли к кровати, он спросил меня, всегда ли я сплю в ней. Я ответила, что перестала это делать с того момента, как узнала о его желании выходить рано по утрам. "Какое это имеет отношение к делу?" - сказал он. "Возвращайся к нему; я выйду, когда захочу, через заднюю дверь". Дверь гостиной была приоткрыта, и он вошел в нее; там были Монтолон и Гурго. Они пытались установить очень красивую люстру и маленькое стекло над камином: император пожелал, чтобы последнее было установлено прямо, так как оно немного наклонено с одной стороны. Он был очень доволен этим усовершенствованием мебели в гостиной; доказательство того, что все относительно! Чем могли быть эти предметы в глазах человека, у которого несколько лет назад во дворцах было мебели на сорок миллионов?

Мы вернулись в топографический кабинет: дождь лил по-прежнему, он отказался от прогулки; но он сожалел, что великий маршал не приехал; в этот день он чувствовал, что ему хочется поработать, хотя он прервал ее на две недели. Он пытался убить время, ожидая Бертрана. "Пойдем навестим госпожу де Монтолон, " сказал он мне. Я объявил о нем; он сел, заставил меня сделать то же самое, и мы поговорили о мебели и домашнем хозяйстве. Затем он начал составлять опись предметов в квартире, деталь за деталью; и мы все согласились, что мебель стоила не больше тридцати наполеонов. Выйдя от мадам де Монтолон, он перебежал из комнаты в комнату и остановился перед лестницей в коридоре, которая ведет наверх, в комнату для прислуги; это что-то вроде очень крутой лестницы. "Давайте посмотрим на квартиру Маршана, -

сказал он. - Говорят, что он содержит ее в порядке, как *умаленькой метрессы*". Мы поднялись наверх; Маршан был там; в его маленькой комнате чисто; он оклеил ее бумагой, которую сам раскрасил. Его кровать была без пологов: Маршан спит не так далеко от двери своего хозяина; в Брайаре он и двое других камердинеров постоянно спали на земле, напротив императорской двери, так близко, что всякий раз, когда я возвращался поздно, мне приходилось перешагивать через них. Император приказал открыть шкафы; в них не было ничего, кроме его белья и одежды; все это было невелико, но он был удивлен, обнаружив, что все еще так богат. "Сколько у меня пар шпор?" - спросил он, беря одну пару. "Четыре пары", - ответил Маршан. "Есть ли среди них более примечательные, чем остальные?" — "Нет, сир". — "Хорошо, я отдам пару из них Лас Кейсу. Эти старые?" "Да, сир, они почти износились; ваше величество носили их в кампании под Дрезденом и в кампании под Парижем". "Вот, - сказал он, протягивая их мне, "это для вас". Я бы хотел, чтобы он позволил мне принять их на коленях. Я чувствовал, что действительно получаю что-то связанное со славными днями Шампобера, Монмирайля, Нанжи, Монтеро! Был ли когда-нибудь более подходящий памятник рыцарству во времена Амадиса? "Ваше величество произвели меня в рыцари, " сказал я. - Но как мне завоевать эти шпоры? Я не могу претендовать на какие-либо ратные подвиги; а что касается любви и преданности, сир, то все, что я мог вам подарить, уже давно израсходовано".

Великий маршал по-прежнему не появлялся, и император пожелал приступить к работе. "Значит, вы больше не можете писать?" - спросил он меня. "У тебя совсем пропало зрение". С тех пор, как мы переехали сюда, я полностью забросил работу; зрение подводило меня, что приводило в крайнюю меланхолию. "Да, сир, - ответил я, " оно полностью исчезло; и я опечален тем, что потерял его во время кампании в Италии, не насладившись счастьем и славой оттого, что служил в нем". Он попытался утешить меня, сказав, что я, без сомнения, восстановлю свое зрение благодаря отдыху, добавив: "О, почему они не оставили нас на планете! этот хороший молодой человек теперь оказал бы мне большую услугу". И он попросил генерала Гурго приехать, чтобы он мог ему что-то продиктовать.

АДМИРАЛ ТЕЙЛОР И К.

11. Когда я прогуливался после завтрака, около половины первого, перед воротами, я увидел приближающуюся многочисленную кавалькаду, во главе с полковником 53-го: это был адмирал Тейлор, который прибыл накануне вечером со своей эскадрой с Кейптауна и должен был покинуть нас на следующий день и отправиться в Европу. Среди его капитанов был его сын, потерявший руку в Трафальгарской битве, где его отец командовал "Тоннажем".

Адмирал Тейлор сказал, что пришел засвидетельствовать свое почтение императору; но он только что получил ответ, что ему нездоровится, чем адмирал был очень разочарован. Я заметил ему, что климат Лонгвуда был очень неблагоприятен для Наполеона. Я выбрал неудачное время для этого наблюдения, так как небо было прекрасным, а местность демонстрировала в этот момент всю иллюзию, которую она способна произвести: адмирал не преминул заметить, что обстановка была очаровательной. Я ответил тоном искренней печали: "Да, адмирал, сегодня, и для вас, которые пробудут в нем всего четверть часа". При этих словах он, казалось, совершенно смутился, начал оправдываться и просил меня извинить его за то, что он употребил то, что он назвал дерзким выражением. Я должен отдать должное особой вежливости манер, которую он проявил в этом случае.

ИМПЕРАТОР, В КОТОРОГО ЦЕЛИЛСЯ СОЛДАТ.—НАШИ ВЕЧЕРНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ.—РОМАНЫ.—ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ.

12-14. Император на несколько дней отказался от своих конных прогулок. Результат его попытки возобновить их 12-го числа не был рассчитан ни на то, чтобы возродить его пристрастие к этому развлечению, ни на то, чтобы оно снова стало для него привычным. Мы, как обычно, очистили нашу долину и возвращались в тыл напротив Лонгвуда, когда солдат с одной из высот, где до сих пор не было поста, несколько раз окликнул нас и стал делать различные знаки. Поскольку мы были в самом центре нашего круга, мы не обратили на него внимания. Затем он подбежал к нам, запыхавшись, заряжая свою шашку на бегу. Генерал Гурго остался позади, чтобы посмотреть, что ему нужно, в то время как мы продолжили наш маршрут. Я видел, как генерал, много раз увернувшись от этого парня, схватил его за шиворот и взял под стражу: он заставил его следовать за собой до соседнего поста у главного маршала, куда генерал пытался заставить его войти, но тот сбежал от него. Он обнаружил, что был пьяным капралом, который неправильно понял его лозунг. Он часто направлял на нас свое ружье. Это обстоятельство, которое очень легко могло повториться, заставило нас задрожать за жизнь императора: последний рассматривал его только как оскорбление и новое препятствие для продолжения своих конных упражнений.

Наполеон перестал приглашать гостей на обеды: часы, расстояние, наряды были неудобны для гостей; для нас эти вечеринки приносили только неприятности и стеснение, без всякого удовольствия.

Император постепенно возобновил свою обычную работу. Теперь он ежедневно диктовал великому маршалу отчеты об экспедиции в Египет; незадолго до обеда он приказал позвать к нему меня и моего сына, чтобы еще раз перечитать различные главы "Кампаний в Италии" и разделить их на абзацы. Реверсис вышел из моды; император отказался от него. Время после обеда отныне посвящалось чтению какого-нибудь произведения: сам император читал вслух; когда он уставал, он передавал книгу кому-нибудь другому; но тогда он никогда не мог выдержать их чтения больше четверти часа. Теперь мы читали романы и начали многие из них, которые так и не дочитали; "Манон л'Эско" мы вскоре отвергли как годную только для прихожей; затем последовали Мемуары Граммона, которые так полны остроумия, но так далеки от чести для морали великих людей того периода; "*Шевалье де Фоблас*", которые можно читать только в возрасте двадцати лет, и т. Д. Всякий раз, когда эти чтения удавалось затянуть до одиннадцати или двенадцати часов, император, казалось, искренне радовался. Он называл это "завоеваниями с течением времени"; и он обнаружил, что таких побед добиться не так-то просто.

Наступил и черед политики. Примерно каждые три-четыре недели мы получали большую пачку журналов из Европы; это, как удар хлыста, заставляло нас снова собираться в путь на несколько дней, в течение которых мы обсуждали, анализировали и переоценивали новости, а потом незаметно снова впадали в нашу обычную меланхолию. Последние журналы были доставлены к нам шлюпом "Грейхаунд", который прибыл за несколько дней до этого. Они заняли один из вечеров и положили начало одному из тех моментов, когда император излучал тот пыл и

вдохновение, которые я иногда наблюдал в Государственном совете и которые время от времени ускользают от него даже здесь.

Он шел среди нас большими шагами, постепенно оживляясь и прерывая свою речь лишь на несколько мгновений размышления.

“Бедная Франция, - сказал он, - какова будет твоя участь! Прежде всего, что стало с твоей славой!... Я подавляю остальное, которое имеет очень большую протяженность: я *должен* подавить его”.

В газетах, по-видимому, говорилось, что Англия желала расчленения Франции, но Россия воспротивилась этому, император сказал, что он ожидал этого; что естественно, что Россия должна быть недовольна разделением Франции; потому что тогда ей пришлось бы опасаться, что различные государства Германии объединятся против нее; в то время как, с другой стороны, английская аристократия, должно быть, желала довести Францию до крайней степени слабости и установить деспотизм на ее развалинах. “Я знаю, - сказал он, - что это не ваше мнение”, обращаясь ко мне. - “Вы англичанин”. Я ответил, что с ним очень трудно спорить; но что мне кажется, что среди той же английской аристократии, надо признать, возможно, найдутся достаточно ясные головы, равно как и сердца, чтобы понять, что после свержения того, что угрожало их существованию, может оказаться выгодным возвысить то, чего больше не следует бояться; что обстоятельства теперь исключительно благоприятны для установления новой системы, которая могла бы навсегда объединить две нации в их самых дорогих интересах и сделать их необходимыми друг другу, вместо того чтобы держать их в постоянной вражде и т.д. Император завершил разговор, сказав, что он, без сомнения, очень порочен; но что при всех соображениях, которые он мог бы высказать по этому поводу, он не мог предвидеть ничего, кроме катастроф, массовых убийств и кровопролития.

О ТАЙНОЙ ИСТОРИИ КАБИНЕТА БОНАПАРТА, АВТОР ГОЛДСМИТ.— ПОДРОБНОСТИ И С.

15—е. Когда я был на борту "Нортумберленда", я услышал рассказ Голдсмита о "Тайной истории кабинета Бонапарта", и в первые минуты досуга здесь я почувствовал желание бегло просмотреть его; но я столкнулся с большими трудностями в получении его, поскольку англичане долгое время уклонялись от передачи его в мои руки, говоря, что это была такая отвратительная клевета, что они боялись отдать его мне и сами стыдились этого. Долгое время я был вынужден непрестанно убеждать их, повторяя, что все мы защищены от подобных любезностей; что тот, кто был их объектом, имел обыкновение только смеяться над подобными вещами, когда они случайно попадались ему на глаза; и более того, что, если эта работа была так плоха, как о ней говорили, она, должно быть, потерпела неудачу в конце концов и вообще перестала быть вредной. Я спросил, кто этот Ювелир, автор. Мне сказали, что это англичанин, который ... в Париже и которого по возвращении в Англию старался избегать ... и в то же время заработать больше денег, осыпая оскорблениями и проклятиями того идола, которому он так долго подносил благовония. Я наконец получил работу. Следует признать, что было бы трудно собрать воедино более ужасные и нелепые мерзости, чем те, что представлены нам на первых страницах этой книги: изнасилования, отравления, кровосмешение, убийства и все, что с ними связано, автор обрушивает на своего героя, и это с самого раннего детства. Верно, что автор, по-видимому, мало заботился о том, чтобы придать этой клевете видимость

правдоподобия; и что он сам иногда демонстрирует их невозможность, а иногда опровергает их анахронизмами, алиби и противоречиями всякого рода; ошибками в именах, лицах и наиболее достоверных фактах и т. Д. Так, например, когда Наполеону было всего около десяти или двенадцати лет и он был заключен в пределах Военной школы, он заставляет его совершать безобразия, которые потребовали бы, по крайней мере, зрелого возраста и определенной степени свободы и т. Д. Автор заставляет его предпринять то, что он называет грабежами Италии, во главе восьми тысяч галерных рабов, бежавших с бань в Тулоне. После этого он заставляет двадцать тысяч поляков покинуть австрийские ряды, чтобы присоединиться к штандарту французского генерала, и т. Д. Тот же автор заставляет Наполеона прибыть в Париж во Фруктидоре, когда весь мир знает, что он никогда не покидал свою армию. Он заставляет его вести переговоры с принцем Конде и просить руки королевской принцессы в качестве платы за его предательство. Я опускаю ряд других вещей, столь же абсурдных и дерзких. Очевидно, что, в частности, в отношении расплывчатых и нелепых анекдотов, он лишь собрал все, что смог услышать; но из какого источника он почерпнул свою информацию? Большая часть анекдотов, несомненно, возникла в определенных клеветнических и недоброжелательных кругах Парижа; но, пока они существовали на этой почве, они все еще сохраняли видимость некоторого остроумия, соли, остроты, колорита, некоторого изящества в отношениях; в то время как истории в этой книге, очевидно, спустились из гостиных на улицы и были подобраны только после того, как покувыркались в конуре. Англичане позволяли этому быть настолько грубым, что, за исключением самых вульгарных слоев общества, эта работа была ядом, который нес в себе противоядие.

Возможно, вас удивит, что я не отложил в сторону это произведение, прочитав первую страницу; но его грубость и вульгарность настолько велики, что не могут вызвать гнева: с другой стороны, нет такого отвращения, которое нельзя было бы преодолеть, чтобы скрасить тяжелые часы на острове Святой Елены. Мы считаем, что нам повезло, что у нас есть что изучать. “Время, - сказал император несколько дней назад, - это единственное, чего у нас здесь в избытке”. Поэтому я продолжил работу. И, кроме того, мне, возможно, будет позволено сказать, что я не без некоторого удовольствия читаю сейчас абсурдные истории, ложь и клевету, которые автор, как обычно, утверждает, что почерпнул из лучших источников, относящиеся к предметам, с которыми я теперь так прекрасно знаком и которые стали для меня такими же знакомыми, как подробности моей собственной жизни; и точно так же приятно исписывать страницы, заполненные самыми лживыми изображениями, и демонстрировать портрет, чисто фантастический для изучения истины рядом с реальным персонажем, в его собственной беседе, всегда полный о новинках и грандиозных идеях.

Император пожелал, чтобы я пришел к нему сегодня утром после завтрака, и я нашел его в утреннем халате лежащим на диване. Этот разговор привел его к тому, что он спросил меня, что я читаю в данный момент. Я ответил, что это была одна из самых известных и непристойных пасквилей, опубликованных против него, и я тут же процитировал ему некоторые из его самых отвратительных историй. Он от души посмеялся над ними и пожелал увидеть работу. Я послал за ней, и мы вместе просмотрели ее. Переходя от одной ужасной клеветы к другой, он восклицал: “Иисус!”, неоднократно перекрестившись, — обычай, который, как я заметил, был ему знаком в его маленьком дружеском кругу всякий раз, когда он сталкивался с чудовищными, наглыми, циничными утверждениями, которые вызывают его негодование и удивление, но не вызывают его гнева. По мере того, как мы продвигались дальше, император анализировал некоторые факты и исправлял моменты, о которых автору могло быть что-то известно. Иногда он пожимал

плечами из сострадания, в других случаях от души смеялся, но никогда не выказывал ни малейшего признака гнева. Когда он прочитал статью, в которой говорится о его больших распутствах и излишествах, насилии и безобразиях, которые, как утверждается, он совершил, он заметил, что автор, несомненно, хотел сделать из него героя во всех отношениях; что он охотно предоставил его тем, кто обвинял его в импотенции; что эти джентльмены должны были договориться между собой; весело добавив, “что не всем так не повезло, как судебному защитнику Тулузы”. Однако, продолжал он, они были неправы, нападая на него с точки зрения морали; на него, который, как известно всему миру, так необычайно улучшил ее. Они не могли не знать, что по натуре он вовсе не был склонен к разврату; и что, более того, множество его романов никогда бы не дали ему времени предаваться этому. Когда он дошел до страниц, где его мать описывалась как исполнительница самой отвратительной и подлой роли в Марселе, он остановился и несколько раз повторил с оттенком негодования и чего-то похожего на скорбь: “Ах! Мадам!— Бедная мадам! — с ее благородным характером! если бы она это прочла!— Великий Боже!”

Так мы провели более двух часов, после чего он начал одеваться. Ему представили доктора О'Мира: это было обычное время его приема. “Доктор,” сказал ему император по-итальянски, пока он брился, “я только что прочел одно из ваших прекрасных лондонских произведений против меня”. Выражение лица доктора свидетельствовало о желании узнать, что это было. Я показал ему книгу на расстоянии; это он сам одолжил ее мне; он был смущен. “Это очень справедливое замечание,” продолжал император, “что оскорбляет только истина. Я ни на минуту не рассердился, но я часто смеялся над этим”. Доктор попытался ответить и озадачил себя высокопарными фразами: это была, по его словам, гнусная, отвратительная клевета; все знали, что это так; никто не обратил на это никакого внимания; тем не менее, могли найтись люди, которые поверили бы этому, поскольку на это не было ответа. “Но как с этим можно справиться?” - спросил император. “Если кому-нибудь придет в голову напечатать, что я оброс волосами и ходил на четвереньках, найдутся люди, которые поверят этому и скажут, что Бог наказал меня так же, как Навуходоносора. И что я мог сделать? В таких случаях нет никакого средства правовой защиты”. Доктор ушел, с трудом веря в ту веселость, безразличие, добродушие, свидетелем которых он только что был: что касается нас самих, то теперь мы к этому привыкли.

ИМПЕРАТОР РЕШАЕТ ВЫУЧИТЬ АНГЛИЙСКИЙ И т.д.

16—го. Около трех часов император пожелал, чтобы я пришел и побеседовал с ним, пока он одевается; после этого мы несколько раз прогулялись по саду. Он случайно заметил, что жаль, что он еще не умеет читать по-английски. Я заверил его, что, если бы он продолжил свои уроки после тех двух, которые я дал, когда мы были на Мадейре, он теперь мог бы читать все виды английских книг. Он был полностью убежден в этом и приказал мне впредь обязать его брать уроки каждый день. Затем разговор привел меня к замечанию, что я только что дал своему сыну его первый урок математики. Это отрасль знаний, которую император очень любит и в которой он особенно искусен. Он был поражен, что я мог так многому научить своего сына без помощи какой-либо работы и без какой-либо тетради; он сказал, что не знал, что я так образован в этом отношении, и пригрозил мне экзаменом, когда я этого не ожидал, как у учителя, так и у ученого. За обедом он атаковал того, кого он называл профессором математики, который был очень близок к тому, чтобы быть заданным им: один вопрос не ждал другого, и они часто были очень увлечены друг другом. Он никогда не переставал сожалеть о том, что математике в лицах не

преподавали в самом раннем возрасте. Он сказал, что все его намерения относительно Университетов были расстроены, горько пожаловался на г-на де Фонтана, сетуя на то, что, пока он был вынужден находиться на расстоянии, продолжая войну, они испортили все, что он сделал дома, и т. Д. Это привело императора к первым годам его жизни, к отцу Патро, его профессору математики, историю которого он нам рассказал: я уже знакомил с ней.

ПЕРВЫЙ УРОК АНГЛИЙСКОГО И Т.Д.

17—го.- Сегодня император взял свой первый урок английского языка. И поскольку я намеревался сразу же научить его читать газеты с готовностью, этот первый урок состоял не более чем в знакомстве с английской газетой; в изучении формы и плана этой газеты; в заучивании мест, которые всегда отводятся различным темам, которые в ней публикуются; в отделении городских заметок и сплетен от политики; и, в последнем случае, в том, чтобы научиться отличать подлинное от того, что является простым сообщением или догадкой.

Я пообещал, что, если бы император мог терпеть, когда его каждый день раздражают подобными уроками, он смог бы читать газеты через месяц без помощи кого-либо из нас. Впоследствии император пожелал проделать несколько упражнений; он написал несколько предложений, которые были ему продиктованы, и перевел их на английский с помощью маленькой таблицы вспомогательных глаголов и артиклей, которую я сделал для него, и словаря других слов, который я заставил его посмотреть самого. Я объяснил ему правила синтаксиса и грамматики в том виде, в каком они были до нас: таким образом, он составлял различные предложения, которые забавляли его больше, чем версии, которые мы также пробовали. После урока, в два часа, мы отправились на прогулку в сад.

Прозвучало несколько мушкетных выстрелов: они были так близко от нас, что, казалось, стреляли в самом саду. Император заметил мне, что мой сын (мы думали, что это он), похоже, неплохо развлекается; я ответил, что это последний раз, когда он наслаждается этим так близко от императора. “В самом деле,” сказал он, - вы можете с таким же успехом пойти и сказать ему, что он должен приближаться к нам только на пушечный выстрел”. Я побежал: мы обвинили его несправедливо, потому что из ружей стреляли люди, которые тренировали лошадей императора.

После обеда, во время кофе, император, отведя меня в угол камина, положил руку мне на голову, чтобы измерить мой рост, и сказал: “Я для вас великан”. - “Ваше величество великан для стольких других, — заметил я ему, - что меня это несколько не беспокоит”. Он сразу же заговорил о другом, потому что не любит останавливаться на выражениях такого рода.

НАШИ ПОВСЕДНЕВНЫЕ ПРИВЫЧКИ.—БЕСЕДА С ГУБЕРНАТОРОМ УИЛКСОМ.—АРМИИ.—ХИМИЯ.-ПОЛИТИКА.—ЗАМЕЧАНИЯ ОБ ИНДИИ.-ДЕЛЬФИНА, АВТОР MAD. DE STAËL.—NECKER, CALONNE.

18-20—е гг. Мы вели жизнь, полную единообразия. Император не выходил из дома по утрам. Урок английского языка проходил очень регулярно около двух часов; затем следовала либо прогулка по саду, либо какие-то презентации, которые, однако, были очень редкими; после этого небольшая экскурсия в коляске, поскольку лошади наконец были доставлены. Перед обедом мы занимались пересмотром кампаний в Италии или Египте, а после ужина читали романы.

20-го числа император принял губернатора Уилкса, с которым у него состоялась глубокая беседа об армии, науке, правительстве и Индии. Говоря об организации английской армии, он много останавливался на принципах продвижения в ней по службе, выражая свое удивление тем, что в стране, где соблюдается равенство прав, солдаты так редко становятся офицерами.

Полковник Уилкс признал, что английские солдаты не были созданы для того, чтобы становиться офицерами; и сказал, что англичане были в равной степени поражены той огромной разницей, которую они заметили во французской армии, где почти каждый солдат демонстрировал зарождающиеся таланты офицера. “Это, ” заметил император, “ один из величайших результатов Воинской повинности; она сделала французскую армию самой хорошо укомплектованной из когда-либо существовавших. Это институт, ” продолжал он, “ сугубо национальный и уже прочно вошедший в наши привычки; он перестал быть причиной горя для всех, кроме матерей; и близилось то время, когда девушка не стала бы слушать молодого человека, который не оправдал своего долга перед своей страной. И только достигнув этого момента, ” добавил он, “ Воинская повинность проявила бы в полной мере свои преимущества. Когда служба больше не выглядит наказанием или обязательной обязанностью, а становится делом чести, которому все завидуют, только тогда нация становится великой, славной и могущественной; именно тогда ее существование становится защитой от неудач, вторжений — даже от руки времени!

“Кроме того, - продолжал он, - можно с уверенностью сказать, что нет ничего такого, чего нельзя было бы получить от французов, испытывая возбуждение перед опасностью; оно, по-видимому, воодушевляет их; это наследие, которое они унаследовали от своих галльских предков.... Храбрость, любовь к славе - это для французов инстинкт, своего рода шестое чувство. Как часто в пылу сражения мое внимание было приковано к моим молодым новобранцам, впервые бросающимся в самую гущу боя: честь и доблесть прорываются наружу каждой порой ”.

После этого император, зная, что губернатор Уилкс хорошо осведомлен в химии, напал на него по этому поводу. Он говорил об огромном прогрессе во всех наших производствах, вызванном этой наукой. Он сказал, что и в Англии, и во Франции, несомненно, были великие химики; но что химия была более широко распространена во Франции и более конкретно направлена на полезные результаты; что в Англии она оставалась наукой, в то время как во Франции становилась полностью практической. Губернатор признал, что эти наблюдения были совершенно правильными, и с щедростью чувств добавил, что именно ему, императору, были обязаны все эти преимущества и что везде, где науку вела рука власти, она оказывала большое и благоприятное воздействие на благосостояние общества. Император заметил, что в последнее время Франция получала сахар из свеклы, такой же качественный и дешевый, как из сахарного тростника. Губернатор был поражен; он даже не подозревал об этом. Император заверил его, что это установленный факт, противоречащий укоренившимся предрассудкам всей Европы, не исключая и саму Францию. Он добавил, что то же самое происходит с вад, заменителем индиго, и почти со всеми колониальными продуктами, за исключением красивой древесины. Это привело его к выводу, что если изобретение компаса произвело революцию в торговле, то прогресс химии вполне мог вызвать контрреволюцию.

Затем разговор зашел о нынешней многочисленной эмиграции ремесленников Франции и Англии в Америку. Император заметил, что эта любимая страна разбогатела благодаря нашим

безрассудствам. Губернатор улыбнулся и ответил, что жители Англии займут первое место в списке из-за многочисленных ошибок администрации, которые привели к восстанию и последующей эмансипации Колоний. Император сказал, что их эмансипация неизбежна; что, когда дети достигают размеров своих отцов, их трудно долго удерживать в состоянии повиновения.

Затем они заговорили об Индии; губернатор прожил там много лет и занимал высокие посты; он провел важные исследования; он был в состоянии ответить на множество вопросов, предложенных ему императором, относительно законов, манер, обычаев индусов, управления англичан, природы и построения существующих законов и т.д.

Англичане управляются в соответствии с законами Англии; местные жители - в соответствии с местными актами, принятыми несколькими советами на службе Компании, фундаментальным принципом которых является придание им как можно большего сходства с законами самого народа.

Хайдер Али был гениальным человеком; Типпу, его сын, был высокомерным, невежественным и опрометчивым. У первых было более 100 000 человек; у вторых едва ли когда-либо превышало 50 000. Эти люди не лишены храбрости, но они не обладают нашей физической силой, у них нет ни дисциплины, ни каких-либо знаний тактики. Семнадцать тысяч человек на английской службе, из которых только 4000 были европейцами, было достаточно, чтобы уничтожить Майсурскую империю. Однако следовало предположить, что рано или поздно национальный дух спасет эти регионы от владычества европейцев. Смешение европейской крови с кровью туземцев привело к образованию смешанной расы, численность и характер которой, несомненно, подготовили почву для великой революции. Тем не менее, в своем фактическом положении люди были счастливее, чем до владычества англичан: беспристрастное отправление правосудия и мягкость правительства были в настоящее время сильнейшей опорой могущества метрополии. Было также сочтено целесообразным запретить англичанам и другим европейцам покупать там земли или создавать наследственные учреждения и т.д.

"Дельфина" мадам де Сталь в то время была предметом разговоров на наших вечерних приемах. Император проанализировал ее: мало что в ней избежало его осуждения. Беспорядочный ум и воображение, которыми пронизана эта книга, вызвали его критику: повсюду, по его словам, были те же недостатки, которые раньше заставляли его держать писательницу на расстоянии, несмотря на самые явные заигрывания и самую неустанную лесть с ее стороны. Как только победа обессмертила молодого генерала итальянской армии, мадам де Сталь, незнакомая с ним, из простой симпатии к славе немедленно прониклась к нему чувствами энтузиазма, достойными ее собственной Коринны; она написала ему длинные и многочисленные послания, полные остроумия, воображения и метафизической эрудиции: это была ошибка, заметила она, проистекающая только из человеческих установлений, которая могла объединить его с кроткой, спокойной мадам Бонапарт; это была огненная душа, подобная ее (мадам де Сталь). хс), что природа, несомненно, предназначила быть спутницей такого героя, как он.

Я ссылаюсь на Кампани в Италии, чтобы показать, что эта дерзость со стороны мадам де Сталь не была остановлена обстоятельством встречи без возврата. С упорством, которое никогда не унывало, в более поздний период ей удалось завязать некоторое знакомство, вплоть до того, что ей разрешили навещать; и она пользовалась этой привилегией, по словам императора, до неприятной степени. Как уже сообщалось, бесспорно, верно, что генерал, желая заставить ее

осознать это, однажды в качестве оправдания заставил ее сказать, что он едва одет; и что она быстро и серьезно ответила, что это неважно, поскольку этот гений был бесполом.

От мадам де Сталь нас, естественно, привели к ее отцу, месье Неккеру. Император рассказал, что в Женеве, по пути в Маренго, он нанес ему визит, в ходе которого тот довольно неловко сообщил о своем желании снова быть допущенным к управлению — желанию, кстати, которое г-н Калонн, его соперник, впоследствии приехал в Париж, чтобы выразить с непостижимой степенью легкомыслия. Г-н Неккер впоследствии написал опасную работу о политике Франции, которая, как он пытался доказать, больше не может существовать ни как монархия, ни как республика, и в которой он назвал Первого консула *человеком необходимости*.

Первый консул запретил это произведение, которое в то время могло нанести ему серьезный ущерб, и поручил опровержение его консулу Лебрену, “который в своей изящной прозе”, по словам императора, быстро и всесторонне оценил его. *Кружок* Неккеров был раздражен, и мадам де Сталь, замешанная в каких-то интригах, получила приказ покинуть Францию: с тех пор она стала ярым и непримиримым врагом. Тем не менее, вернувшись с острова Эльба, она написала или послала императору, чтобы выразить в свойственной ей манере энтузиазм, который вызвало в ней это чудесное событие; что она была побеждена; что этот последний поступок был совершен не простым смертным; что он сразу вознес его автора до небес. Затем, придя в себя, она в заключение намекнула, что, если император снизойдет до выплаты двух миллионов, на которые король уже подписал указ в ее пользу, ее перо и ее принципы должны быть навсегда посвящены его интересам. Император пожелал, чтобы в ответ ей сообщили, что ничто не может польстить ему больше, чем ее одобрение, потому что он полностью ценит ее таланты; но что на самом деле он недостаточно богат, чтобы купить это по такой цене.

ОПИСАНИЕ МОЕГО НОВОГО ЖИЛЬЯ. —УТРЕННИЙ ВИЗИТ И С.

21.— Наконец-то я вступил во владение новым жилищем, построенным для меня вместо моей прежней печи. На постоянно влажной почве был устроен пол длиной восемнадцать футов и шириной одиннадцать; он был окружен стеной толщиной в полтора фута, сложенной из суглинка и которую можно было сбить ногой; на высоте семи футов он был покрыт дощатой крышей, защищенной слоем бумаги и гудрона. Таковы были конструкция и очертания моего нового дворца, разделенного на две комнаты, в одной из которых стояли две кровати, разделенные комодом, и оставалось место только для единственного стула; в другой, одновременно моей гостиной и библиотеке, было единственное окно, плотно зашторенное из-за сильных ветров и дождя; справа и слева от нее стояли два письменных стола для меня и моего сына; с противоположной стороны стояли кушетка и два стула. Такова была вся мебель и жилые помещения: добавьте к этому, что оба окна обращены к ветру, постоянно дующему с одной и той же стороны и обычно сопровождающемуся дождем, часто очень сильным, который до того, как мы им овладели, уже пробивался сквозь щели или пропитывал стены и крышу. Я только что провел свою первую ночь в этих новых покоях; я был нездоров, и смена постели помешала мне уснуть. Около семи часов мне сообщили, что император уезжает верхом; я ответил, что, плохо себя чувствуя, постараюсь немного отдохнуть; но прошло всего несколько минут, когда в мои покои поспешно вошел человек, с властным видом раздвинул занавески, упрекнул меня в праздности и заявил, что от моих недугов нужно избавиться; затем, затем, пораженный запахом краски, чрезвычайной теснотой комнаты и близостью двух кроватей, он решил, что мы больше не можем терпеть этого. спать, свернувшись калачиком таким образом;

что это слишком вредно для здоровья; и что я должен вернуться на кровать в топографическом кабинете, которую мне не следует покидать из ложной деликатности; и что, если я причиню там какие-либо неудобства, мне скажут об этом. Все догадались, что этим человеком был Император. Я, конечно, вскоре встал с постели, одетый и в хорошем настроении. Император, однако, был уже далеко: мне пришлось искать его в парке. После того, как я догнал его, наш разговор зашел о долгой аудиенции, которую он дал губернатору Уилксу накануне. Он с большим юмором рассказывал о том огромном значении, которое, по-видимому, придавала мне моя работа в глазах губернатора, и о том чрезвычайном расположении ко мне, которым она, по-видимому, вдохновила его. “Конечно, - продолжал он, - понятно, что эти чувства должны быть взаимными; обычное уважение и братство авторов до тех пор, пока они не критикуют друг друга. И знает ли он о вашем родстве с достопочтенным Лас Касасом? Я ответил, что ничего не знаю об этом; но генерал Гурго, который был по другую сторону от императора, ответил утвердительно. “А откуда ты сам это знаешь?” - спросил меня император. “Разве ты не крутишь с нами роман?” “Вот, государь, мои доказательства. Наша семья двести лет жила во Франции, когда Бартеlemi де Лас Касас процветал в Испании; но все испанские историки описывают его как уроженца того же города, из которого мы сами родом, то есть Севильи. Все они упоминают его как представителя древнего рода французского происхождения и утверждают, что его предки переехали в Испанию именно в то время, когда туда отправилась наша семья”. — “Что же, тогда вы не испанец? Он был французом, как и вы!” — “Да, сир”. — “Давайте послушаем об этом; подойдите, сэр кастелян, сэр странствующий рыцарь, сэр паладин, — позвольте нам увидеть вас во всей вашей славе; разверните ваши старые пергаменты; приходите, повеселитесь”. — “Сир, один из моих предков последовал за Генрихом, графом Бургундским, который во главе нескольких крестоносцев добился завоевания Португалии примерно в 1100 году. Он был его знаменосцем в знаменитой битве при Орике, которая положила начало португальской монархии. После этого мы вернулись во Францию с королевой Бланш, когда она вышла замуж за отца Людовика Святого. Сир, это целое”.

ИМПЕРАТОРСКИЕ ЧТЕНИЯ.—МАДАМ ДЕ СЕВИНЬЕ.—КАРЛ XII.—ПАВЕЛ И ВИРДЖИНЯ.—ВЕРТО.—РОЛЛЕН.—ВЕЛЛИ.—ГАРНЬЕ.

22-26. Эти дни были неприятными из-за почти непрекращающегося дождя. Император смог выехать верхом только дважды — однажды утром в парке и один раз днем через нашу обычную долину, которую погода сделала почти непроходимой. Воспользоваться коляской также не представлялось более практичным; поэтому мы были вынуждены ограничиться несколькими прогулками по саду и разделить с нами унылую погоду. Однако мы работали больше из-за этого. Император регулярно брал отличные и продолжительные уроки английского языка. У него есть обычай проводить все утро за чтением; он регулярно перечитывает все произведения очень значительного объема от начала до конца, не чувствуя ни малейшей усталости; он всегда читал мне какую-нибудь часть из них перед началом уроков английского.

Одним из них были Письма мадам де Севинье, стиль которых так прост и так точно отражает нравы того времени. Читая "Смерть Тюренна" и "Суд над Фуке", он заметил относительно последнего, что мадам де Севинье, казалось, проявляла слишком много теплоты, слишком много серьезности и нежности для простой дружбы.

Другим был Карл XII., читая, как он защищал свой дом в Бендерах от турок, он не мог удержаться от смеха и повторял, как и они: “Железноголовый! Железноголовый! Он спросил меня, является

ли природа смерти этого монарха решенным вопросом. Я сказал ему, что узнал об этом из уст Густава III. сам, что он был убит своими последователями. Густавус осмотрел его тело в склепе; пуля была пистолетной; она была выпущена очень близко и позади него и т. Д.

В начале Революции я был хорошо знаком с Густавом III на водах Экс-ла-Шапель; и, хотя я был тогда очень молод, я не раз имел честь беседовать с ним: он даже обещал мне место в своем флоте, если наши дела во Франции обернутся неблагоприятно.

На другой день император читал *Павла и Виргинию*; он в полной мере оценил трогательные пассажи, которые всегда были простыми и естественными; те, которые изобиловали пафосом, абстрактными и ложными идеями, столь модными во время публикации произведения, были, по мнению императора, холодными, дурными, испорченными. Он сказал, что в юности был без ума от этой книги, но лично к ее автору у него было мало уважения; он никогда не мог простить ему того, что тот злоупотребил его великодушием по возвращении из Итальянской армии.

“Чувствительность и деликатность Бернардена де Сен-Пьера, “ сказал он, - мало гармонировали с его очаровательным изображением Поля и Вирджинии. Он был плохим человеком; он очень плохо обращался со своей женой, дочерью печатника Дидо; он всегда был готов просить милостыню без малейшего стыда. Когда я вернулся из Итальянской армии, Бернардин пришел навестить меня и почти сразу же начал рассказывать о своих желаниях. Я, который в ранней юности не мечтал ни о чем, кроме Поля и Виргинии, и который, кроме того, чувствовал себя польщенным доверием, которое, как я полагал, было оказано мне одному и которое я приписывал своей великой известности, поспешил нанести ему ответный визит и, никем не замеченный, оставил на уголке его камина маленький рулетик в двадцать пять луидоров. Но как же я был огорчен, увидев, что все смеются над деликатностью моего поведения, и узнав, что подобные церемонии были совершенно излишни для г-на Бернардена, который сделал своим ремеслом просить милостыню у всех желающих и получать от каждого! Я всегда сохранял некоторую обиду на него за то, что он таким образом навязался мне. С моей семьей было иначе. Джозеф назначил ему большую пенсию, и Луи постоянно делал ему подарки”.

Но хотя императору нравились Павел и Виргиния, он из жалости смеялся над "Исследованиями природы" того же автора. “Бернардин, - сказал он, - хотя и разбирался в художественной литературе, был очень слабым геометром; эта последняя работа была настолько плоха, что ученые мужи побрезговали ответить на нее: Бернардин громко жаловался, что они его не замечают. Знаменитый математик Лагранж, говоря на эту тему, всегда говорил, имея в виду Институт: “Если бы Бернардин был одним из нашего класса, если бы он говорил на нашем языке, мы бы призвали его к порядку; но он принадлежит Академии, и его стиль не соответствует нашей линии”. ["линия"](#). Однажды Бернардин, как обычно, жаловался Первому консулу на молчание ученых по отношению к его работам. Наполеон спросил: “Вы понимаете дифференциальный метод, господин Бернарден?” — “Нет”. — “Что ж, идите и изучите его, и тогда вы сможете ответить сами”. Впоследствии, когда император каждый раз, встречаясь с Сен-Пьером, говорил ему: “М. Бернардин, когда у нас будут еще "Поль и Виргиния" или "Индийские коттеджи"? Ты должен снабжать нас продуктами каждые шесть месяцев.

Читая "Римские революции" Вертота, о которых в других отношениях император высокого мнения, он нашел декламации слишком расплывчатыми. Это была его постоянная жалоба на каждую работу, за которую он брался; по его словам, в молодости он сам был во многом виноват

в этом отношении. Можно с полным основанием сказать, что впоследствии он полностью исправился. Он забавлялся тем, что вычеркивал лишние фразы в Vertot; и в результате после стираний работа казалась гораздо более энергичной и оживленной. “Несомненно, это был бы в высшей степени ценный и успешный труд, - сказал он, - если бы какой-нибудь человек со вкусом и проницательностью посвятил свое время тому, чтобы таким образом сократить основные произведения нашего языка. Я едва ли знаю какого-либо писателя, кроме Монтескье, который избежал бы этих ограничений. Он часто обращался к Роллену, которого считал рассеянным и слишком доверчивым. Кревье, его продолжатель, казался Наполеону отвратительным. Он жаловался на наши классические произведения и на время, которое наша молодежь вынуждена терять на чтение таких плохих книг. Они были сочинены риториками и простыми профессорами, сказал он; в то время как такие бессмертные темы, составляющие основу всех наших знаний на протяжении всей жизни, должны были быть написаны и отредактированы государственными деятелями и светскими людьми”. У императора были прекрасные идеи на этот счет; только нехватка времени помешала ему привести их в исполнение.

Император был еще более недоволен нашими французскими историками; он не мог вынести чтения ни одного из них. Велли богат словами и беден смыслом: его продолжатели еще хуже. - Наша- Наша история, - сказал император, - должна быть либо в четырех, либо в пяти томах, либо в сотне. Он был знаком с Гарнье, который продолжил Велли и Вилларе; он жил совсем недалеко от Мальмезона. Это был восьмидесятилетний старик, живший в маленькой квартирке на первом этаже, недалеко от дороги. Пораженный назойливым вниманием, которое этот добрый старик всегда проявлял, когда мимо проходил Первый консул, последний спросил, кто он такой. Узнав, что это был Гарнье, он понял его мотивы. “Он, без сомнения, воображал, “ любезно сказал император, - что первый консул является его собственностью как историка. Осмелюсь сказать, однако, что он был удивлен, обнаружив консулов там, где привык видеть королей. Наполеон сам сказал ему об этом, смеясь, когда однажды позвонил ему и назначил хорошую пенсию. “С тех пор, - сказал император, - бедняга в порыве благодарности с радостью написал бы все, что мне заблагорассудится, от всего сердца”.

ПРЕОДОЛЕННАЯ ТРУДНОСТЬ.—ЛИЧНАЯ ОПАСНОСТЬ ИМПЕРАТОРА При ЭЙЛАУ, ЙЕНЕ И С.—РУССКИЕ, АВСТРИЙСКИЕ И ПРУССКИЕ ВОЙСКА.—МОЛОДОЙ ГИБЕР.—КОРБИНО.—МАРШАЛ ЛАНН.—БЕССЬЕР.—ДЮРОК.

27—го. Около пяти часов император выехал в своей коляске; вечер был очень погожий; мы ехали быстро, и расстояние, которое предстояло преодолеть, было очень коротким. Император приказал слугам замедлить шаг, чтобы продлить поездку. Когда мы возвращались, император, бросив взгляд на лагерь, от которого нас отделял только овраг, спросил, почему мы не можем пройти этим путем, который удвоил бы продолжительность нашего путешествия. Ему сказали, что это невозможно, и мы продолжили наш путь домой. Но внезапно, словно воодушевленный этим словом “невозможно”, которое, как он так часто повторял, не было французским, он приказал произвести разведку местности. Мы всевышли из экипажа, который пустым проследовал к самым трудным местам; мы увидели, что он преодолел все препятствия, и вернулись домой с триумфом, как будто только что удвоили наши владения.

Во время ужина и после него разговор зашел о различных ратных подвигах. Великий маршал сказал, что то, что больше всего поразило его в жизни императора, произошло при Эйлау, когда

колонна из четырех или пяти тысяч русских, сопровождаемая всего несколькими офицерами его штаба, почти соприкоснулась с ним. Император был пеш; принц Невшатель немедленно приказал запрячь лошадей; император бросил на него укоризненный взгляд; затем отдал приказ батальону своей гвардии наступать, который был на порядочном расстоянии позади и стоял на месте. Когда русские продвигались вперед, он несколько раз повторил: “Какая дерзость! какая дерзость!” При виде гвардейских гренадеров русские резко остановились. Как сказал Бертран, им давно пора было это сделать. Император не шелохнулся; все, кто его окружал, были очень встревожены. [встревожены.](#)

Император выслушал этот рассказ, не сделав никаких замечаний; но, когда он был закончен, он сказал, что одним из лучших маневров, которые он помнит, был тот, который он совершил в Экмюле. К сожалению, он не стал продолжать и не сообщил никаких подробностей. “Успех на войне,” сказал он, “ в такой степени зависит от дальновидности и от улучшения подходящего момента, что битва при Аустерлице, которая была полностью выиграна, была бы проиграна, если бы я атаковал на шесть часов раньше. Русские показали себя в этом случае такими превосходными войсками, каких они никогда с тех пор не показывали; русская армия при Аустерлице не проиграла бы Московскую битву”.

“Маренго, - сказал император, - было сражением, в котором австрийцы сражались лучше всего: их войска вели себя там превосходно; но это была могила их доблести. С тех пор его никто никогда не видел.

“Пруссак под Йеной не оказали такого сопротивления, какого можно было ожидать, исходя из их репутации. Что касается толп 1814 и 1815 годов, то они были просто сбродом по сравнению с настоящими солдатами при Маренго, Аустерлице и Йене”.

Император сказал, что в ночь перед битвой при Йене он подвергся величайшему риску. Тогда он мог исчезнуть, так и не узнав о своей судьбе. Он приблизился к бивуакам противника в темноте, чтобы произвести разведку; с ним было всего несколько офицеров. Мнение, которое тогда сложилось о прусской армии, держало всех в боевой готовности: считалось, что пруссаки особенно склонны к ночным атакам. Когда император возвращался, в него выстрелил первый часовой его лагеря; это послужило сигналом для всей линии; у него не было другого выхода, кроме как броситься ничком, пока ошибка не была обнаружена. Ноего главным опасением было то, что прусская линия фронта, находившаяся совсем рядом с ним, будет действовать таким же образом.

При Маренго австрийские солдаты не забыли победителя Кастильоне, Арколе и Риволи; его имя имело на них большое влияние; но они были далеки от мысли, что он присутствовал здесь; они думали, что он мертв; были предприняты все усилия, чтобы убедить их, что он погиб в Египте; что Первый консул, о котором они теперь слышали, был всего лишь его братом. Это сообщение повсюду приобрело такую популярность, что Наполеону пришлось публично появиться в Милане, чтобы опровергнуть его.

После этих анекдотов император перешел к упоминанию большого числа своих офицеров и адъютантов, по ходу дела раздавая им похвалы и порицания; он знал их всех досконально. По его словам, двумя обстоятельствами, которые больше всего повлияли на него на поле боя, были смерти молодого Гибера и генерала Корбино. При Абукире пуля прошла прямо в грудь первого, не убив его мгновенно; император, сказав ему несколько слов, был вынужден из-за буйства

своих чувств покинуть его. Другой был унесен, раздавлен, уничтожен пушечным ядром в Эйлау, на глазах у императора, когда тот отдавал ему какие-то приказы. Император рассказал также о последних минутах маршала Ланна, доблестного герцога Монтебелло, которого по справедливости называли армейским Орландо, который, когда император посетил его на смертном одре, казалось, забыл о своем собственном положении и сочувствовал только ему, которого любил превыше всего. Император питал к нему величайшее уважение. “Долгое время он был простым воином, ” сказал он, - но впоследствии стал офицером высочайших талантов”. Затем кто-то сказал, что хотел бы знать, какой линии поведения придерживался бы Ланн в эти последние времена, если бы был жив. “Мы научились, ” сказал император, “ ни в чем не клясться. И все же я не могу представить, что для него было возможно свернуть с пути долга и чести. Кроме того, трудно представить, что он мог существовать. При всей его храбрости, он, несомненно, был бы убит в каком-нибудь из последних сражений или, по крайней мере, достаточно ранен, чтобы оказаться вне центра событий и их влияния. И если бы он оставался одноразовым, то был человеком, способным изменить весь облик дел своим собственным весом и влиянием ”.

Затем император упомянул Дюрока, о характере и жизни которого он некоторое время размышлял. “Дюрок, ” заключал он, “ обладал живыми, нежными и скрытыми страстями, мало соответствующими холодности его манер. Прошло много времени, прежде чем я узнал об этом, настолько точным и регулярным было выполнение его обязанностей. Только когда мой день был полностью завершен и я наслаждался отдыхом, началась работа Дюрока. Случай или какая-то другая случайность могли познакомить меня с его характером. Он был чистым и добродетельным человеком, совершенно бескорыстным и чрезвычайно щедрым”.

Император сказал, что в начале кампании под Дрезденом он потерял двух чрезвычайно ценных для него людей, причем самым глупым образом в мире: это были Бессьер и Дюрок. Упомянув об этом обстоятельстве, император теперь проявил стоицизм, который был явно несвойственен ему. Когда он пришел навестить Дюрока после того, как тот получил смертельную рану, он попытался обнадежить его; но Дюрок, который не обманывал себя, только в ответ попросил его распорядиться, чтобы ему дали опиум. Император, чрезмерно взволнованный, не мог отважиться долго оставаться с ним и оторвался от этого удручающего зрелища.

Затем один из сопровождавших напомнил императору, что, расставшись с Дюроком, он в одиночестве расхаживал взад-вперед перед своей палаткой: никто не осмеливался к нему обратиться. Но так как на следующий день требовались некоторые существенные меры, кто-то, наконец, осмелился спросить его, где будет размещена гвардейская батарея. “Не спрашивай меня ни о чем до завтра”, - был ответ императора.

При этом воспоминании император с заметным усилием внезапно заговорил о чем-то другом.

Дюрок был одним из тех людей, ценность которых не узнаешь, пока они не потеряны: после его смерти это стало общим выражением Двора и города и единодушным чувством повсюду.

Он был уроженцем Нанси, в департаменте Ла-Мерт. О происхождении его состояния говорилось выше. Наполеон нашел его в обозе при осаде Тулона и сразу заинтересовался им. Его привязанность к нему росла с каждым днем, и можно сказать, что они больше никогда не расставались. Я уже упоминал в другом месте, что слышал, как император говорил, что на протяжении всей своей карьеры Дюрок был единственным человеком, который пользовался его

безоговорочным доверием и которому он мог свободно излить душу. Дюрок не был блестящей личностью, но он обладал превосходным суждением и оказывал важные услуги, о которых, в силу их характера, а также его скрытности, мало кто слышал.

Дюрок любил императора таким, какой он есть: он был привязан скорее к отдельному человеку, лично, чем к монарху. Став доверенным лицом чувств своего принца, он приобрел искусство и, возможно, право смягчать их и направлять. Как часто он шептал людям, потрясенным гневом императора: “Пусть будет по-своему: он говорит, руководствуясь своими чувствами, а не согласно своему суждению; и не так, как он будет действовать завтра”. Какой слуга! какой друг! какое сокровище! Сколько бурь он успокоил! сколько необдуманных приказов, отданных в минуту раздражения, он не выполнил, зная, что его хозяин поблагодарил бы его на следующий день за это упущение! Император смирился с такого рода молчаливым соглашением и по этой причине тем охотнее поддавался тем бурным вспышкам гнева, которые дают выход страстям.

Дюрок умер самым прискорбным образом, в очень критический момент; его смерть стала еще одним роковым событием в карьере Наполеона.

На следующий день после битвы при Вурцене, ближе к вечеру, только что закончилась перестрелка при Райхенбахе, стрельба прекратилась. Дюрок находился на вершине холма, в стороне от войск, беседуя с генералом Киршнером и наблюдая за отступлением последних шеренг противника. В эту сверкающую группу была направлена шашка, и роковой шар убил обоих генералов.^[30]

Дюрок имел большее влияние на решения императора, чем можно себе представить. В этом отношении его смерть, вероятно, стала национальным бедствием. Есть основания думать, что, если бы он выжил, Дрезденского перемирия, разорившего нас, не состоялось бы; мы продвинулись бы к Одере и за его пределы. Тогда враг немедленно заключил бы мир, и мы избежали бы их козней, их интриг и, прежде всего, низкого и чудовищного вероломства австрийского кабинета министров, которое закончилось нашим уничтожением.

В последующий период Дюрок, возможно, все еще оказывал влияние на другие великие события и, вероятно, изменил ход событий. Наконец, даже при более поздних обстоятельствах, во время падения Наполеона, он никогда бы не отделил свою судьбу от судьбы императора: он был бы с нами на острове Святой Елены; и одной этой помощи было бы достаточно, чтобы уравновесить все ужасные неприятности, которыми старательно угнетали Наполеона.

Бессьер из департамента Лот был брошен Революцией на военную карьеру. Он начинал рядовым в конституционной гвардии Людовика XVI. Впоследствии, достигнув звания капитана егерей, он привлек внимание главнокомандующего итальянской армией актами необычайной личной храбрости; и когда генерал сформировал свой отряд проводников, он выбрал Бессьера, чтобы тот принял над ним командование. Таково было начало Бессьера и происхождение его состояния. С этого момента мы всегда находим его во главе консульской или императорской гвардии, командующим резервом, решающим ход сражения или извлекающим выгоду из победы. Его имя славно связано со всеми нашими великими битвами.

Бессьер возвысился вместе с человеком, который отличил его, и с избытком пользовался милостями, которые раздавал император. Он был произведен в маршалы империи, герцоги Истрии, полковники кавалерии гвардии и т.д.

Его качества, развивавшиеся сами по себе по мере того, как он поднимался, доказывали, что он всегда соответствовал своей удаче. Бессьер всегда был добрым, гуманным и щедрым, отличался старинной верностью и порядочностью и, независимо от того, считался ли он гражданином или солдатом, честным и достойным человеком. Он часто пользовался высоким расположением, которым пользовался, чтобы оказывать экстраординарные услуги и проявлять доброту даже к людям с совершенно отличным от его образом мышления. Я знаю некоторых, кто, если в них есть искра благодарности, подтвердит мое утверждение и сможет засвидетельствовать его благородные возвышенные чувства.

Гвардейцы обожали Бессьера, среди которых он провел свою жизнь. В битве при Ваграме пуля сбила его с лошади, не причинив ему больше никаких увечий. Скорбный крик раздался со стороны всего батальона, на что Наполеон заметил, когда увидел его в следующий раз: “Бессьер, пуля, попавшая в тебя, вызвала слезы у всей моей гвардии. Поблагодарите его в ответ; он должен быть вам очень дорог”.

Ему повезло меньше в начале кампании в Саксонии. В самый канун битвы при Лютцене произошла пустяковая стычка, в которой, пробравшись в самую гущу стрелков, он был застрелен на месте мушкетным шаром в грудь. Таким образом, прожив как Баярд, он умер как Тюрэнн.

Я разговаривал с ним незадолго до этого рокового события. Случай свел нас наедине в частной ложе в театре. После разговора об общественных делах, которые его глубоко интересовали, поскольку он боготворил свою страну, его последними словами, когда он покидал меня, были слова о том, что он должен отправиться в армию этой ночью и надеется, что мы снова встретимся. “Но в условиях нынешнего кризиса, - сказал он, - с нашими молодыми солдатами мы, лидеры, не должны щадить себя”. Увы! ему так и не суждено было вернуться.

Бессьер был искренне привязан к императору; он почти боготворил его; он, как и Дюрок, конечно, никогда бы не отказался от его личности или его состояния. И можно было бы действительно подумать, что Судьба, которая оказалась столь решительно враждебной к Наполеону в его последние дни, решила лишить его самого сладкого утешения, удалив таким образом двух таких ценных друзей; и в то же время помешать этим верным слугам приобрести самое высокое право на славу, на благодарность несчастным.

Император приказал перенести останки этих двух людей, которых он так высоко ценил и которые, как он знал, любили его в ответ, в *доминвалидов* в Париже. Он намеревался оказать им необычайные почести, которых их лишили последующие события. Но история, страницы которой гораздо более нетленны, чем мрамор или бронза, освятила их и навеки защитила от забвения.^[31]

ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.—РАЗМЫШЛЕНИЯ.—ПОЕЗДКА ВЕРХОМ.—ЗАГНАННАЯ ЛОШАДЬ.

31—е. - Наши дни проходили, как и можно предположить, в чрезмерно тупом однообразии. *Скука*, размышления и меланхолия были нашими грозными врагами; оккупация - нашим великим и единственным прибежищем. Император следовал своим занятиям с большой регулярностью. Английский язык стал для него важным делом. Прошло уже почти две недели с тех пор, как он получил свой первый урок, и с того момента он посвящал этому занятию

несколько часов каждый день, начиная с полудня, иногда с поистине восхитительным рвением, иногда с видимым отвращением; альтернатива, которая вызывала у меня величайшее беспокойство. Я придавал успеху первостепенное значение: каждый день я боялся увидеть, как он бросит землю, завоеванную накануне, и, следовательно, меня сочтут за то, что я утомил его тяжелейшим трудом, не добившись того счастливого результата, который я себе обещал. С другой стороны, меня также ежедневно подстегивало сознание того, что я приближаюсь к цели, к которой стремился. Овладение английским языком было настоящим и серьезным завоеванием императора. Раньше, по его словам, это обходилось ему в сто тысяч крон в год только за переводы; и откуда он знает, точные ли они у него, верны ли? Теперь, когда мы были как бы заключены в тюрьму посреди этого языка, окружены его произведениями, все великие перемены и вопросы, которые император вызвал к жизни на континенте, были подхвачены англичанами с противоположной стороны; и в их произведениях перед ним предстало так много новых лиц, с которыми он до сих пор был незнаком.

Можно добавить, что французских книг у нас было мало; что император знал их все и даже зачитался ими до отвала; в то время как мы могли легко раздобыть множество английских произведений, совершенно новых для него. Кроме того, изучение языка иностранца всегда располагает его в нашу пользу; это приносит удовлетворение самому себе; это облегчает общение и в известной степени формирует начало своего рода связи между сторонами. Как бы то ни было, я начал осознавать пределы наших трудностей; я предвкушал момент, когда Император преодолет все неизбежные неприятности, возникающие у новичков. Но пусть любой человек, если это возможно, составит себе представление о том, чем, должно быть, было для него схоластическое изучение спряжений, склонений и артиклей. Это никогда не могло бы быть достигнуто без большого мужества со стороны ученого и некоторой степени искусности со стороны мастера. Он часто спрашивал меня, не заслуживает ли он ферулы, которая, как он теперь понял, чрезвычайно полезна в школах; он в шутку заявлял, что сам добился бы гораздо больших успехов, если бы боялся наказания. Он жаловался на то, что ему не стало лучше; но на самом деле достигнутый им прогресс был бы экстраординарным в любом другом деле.

Чем более грандиозен, быстр и всеобъемлющ ум, тем меньше он способен заикливаться на обычных мельчайших деталях. Император, обнаруживший удивительную легкость в понимании всего, что касалось философии языка, проявил очень мало способностей к сохранению его материального механизма. У него было быстрое понимание и очень плохая память; это сильно досаждало ему; он понимал, что у него ничего не получается. Всякий раз, когда я мог подвергнуть рассматриваемые вопросы какому-либо регулярному закону или аналогии, они классифицировались и постигались в одно мгновение; ученый даже опережал учителя в его приложениях и умозаключениях; но что касается заучивания наизусть и сохранения грубых элементов языка, то это было чрезвычайно трудным делом. Он постоянно путал одно с другим, и поначалу было бы сочтено, что требовать слишком скрупулезной регулярности слишком щепетильно. Другая трудность заключалась в том, что при использовании тех же букв, тех же гласных, что и у нас, требуется совершенно иное произношение; ученый не допустил бы никого, кроме нас; а учитель десятикратно умножил бы трудности и неприятности, если бы ему потребовалось что-то лучшее. Кроме того, ученый, даже на своем родном языке, был неисправимо склонен к искажению имен собственных и иностранных слов; он произносил их совершенно по своему усмотрению, и когда однажды они слетали с его губ, они всегда оставались неизменными, несмотря ни на что, потому что таким образом он раз и навсегда закрепил их как бы в своей голове. То же самое произошло и с большинством наших английских

слов: и учитель счел за лучшее проявить благоразумие и терпение, чтобы пропустить это мимо ушей, предоставив времени постепенно исправлять, если это когда-либо будет возможно, все эти дефекты. Из этих совпадающих обстоятельств фактически возник новый язык. Правда, его понимал один я; но это доставляло императору удовольствие читать по-английски, и он мог, в самом строгом смысле этого слова, добиться того, чтобы его понимали, написав на этом языке. Это было очень много, это было все.

Тем временем император регулярно продолжал свои походы в Египет вместе с Великим маршалом. Моя кампания в Италии была давно закончена; мы постоянно трогали и ретушировали ее, учитывая типографскую форму, расположение глав, разделение параграфов и т.д.

Время от времени он также диктовал отдельные части для Господа. Gourgaud и Монтолон. Ко всей этой работе он добавлял очень мало физических упражнений: время от времени совершал пешие прогулки, иногда ездил в коляске и почти никогда верхом. Однако 30-го числа он предпочел вернуться в нашу Долину Безмолвия, которую мы давно покинули. Мы были почти в середине долины; проход был завален сухими кустами и чем-то вроде заграждения для пропуска скота. Слуга (верная Али), как обычно, спешил, чтобы расчистить нам дорогу. Мы проехали дальше, но пока слуга помогал нам, его лошадь отбилась от него и, когда он попытался поймать ее, убежала. Прошел сильный дождь, и лошадь увязла в трясине, подобной той, в которой император через несколько дней после нашего прибытия в Лонгвуд увяз так прочно, что возникло сомнение, не останется ли он в ней и дальше. Слуга побежал за нами, чтобы сказать, что он должен остаться, чтобы отвязать свою лошадь. Мы ехали по очень трудной узкой дороге, один за другим. Только некоторое время спустя император услышал, как мы упомянули друг другу о несчастном случае со слугой. Он находил большую ошибку в том, что мы не дождались его, и желал, чтобы великий маршал и генерал Гурго вернулись за ним. Император спешил, чтобы подождать их, и поднялся на небольшое возвышение, на котором он выглядел как фигура на пьедестале посреди руин. Он перекинул уздечку своей лошади через руку и начал насвистывать какую-то мелодию; немая природа вторила звукам, но только бесплодной пустыне. “А ведь совсем недавно, - подумал я, - сколько скипетров было у него в руках! сколько корон принадлежало ему! сколько королей было у его ног! Это правда, ” сказал я, “ что в глазах тех, кто приближается к нему, кто ежедневно видит и слышит его, он еще более велик, чем когда-либо! Таково мнение всех о нем. Мы служим ему с не меньшим рвением; мы любим его с большей привязанностью, чем когда-либо”.

Но тут прибыли великий маршал и Гурго; они помогли императору снова сесть в седло, и мы двинулись дальше. Эти джентльмены признали, что без их помощи лошадь никогда не удалось бы спасти; объединенных усилий всех троих едва хватило, чтобы освободить ее. Спустя значительное время, повернув за угол дороги, император заметил, что слуга не последовал за ним, и сказал, что им следовало остаться, пока они не убедятся, что он в состоянии идти дальше. Они подумали, что он задержался, чтобы немного почистить лошадь. В ходе нашей поездки на нескольких других поворотах император повторил то же самое замечание. Мы прибыли к великому маршалу, вошли и отдохнули там несколько минут; когда мы вышли, император спросил, не проходил ли мимо слуга; никто его не видел. Когда мы прибыли в Лонгвуд, его первым вопросом было, вернулся ли мужчина. Он пробыл дома некоторое время, вернувшись другой дорогой. Возможно, я несколько чересчур заострил внимание на этом незначительном обстоятельстве, но я сделал это потому, что оно показалось мне совершенно

характерным. В этой домашней заботливости читателю будет трудно узнать бесчувственное, упрямое, злое, жестокое чудовище — тирана, о котором ему так часто и так долго рассказывали.

ИМПЕРАТОР ВОСХВАЛЯЕТ СВЯТУЮ ЕЛЕНУ.—СКУДНЫЕ РЕСУРСЫ ОСТРОВА.

1 Февраля.—Самая счастливая и мудрая философия - это та, которая иногда позволяет нам видеть наименее неблагоприятную сторону самых неприятных вещей. Император, который, несомненно, находился в тот момент под влиянием этого счастливого чувства, заметил, когда мы прогуливались с ним по саду, что, в конце концов, как место ссылки, возможно, остров Святой Елены - лучшее, что могло быть. В высоких широтах мы бы сильно страдали от холода, а на других тропических островах владели бы жалкое существование под палящими лучами солнца. “Эта скала, - продолжал он, - без сомнения, дикая и бесплодная; климат здесь однообразный и нездоровый; но температура, надо признать, мягкая и приятная”.

Впоследствии он спросил меня в ходе беседы, что было бы предпочтительнее, Англия или Америка, если бы мы могли свободно следовать своим собственным склонностям. Я ответил, что, если бы император пожелал провести свои дни в философском уединении, вдали от мирской суеты, он выбрал бы Америку; но, если бы он испытывал какой-либо интерес или тешил себя какими-либо запоздалыми мыслями относительно государственных дел, ему следовало бы предпочесть Англию. И, не желая отставать в придании дополнительного штриха к лестной картине, которую император нарисовал о нашей несчастной скале, я даже осмелился сказать, что, возможно, сложатся обстоятельства, при которых остров Святой Елены окажется не самым худшим из возможных убежищ. Мы могли бы здесь укрыться, в то время как в других частях света бушевала буря; и мы были бы помещены вне досягаемости противоречивых страстей, обстоятельства во всех отношениях благоприятствовали шансу на более счастливое будущее. Эти наблюдения возникли из моего желания представить вещи с их наиболее справедливой стороны; я расширил горизонт до предела моего воображения.

Между тем, чтобы составить правильное представление о нашем месте ссылки и скудости его ресурсов, необходимо лишь отметить, что сегодня нам сообщили, что потребуется экономить различные предметы нашего повседневного потребления и, возможно, даже временно пожертвовать некоторыми. Нам сказали, что запасы кофе быстро сокращаются и что вскоре они могут быть полностью исчерпаны. В течение значительного времени мы отказывали себе в употреблении белого сахара; его было очень мало, и притом очень плохого, который приберегался исключительно для употребления императором; и теперь есть все шансы, что этот небольшой запас будет исчерпан прежде, чем удастся раздобыть еще. То же самое происходит и с различными другими предметами первой необходимости. Наш остров подобен кораблю в море; наши запасы быстро истощаются, если плавание затягивается или если нам нужно прокормить больше ртов, чем у нас есть средств для снабжения. Наше прибытие привело к дефициту на острове Святой Елены, особенно потому, что торговым судам теперь не разрешается приближаться к острову; у нас могло возникнуть искушение поверить, что они избегают его как роковой скалы, если бы мы знали, что английский крейсер тщательно удерживает их в бухте. Но из всех лишений, которые нам грозят, то, что нас больше всего удивляет и что больше всего досадно, - это отсутствие писчей бумаги. Нам сообщили, что за время нашего трехмесячного пребывания здесь мы израсходовали всю бумагу на острове; это доказывает либо то, что остров Святой Елены в целом очень скудно снабжается этой бумагой, либо то, что мы использовали ее в самом неразумном количестве. Заключение Лонгвуда,

должно быть, потребляли в шесть или восемь раз больше, чем все остальные члены колонии вместе взятые.

В дополнение к этому необходимо принимать во внимание наши физические и моральные лишения; следует помнить, что мы не в полной мере пользуемся даже теми немногими ресурсами, которые предоставляет остров и которых частично лишают нас произвольные чувства и прихоти; ибо нам не позволено радовать наши глаза видом травы и листвы в местах, расположенных на определенном расстоянии от Лонгвуда. Адмирал пообещал, что император сможет свободно передвигаться по всему острову и что он примет меры в отношении его охраны, чтобы избавить его от всяких неприятностей. Мы уже видели, как при нашей второй попытке воспользоваться этим адмирал разорвал такого рода соглашение; и по его приказу офицер настоял на том, чтобы сопровождать императора в его поездках. Вследствие этого император отказался от идеи какой бы то ни было экскурсии, и теперь мы остаемся отрезанными от всякого общения с человечеством.

Что касается нашего физического существования, то наше положение самое плачевное либо из-за неизбежных обстоятельств, либо из-за неправильного управления. Едва ли что-либо из продуктов съедобно. Вино отвратительное, масло непригодно к употреблению, кофе и сахар почти закончились, и, как я уже заметил, мы едва не вызвали на острове голод. Конечно, мы можем вынести все эти лишения и могли бы умудриться существовать при многих других. Но когда утверждается, что с нами обращаются великолепно, когда объявляется, что мы очень богаты, нас побуждают раскрыть наше реальное положение и показать, что мы лишены всякого комфорта. И, чтобы наше молчание в дальнейшем не привело к выводу, что мы счастливы, пусть будет понятно, что наша моральная сила может позволить нам переносить страдания, которые невозможно выразить языком.

НЕДОМОГАНИЕ МОЕГО СЫНА.—ИМПЕРАТОР ДАРИТ МНЕ ЛОШАДЬ.

2.—Моего сына в течение некоторого времени беспокоили боли в груди, сопровождавшиеся сильным сердцебиением, я вызвал трех хирургов, и они приказали пустить ему кровь.—Кровотечение в настоящее время является излюбленным средством англичан; это их универсальная панацея. Они применяют его при всех заболеваниях, а иногда и там, где никаких заболеваний вообще нет. Они смеялись над тем удивлением, которое мы проявили по поводу обращения, которое было для нас совершенно новым.

Примерно в середине дня мы отправились кататься на коляске. По возвращении домой император пожелал посмотреть на только что купленного для него коня: он счел его очень красивым и хорошо сложенным. Он попробовал его, заявил, что он ему необычайно понравился, а затем с самым подкупающим добродушием преподнес мне его в подарок. Однако я не смог оседлать его: он оказался злобным, и его перевели к генералу Гурго, который гораздо лучший наездник, чем я.

УСПЕХИ ИМПЕРАТОРА В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.

3-6-е число. 3-е было ужасным днем; дождь лил не переставая, и мы обнаружили, что невозможно выйти на улицу. Погода оставалась влажной несколько дней подряд. Я никогда не думал, что мы могли бы так долго оставаться за дверями. Сырость проникает во все уголки нашего жилища, и дождь пробивается сквозь крышу. Плохая погода без дверей оказала неприятное воздействие на нас внутри.—Я стал очень унылым; император ни в коем случае не был здоров, и я был не лучше. “Что с тобой?” - спросил он меня однажды утром. “Ты выглядишь совершенно изменившимся за последние несколько дней. У тебя помутился рассудок? Вы вызываете драконов, как мадам де Севинье?” — “Сир, ” ответил я, “ моя болезнь носит исключительно физический характер. Состояние моих глаз чрезвычайно огорчает меня. Что касается моего разума, я знаю, как держать его в узде. Я могу даже воспользоваться уздечкой, если понадобится; и ваше величество подарили мне пару шпор, которые станут моим последним и победоносным подспорьем.

Император посвящал изучению английского языка по три, четыре и даже пять часов кряду. Его успехи были действительно замечательными; он чувствовал это и был этому рад. Он часто говорит, что обязан мне за это завоевание и что считает его очень важным. Однако, со своей стороны, я не могу претендовать ни на какие другие заслуги, кроме метода, который я применил в отношении других занятий императора. Сначала я высказал эту идею, а затем постоянно возвращался к ней; и когда она была окончательно утверждена, я приступил к ее осуществлению с быстротой и ежедневной регулярностью, которые побудили императора продолжать. Если кому-то из нас случалось не быть готовым в тот момент, когда он этого хотел, если оказывалось необходимым отложить какое-либо дело до следующего дня, его немедленно охватывало отвращение, и его работа приостанавливалась до тех пор, пока не возникало каких-либо обстоятельств, которые побудили бы его возобновить ее. “Я нуждаюсь в волнении, ” сказал он в один из таких кратковременных перерывов, - ничто, кроме удовольствия от продвижения по службе, не может помочь мне пережить это, ибо, между нами говоря, во всем этом нет ничего особенно забавного. Действительно, во всей рутине нашего нынешнего существования очень мало развлечений”.

Император все еще продолжал играть две или три партии в шахматы перед обедом; после обеда мы возобновили *reversis*, давно заброшенный. Раньше мы не были регулярны в выплате наших долгов чести; и отныне мы договорились [agreed](#) выплачивать суммы, которые мы были должны друг другу, в общий банк. Мы начали обдумывать, как распорядиться накопленными таким образом деньгами. Император поинтересовался нашим мнением, и один из них предложил направить эти деньги на освобождение самой красивой рабыни на острове. Эта идея получила всеобщее одобрение; мы с большим воодушевлением сели играть, и в первый же вечер получили два с половиной Наполеона.

ИМПЕРАТОР УЗНАЕТ О СМЕРТИ МЮРАТА.

7-8—го. Фрегат "Фиван" прибыл с мыса и привез нам несколько газет. Я перевел их императору, пока мы гуляли в саду. В одном из этих документов сообщалось о великой катастрофе. Я читал, что Мюрат, высадившийся в Калабрии с несколькими войсками, был схвачен и расстрелян. Услышав эту неожиданную новость, император прервал меня, воскликнув: “Калабрийцы были

более гуманны, более великодушны, чем те, кто послал меня сюда”. Это было все, что он сказал; и после нескольких минут молчания, поскольку он ничего не сказал, я продолжил читать.

Мюрат, не имевший здравого смысла, твердых взглядов, характера, соответствующего обстоятельствам, в которые он попал, погиб в попытке, очевидно, отчаянной. Не исключено, что возвращение императора с Эльбы, возможно, вскружило ему голову и внушило надежду возродить вундеркинда в его собственном лице. Таков был жалкий конец того, кто был одной из самых активных причин наших неудач! В 1814 году его мужество и неустрашимость могли спасти нас от пропасти, в которую втянуло нас его предательство. Он нейтрализовал вице-короля на реке По и сражался против него; тогда как, объединившись, они могли бы форсировать перевалы Тироля, спуститься в Германию и прибыть к Бале и берегам Рейна, чтобы уничтожить тыл союзников и отрезать им путь к отступлению из Франции.

Император, находясь на Эльбе, избегал всяких сношений с неаполитанским королем; но, отбывая во Францию, он написал ему, что, собираясь возобновить свое владение тронem, он с удовольствием объявил ему, что всем их прошлым разногласиям пришел конец. Он простил его недавнее поведение, предложил ему свою дружбу, послал кого-нибудь подписать гарантии своих Штатов и порекомендовал ему поддерживать хорошее взаимопонимание с австрийцами и довольствоваться тем, что просто сдерживал их на случай, если они попытаются напасть на Францию. Мюрат, в этот момент вдохновленный чувствами своей ранней юности, не получил бы ни гарантий, ни подписи. Он заявил, что ему достаточно обещания и дружбы императора и что он докажет, что был скорее несчастлив, чем виновен. Его преданность и пыл, добавил он, принесут ему забвение прошлого.

“Мюрат, ” сказал император, “ был обречен стать нашим проклятием. Он погубил нас, покинув нас, и он погубил нас, слишком горячо поддерживая наше дело. Он не соблюдал никакой осторожности. Он сам напал на австрийцев, без какого-либо разумного плана и без достаточных сил; и он был покорен, не нанеся ни одного удара”.

Австрийцы, избавившись от Мюрата, ссылались на его поведение либо как на причину, либо как предлог для приписывания амбициозных взглядов Наполеону, когда он снова появился на сцене. Они постоянно ссылались на Мюрата, когда император заявлял о своей умеренности.

Еще до этих неудачных военных действий неаполитанского короля император уже приступил к переговорам с Австрией. Другие низшие государства, которые я считаю излишним упоминать поименно, дали ему понять, что он может положиться на их нейтралитет. Несомненно, падение неаполитанского короля придало новый оборот делу.

Предпринимались попытки представить Наполеона человеком яростного и неумолимого нрава; но правда в том, что ему была чужда месть, и он никогда не лелеял никакого мстительного чувства, какое бы зло ему ни причинили. Его гнев обычно выливался в приступах ярости, и вскоре ему наступал конец. Те, кто знал его, должны быть убеждены в этом факте. Мюрат позорно предал его; как я уже отмечал, он дважды разрушил свои перспективы, и все же Мюрат приехал просить убежища в Тулоне. “Я должен был взять его с собой на Ватерлоо, - сказал Наполеон, - но патриотические и моральные чувства французской армии были таковы, что было сомнительно, смогут ли войска преодолеть отвращение и ужас, которые они испытывали к человеку, предавшему и потерявшему Францию. Я не считал себя достаточно могущественным, чтобы защитить его. И все же он мог бы помочь нам одержать победу.

Насколько полезным он был бы в определенные периоды битвы! Ибо что требовалось в определенные моменты дня для обеспечения нашего успеха? — прорваться через три или четыре английских каре; и Мюрат был великолепен в таком деле, как это, — он был именно тем человеком, который для этого подходил. Во главе кавалерийского отряда никогда не было человека более решительного, отважного и блестящего.

“Что касается проведения параллели,” сказал император, — между обстоятельствами, в которых оказались Наполеон и Мюрат, — между высадкой первого во Франции и вступлением второго на неаполитанскую территорию, — то такой параллели не существует. У Мюрата не было веских аргументов в поддержку своего дела, кроме успеха, который был чисто химерическим в то время и в том виде, в каком он начал свое предприятие. Наполеон был избранным правителем народа; согласно современным доктринам, он был его законным сувереном. Но Мюрат не был неаполитанцем; неаполитанцы не выбирали Мюрата; как же, следовательно, можно было ожидать, что он вызовет какой-либо живой интерес в свою пользу? Таким образом, его заявление было полностью ложным и лишенным фактов. Фердинанд Неаполитанский не мог рассматривать его ни в каком другом свете, кроме как как подстрекателя к восстанию; он сделал это и обращался с ним соответственно.

“Как по-другому было со мной!” — продолжал император. — “До моего прибытия во Францию царило единое всеобщее чувство, и мое воззвание при высадке было проникнуто этим чувством: каждый обнаружил, что оно перекликается с чувствами его собственного сердца. Франция была недовольна; я был ее ресурсом. Зло и средство от него немедленно проявили себя в унисон. В этом весь секрет того электрического движения, которое не имеет аналогов в истории. Это имело свой источник исключительно в природе вещей. Никакого заговора не было, и импульс был общим; не было произнесено ни слова, однако по всей стране царило общее понимание. Целые города бросались к ногам своего избавителя. Первый батальон, который я получил в свое распоряжение, немедленно отдал всю армию в мою власть. Я оказался в Париже. Существующее правительство и его ведомство исчезли без усилий, как облака перед солнцем. И все же,” заключил император, “если бы я был покорен, если бы я попал в руки моих врагов, я был бы не просто вождем мятежников; я был бы Сувереном, признанным всей Европой. У меня был мой титул, мое знамя, мои войска, и я продвигался вперед, чтобы вести войну со своим врагом”.

ПОРЛЬЕ—ФЕРДИНАНД.

9. В бумагах, которые я переводил императору, я нашел историю испанского генерала Порлье, одного из самых выдающихся вождей знаменитых партизан. Он предпринял попытку побудить испанцев восстать против тирании Фердинанда, но потерпел неудачу, был арестован и повешен.

Император сказал: “Я несколько не удивлен, что такая попытка была предпринята в Испании. Те самые испанцы, которые проявили себя моими самыми заклятыми врагами, когда я вторгся в их страну, и которые приобрели высшую славу благодаря сопротивлению, которое они мне оказали, немедленно обратились ко мне по моему возвращению с Эльбы. Они сказали, что сражались против меня как своего тирана, но теперь пришли умолять меня о помощи как своего избавителя. Им требовалась лишь небольшая сумма, чтобы освободиться и произвести на

полуострове революцию, подобную моей. Если бы я победил при Ватерлоо, я намеревался немедленно оказать помощь испанцам. Это обстоятельство в достаточной степени объясняет мне недавнюю попытку. Нет никаких сомнений в том, что она будет возобновлена. Фердинанд в своем безумии может сжимать свой скипетр так крепко, как ему заблагорассудится, но рано или поздно он ускользнет у него из пальцев, как угорь”.

Около четырех часов я представил императору капитана "Тебана", который на следующий день должен был отплыть в Европу, и полковника Макоя из Цейлонского полка. Этот храбрый солдат был похож на изуродованный памятник; он не только потерял одну ногу, но и его лицо было обезображено сабельным порезом на лбу и несколькими другими шрамами. Он был ранен на поле битвы в Калабрии и взят в плен генералом Партоно. Император принял его с особым вниманием; было легко заметить, что они испытывали взаимную симпатию друг к другу. Полковник Макой имел звание майора в корсиканском полку, которым командовал новый губернатор, которого мы и ожидали. Полковник заметил кому-то, что, по его мнению, с императором здесь очень плохо обращались; но что у него слишком высокое представление о щедрости ума генерала Лоу, чтобы не поверить, что, приняв правительство Острова, он сделает все, что в его силах, чтобы улучшить наше положение.

Император после этого выехал верхом, когда мы снова поднялись в долину, и вернулся только около семи часов. Затем император возобновил прогулку по саду; температура была очень мягкой, и восхитительно светила луна. Полностью установилась прекрасная погода.

О ЕГИПТЕ.—ПЛАН ИЗМЕНЕНИЯ ТЕЧЕНИЯ НИЛА.

10—е. Император теперь начинает быстро продвигаться в английском; и, с помощью своего словаря, мог бы сносно обойтись без меня. Он был в восторге от того решительного прогресса, которого добился. Его сегодняшним уроком было чтение в Британской энциклопедии статьи о Ниле, которую он время от времени записывал, чтобы помочь себе диктовать великому маршалу. В этой статье император обнаружил связанный с ней факт, о котором я ранее упоминал при нем, но который он до сих пор считал абсурдной историей. Великий Альбукерке предложил королю Португалии повернуть течение Нила до его впадения в Египетскую долину таким образом, чтобы он впадал в Красное море, что превратило бы Египет в непроходимую пустыню и сделало бы мыс Доброй Надежды единственным каналом для крупной торговли с Индией. Брюс считает, что осуществление этой гигантской идеи не совсем невозможно; император был сильно поражен ею.

Около пяти часов император вышел проветриться в коляске; поездка была чрезвычайно приятной, а то обстоятельство, что было срублено несколько деревьев, образовало несколько обходных дорог, что сделало наше первоначальное пространство в три раза больше, чем раньше. По возвращении мы воспользовались прекрасным вечером, чтобы долго гулять по саду: беседа была очень интересной. Она касалась различных важных тем, а именно: о разнообразии религий; о духе, который дал им рождение; о нелепых абсурдах, с которыми они были смешаны; о крайностях, из-за которых они деградировали; о возражениях, которые выдвигались против них, и т. Д. Император относился ко всем этим подданным со своим обычным превосходством.

ЕДИНООБРАЗИЕ.—СКУКА.—ОДИНОЧЕСТВО ИМПЕРАТОРА.—КАРИКАТУРЫ.

11—е. Сегодня утром император прочитал в Энциклопедии статью, озаглавленную "Египет", и сделал из нее несколько заметок, которые не могут не пригодиться ему в его Египетской кампании. Это обстоятельство доставило ему большое удовольствие, и в течение дня он несколько раз повторял, насколько он доволен достигнутыми успехами. Теперь он достаточно продвинулся, чтобы читать без посторонней помощи.

Около четырех часов я проводил императора в сад: некоторое время мы гуляли одни, но потом к нам присоединились остальные члены общества. Погода была очень мягкая. Император отметил спокойствие нашего уединения. Было воскресенье, и рабочих не было видно. Он добавил, что нас, по крайней мере, нельзя обвинить в распутстве или в страстной погоне за удовольствиями; на самом деле, трудно представить состояние большего единообразия или более полного отсутствия всякого рода развлечений.

Император превосходно переносит такой образ жизни. Он превосходит всех нас уравновешенностью и безмятежностью характера. Он сам говорит, что было бы трудно быть более философичным и спокойным, чем он. Он ложится спать в десять часов и не встает, то есть не выходит на улицу, раньше пяти или шести часов, так что он никогда не проводил на улице больше четырех часов; подобно заключенному, которого раз в день выводят из камеры подышать свежим воздухом. Но тогда насколько интенсивна занятость каждого дня! насколько разнообразны мысли, занимающие его ум в долгие часы одиночества! Что касается умственных нагрузок, император сказал, что чувствует себя таким же способным выносить их, каким был когда-либо; что он ни в каком отношении не чувствует себя измотанным или иссохшим. Он сам был поражен тем легким впечатлением, которое произвели на него все последние события, в которых он был главным действующим лицом. Это было похоже на то, как свинец прошел по мрамору. Пружина, возможно, и была на мгновение сжата, но она не была сломана и снова поднялась со всей своей эластичностью. Он не думал, что кто-либо в мире лучше него знает, как уступить необходимости; это, по его словам, и есть настоящий триумф разума и силы духа.

Настал час нашей поездки. Когда император шел встречать коляску, он случайно увидел маленькую Гортензию, дочь мадам Бертран, которую он очень любит. Он подозвал ее к себе, два или три раза приласкал и повез кататься в экипаже вместе с маленьким Тристаном де Монтолоном. Во время поездки верховный маршал, просматривавший бумаги, рассказал о некоторых добродетелях и карикатурах, которые он нашел среди них. В одной из них было много смысла. Картина состояла из двух действий; одно изображало Наполеона, вручающего принцессе Хэсфилд письмо, исчезновение которого спасло ее мужа, с указанием предать его огню; под ним было написано "Тиранический акт узурпатора". Спутник был совсем другого характера. Мы описали императору множество карикатур, которыми нас завалили после реставрации. Некоторые из них доставили ему большое удовольствие. Одно из них особенно вызвало у него улыбку: оно касалось смены династии.

Император заметил, что если карикатуры иногда мстят за несчастья, то они постоянно раздражают власть. "Думаю, я получил свою долю от них", - сказал он. Затем он попросил нас описать некоторые из тех, что были сделаны для него, и очень одобрил одно из них как выполненное с хорошим вкусом. Это был набросок, изображающий Георга III. на побережье Англии, в порыве гнева бросил огромный корень свеклы в голову Наполеона, находившегося на противоположном берегу, и сказал: "Ступай, и из тебя сделают сахарницу".

ДОЛГИЙ ПУТЬ ИМПЕРАТОРА.

12—го.- Установилась довольно хорошая погода. Около четырех часов император прогуливался по саду. Температура была восхитительной, и мы все признали, что это был один из наших лучших вечеров в Европе. Мы не получали ничего подобного с тех пор, как были на острове. Император приказал запрячь коляску; и для разнообразия, вместо того чтобы ехать мимо камедных деревьев, чтобы попасть на дорогу, ведущую к дому великого маршала, он пожелал свернуть на дорогу, которая огибает верхнюю лощину нашей любимой долины, и добраться, если возможно, до места, на котором расположена резиденция мисс Мейсон, и которое находится на противоположной стороне, напротив Лонгвуда. Император пригласил мадам Бертран прокатиться в коляске, в которой уже сидели мадам де Монтолон и я; остальные члены нашей свиты последовали за ним верхом, так что теперь мы все были в сборе. В нескольких шагах от дома мадам Бертран, на военном посту, расположенном рядом с домом, местность была очень крутой и неровной; лошади отказывались идти вперед, и нам пришлось выйти из коляски. Барьер был едва ли достаточно широк, чтобы пропустить карету, но английские солдаты пришли нам на помощь и через мгновение прорвали его главными силами. Однако, когда мы достигли низины, прогулка показалась нам настолько приятной, что император пожелал продолжить ее; и через некоторое время он приказал подать экипаж по дороге до ворот дома мисс Мейсон, в то время как мы продолжили нашу прогулку по долине. Вечер действительно был восхитительный; ночные тени начинали покрывать небо, но луна сияла ослепительно. Наша прогулка напомнила нам о тех прогулках, которыми мы привыкли наслаждаться погожими летними вечерами по соседству с нашими загородными резиденциями в Европе.

Коляска теперь вернулась, но император отказался садиться в нее. Он распорядился, чтобы оно ждало у дверей мадам Бертран; но когда император добрался туда, он предпочел отправиться пешком в Лонгвуд, куда прибыл очень усталым. Он прошел почти шесть миль, что очень много для него, который никогда в жизни не привык ходить пешком.

ПЛОХАЯ ТЕМПЕРАТУРА НА ОСТРОВЕ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ.—ЗАМЕЧАНИЕ О ДУХЕ ЭТОГО ЖУРНАЛА.

13-16—е. Я уже заметил, что на острове Святой Елены нет регулярной смены сезонов, а просто нерегулярная смена хорошей и плохой погоды. Было бы трудно найти четыре слова, чтобы выразить любое отклонение от нашего привычного распорядка в течение этих четырех дней. И здесь я пользуюсь возможностью заметить раз и навсегда, что если в ходе ведения моего дневника события нескольких дней иногда встречаются объединенными в одной статье, то это потому, что я вычеркнул часть заметок, относящихся к каждому дню в отдельности. Меня побудили сделать это разные мотивы. Иногда мои заметки казались мне слишком ребяческими; иногда, с другой стороны, они казались слишком серьезными и рассчитанными на более отдаленный период; а иногда они касались личностей, и я взял за правило старательно избегать всего подобного. Если, несмотря на всю мою осторожность, от меня ускользнули какие-либо оскорбительные личные намеки, то это могло произойти только тогда, когда я был привлечен к ним основной целью моего дневника, а именно, чтобы описать характер императора. Даже тогда я могу подумать, для собственного удовлетворения, что эти личности

относятся только к общественным деятелям и ссылаются на факты, уже распространенные в мире.

Я, однако, прекрасно понимаю, что задача, за которую я взялся, может доставить мне множество неудобств; но я считаю это священным долгом и постараюсь выполнить его в меру своих способностей, будь что будет.

ВЗГЛЯДЫ ИМПЕРАТОРА НА ФРАНЦУЗСКУЮ ПОЛИТИКУ.

17—го.- В шесть часов утра император сел на коня, и мы объехали парк, начав с окрестностей нашей долины и доехав до дороги, ведущей из лагеря к резиденции великого маршала. Отряд примерно из 150 или 200 матросов с "Нортумберленда", которые ежедневно были заняты тем, что убирали доски или камни для обслуживания Лонгвуда или лагеря, выстроился в шеренгу перед домом маршала Бертрана, в то время как император проходил мимо. Император заговорил с офицерами и самодовольно улыбнулся своим старым товарищам по кораблю; они, казалось, были рады его видеть.

Я уже упоминал, что мы время от времени получали посылки с газетами из Европы, содержание которых привлекало наше внимание и побудило императора нарисовать несколько живых и одушевленных картинок. Беседуя сегодня на тему недавно полученных нами разведанных, император заметил, что положение Франции никоим образом не улучшилось. "У бурбонов," повторил он, - сейчас нет другого ресурса, кроме жестокости. Уже прошло четыре месяца; союзные войска вот-вот будут выведены, а приняты лишь половинчатые меры. Делом плохо управляли. Правительство может существовать только благодаря своим принципам. Принцип французского правительства, очевидно, заключается в возвращении к старым принципам; и оно должно делать это открыто. В нынешних обстоятельствах Палаты, прежде всего, окажутся фатальными; они внушат королю ложную уверенность и не будут иметь веса в глазах нации. Король вскоре будет лишен всех средств связи с ними. Они больше не будут следовать той же религии и говорить на том же языке. Отныне ни один человек не будет иметь права вводить людей в заблуждение относительно любых нелепостей, которые могут быть распространены; даже если бы захотелось заставить их поверить, что все источники воды отравлены и что под землей заложены склады пороха". В заключение император заметил, что будут некоторые судебные казни и крайнее желание ответных действий, которое будет достаточно сильным, чтобы вызвать раздражение, но не подчинить.

Что касается Европы, то император считал ее столь же сильно взволнованной, как и прежде. Европейские державы разрушили Францию, но однажды она может возродиться из-за волнений, возникших среди людей разных наций, которых политика государей была рассчитана на отчуждение; слава Франции также может быть восстановлена из-за недопонимания между самими союзными державами, которое, вероятно, последует.

Что касается наших личных дел, то они могли быть улучшены только при посредничестве Англии; и ее можно было склонить к благосклонности к нам только политическими интересами, сменой ее министров или ее государя или чувством национальной славы, возбужденным потоком общественного мнения. Что касается политических интересов, то на них могли повлиять обстоятельства; смена личностей зависит от случайностей; наконец, что касается чувства национальной славы, которое так легко понять, нынешнее министерство отреклось от него, но другое не могло остаться к нему равнодушным.

КАРТИНА СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ, НАРИСОВАННАЯ ИМПЕРАТОРОМ.—ДВЕ ЮНЫЕ ЛЕДИ ОСТРОВА.

18—го. Император послал за мной около десяти часов; он только что вернулся домой. Кто-то сообщил мне, что он был на охоте; но он сказал, что нет. Он выехал верхом еще в шесть часов, но отдал приказ, чтобы сонего превосходительства никто не тревожил. Мы приступили к уроку английского. Подали завтрак; он был в высшей степени отвратительным, и я не мог удержаться от замечания. Он пожалел меня за то, что я приготовил такое невкусное блюдо, и добавил, что, безусловно, необходимо иметь хороший аппетит, чтобы готовить такие блюда. Мы продолжали наш урок почти до часу дня, когда невыносимая жара вынудила нас прерваться и немного отдохнуть.

Около пяти император вышел прогуляться в сад. Он начал рисовать картину счастья частного человека в простых обстоятельствах, мирно наслаждающегося жизнью в своей родной провинции, в доме и в окружении земель, которые он унаследовал от своих предков. Конечно, ничто не могло быть более философичным. Мы не могли удержаться от улыбки при виде спокойной домашней картины, и некоторые из нас зажали уши от усердия. “Счастье такого рода,” продолжал император, - ныне неизвестно во Франции, за исключением традиций. Революция разрушила его. Старые семьи были лишены этого счастья, а новые еще недостаточно долго наслаждались им. Картина, которую я набросал, теперь не имеет реального существования”. — Он заметил, что быть изгнанным из нашего родного дома, с полей, по которым мы бродили в детстве, не иметь отцовского пристанища - это на самом деле значит быть лишенным страны. Кто-то здесь заметил, что человек, у которого отняли дом, который он создал для себя после того, как утихла буря; которого выгнали из дома, в котором он жил со своей женой и который был местом рождения его детей; мог бы действительно сказать, что он потерял вторую страну. Сколько людей доведено до такой крайности; и какие превратности породил нынешний век!

Мы уселись в коляску и, как обычно, проветрились. Во время ужина разговор зашел о двух молодых леди, жительницах острова: одна высокая, красивая и очень обаятельная; другая не такая хорошенькая, но прекрасно воспитанная и приятная в своих манерах. Мнения относительно них разделились. Император, который был знаком только с первой описанной, высказался в ее пользу. Кто-то заметил, что, если бы он увидел второе, это не заставило бы его изменить свое мнение. Затем император пожелал узнать собственное мнение джентльмена относительно дам, и он ответил, что является поклонником второй. Это показалось ему довольно противоречивым, и император попросил его объяснить. “Почему, - сказал он, - если бы я хотел купить рабыню, я, конечно, остановился бы на первом; но если бы я думал, что получу какое-то счастье, став рабом сам, я бы обратился ко второму”. — “Это означает, - быстро продолжил император, - “что вы не очень высокого мнения о моем вкусе?” — “Это не так, сир, но я подозреваю, что взгляды вашего величества и мои были бы разными”. Император улыбнулся и больше ничего не сказал на эту тему.

19. Сегодня рано утром император выехал верхом; едва было шесть часов, когда он выехал. Я был вполне готов, потому что приказал кому-то позвать меня, и император был поражен, увидев меня таким деятельным. Мы наугад побродили по парку и вернулись около девяти: солнце уже начинало пригревать.

Около четырех часов император пожелал взять свой урок английского языка, но ему было не очень хорошо. Он сказал, что сегодня у него все шло наперекосяк; и что ничто не принесло ему никакой пользы. Прогулка по саду не восстановила его сил; к обеду ему стало нехорошо. Он сыграл в шахматы не так много, как обычно, но после первой партии удалился из-за недомогания.

РАБОТЫ ИМПЕРАТОРА На ОСТРОВЕ ЭЛЬБА.—ПРИСТРАСТИЕ алжирцев К ИМПЕРАТОРУ.

20-го.—Погода была крайне плохой. Императору всю ночь было нехорошо, но утром он почувствовал себя намного лучше. Он не выходил из своей комнаты до пяти часов. Около шести мы воспользовались хорошей погодой, чтобы объехать парк на коляске. Лошади, которых нам предоставили, норовисты; они пугаются первого предмета, который встречается у них на пути, и становятся беспокойными. Во время нашей поездки они несколько раз останавливались. Из-за дождя дороги действительно были очень разбиты, и одно время нам потребовались все наши усилия, чтобы избежать необходимости возвращаться пешком. Однажды великий маршал и генерал Гурго были вынуждены выйти и опереться плечом о руль. Наконец, после долгих хлопот мы добрались домой. Разговор во время нашей поездки зашел об острове Эльба. Император говорил о проложенных им дорогах и построенных им домах, которые лучшие художники Италии просили в качестве одолжения разрешить им украсить своими работами.

Император заметил, что его флаг стал первым в Средиземноморье. По его словам, это считалось священным для берберийских кораблей, которые обычно делали капитанам Эльбы подарки, говоря им, что они выплачивают долг Москве. Великий маршал рассказал нам, что несколько берберийских кораблей, бросивших якорь у острова Эльба, вызвали большую тревогу среди жителей, которые расспрашивали пиратов об их намерениях и в конце концов прямо спросили их, не пришли ли они с какими—либо враждебными взглядами. - “Против Великого Наполеона!” - сказали алжирцы. “О! никогда ... мы не ведем войну против Бога!”

Всякий раз, когда флаг острова Эльба появлялся в любом из портов Средиземного моря, за исключением Ливорно, его встречали громкими возгласами: казалось, все национальные чувства вернулись. Экипажи некоторых французских кораблей из Британии и Фландрии, причаливших к острову Эльба, свидетельствовали о том же настроении.

“В этом мире обо всем судят в сравнении, ” сказал император. “ Остров Эльба, который год назад считался таким неприятным, - настоящий рай по сравнению со Святой Еленой. Что же касается этого острова, то он может вызвать все будущие сожаления по поводу неповиновения.

ПИОНТКОВСКИЙ.—КАРИКАТУРА.

21-22. Император продолжал вставать рано и выезжать верхом в парк и среди камедных деревьев. Он ехал только пешим шагом, но это легкое упражнение пошло ему на пользу, поскольку позволило насладиться свежим воздухом. Он вернулся с лучшим аппетитом и с большим энтузиазмом принялся за дневные занятия. Он позавтракал в саду, поднесколькими деревьями, которые были сплетены вместе, чтобы дать ему тень. Однажды утром, садясь завтракать, он издали заметил поляка Пионтковского и послал за ним, чтобы позавтракать вместе с ним. Он всегда получает удовольствие от беседы с ним, когда бы ни встретил его.

Пионтковский, с происхождением которого мы не очень хорошо знакомы, приехал на остров Эльба и получил разрешение служить рядовым в гвардии. По возвращении императора с Эльбы он получил звание лейтенанта. Когда мы выехали из Парижа, он получил разрешение следовать за нами; и мы оставили его в Плимуте, среди тех, кто был отделен от нас по приказу английских министров. Пионтковский, обладавший большей верностью или обходительностью, чем его товарищи, получил разрешение приехать на остров Святой Елены. Император никогда не знал его и не разговаривал с ним, пока он не приехал сюда.

Действительно, Пионтковский был одинаково неизвестен всем нам. Англичане были удивлены, что мы не поприветствовали его теплее по прибытии. Некоторые люди, которые пользовались любой возможностью высказать что-либо в наш адрес, написали в Англию, что мы приняли Пионтковского очень плохо. Эта история была насквозь лживой, но она дала английским министерским газетам тему, на которой они могли проявить свою обычную вежливость и остроумие. Утверждалось, что император избил Пионтковского; и я слышал о карикатуре, на которой Наполеон хватал когтями польского офицера, в то время как я прыгал на него, чтобы сожрать; и только палка, которую мне сунул в зубы зритель зверей, помешала мне откусить кусок от его плеча. Таковы были элегантные отчеты, которые были даны о нас.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМПЕРАТОРА С ЭЛЬБЫ.

24—е.- После обеда, когда мы пили кофе, император заметил, что примерно в это же время в прошлом году он покинул остров Эльба. Главный маршал сообщил ему, что это было 26 февраля, в воскресенье. “Сир, - сказал он, - вы распорядились отслужить мессу раньше обычного, чтобы у вас было больше времени для отдачи необходимых распоряжений”.

Они отплыли во второй половине дня, а на следующее утро в десять часов все еще были в пределах видимости, к великому беспокойству тех, кто был заинтересован в их успехе.

Император вступил в разговор на эту тему и более часа был занят описанием подробностей этого события, не имеющего аналогов в истории, как по смелости предприятия, так и по чуду его осуществления. Я включу в другую часть моего дневника сведения, которые я собрал по этому вопросу.

КАМПАНИИ В ИТАЛИИ И ЕГИПТЕ.—МНЕНИЕ ИМПЕРАТОРА О ВЕЛИКИХ ФРАНЦУЗСКИХ ПОЭТАХ.—ТРАГЕДИИ ПОЗДНЕЙШИХ ПИСАТЕЛЕЙ.—ГЕКТОР.—ЭТАЦ ДЕ БЛУА.—ТАЛЬМА.

25-28. Наши дни по большей части были очень похожи; если в деталях они казались длинными, то при ретроспективном взгляде они быстро сокращались. Они не имели характера или интереса и оставили после себя лишь несовершенные воспоминания. В английском он продолжал постепенно совершенствоваться. Император признался, что на мгновение почувствовал отвращение; его *французская ярость*, по его словам, в какой—то момент дала сбой; но он добавил, что я оживил его с помощью плана, который он считал более надежным, чем любой другой, - плана чтения и анализа одной страницы снова и снова, пока она не будет выучена досконально. Кстати, были объяснены грамматические правила. Таким образом, не теряется ни минуты для изучения и запоминания. Сначала прогресс кажется медленным, учащийся, кажется, мало продвигается в своих занятиях; но к тому времени, когда он доходит до пятидесятой страницы, он с удивлением обнаруживает, что знает язык. Мы добавили страницу с

"Телемахом" к остальной части нашего урока и нашли в этом пользу. Однако к этому времени император, хотя у него было всего двадцать или двадцать пять полных уроков, мог понять любую книгу и был бы способен объясниться письменно. Он не понял всего, что было сказано, это правда; но, как он заметил, от него ничего нельзя было скрыть на будущее, и это было великое дело — это была решительная победа.

Египетская кампания была завершена при содействии Бертрана, насколько это позволяла нехватка материалов. Теперь император вместе с другим джентльменом начал новый и очень важный период, а именно — от своего отъезда из Фонтенбло до возвращения в Париж и своего второго отречения. У него не было документов, относящихся к этим стремительным событиям; но именно эта стремительность побудила меня умолять его напрячь память для записи обстоятельств, которые могла ослабить или исказить спешка событий или партийный дух.

Император также очень часто занимался со мной пересмотром различных глав Итальянской кампании; обычно это делалось непосредственно перед обедом. Он поручил мне упорядочить каждую главу в регулярной и единообразной манере; выделить надлежащие разделы параграфов, а также записать и собрать иллюстративные статьи. Это он называл пищеварительной работой редактора. "И это касается ваших интересов", - сказал он мне однажды с видом доброты, который тронул меня. "Отныне это ваша собственность: кампания в Италии будет носить ваше имя, а Кампания в Египте - имя Бертрана. Я намерен, что это сразу увеличит ваше состояние и вашу славу. В твоём кармане будет по меньшей мере сто тысяч франков, и твоё имя будет жить так же долго, как память о моих сражениях".

Что касается наших вечеров, от *reversis* отказались во второй раз; мы не могли продолжать это долго. После второго или третьего раунда карты были оставлены для разговоров. Мы возобновили чтение: наш запас романов был исчерпан, и наше внимание на будущее занимали пьесы, особенно трагедии. Император необычайно любит анализировать их, что он делает в своеобразной манере рассуждения и с большим вкусом. Он помнит огромное количество стихов, которые выучил, когда ему было восемнадцать лет, и в то время, по его словам, он знал гораздо больше, чем сейчас. Император в восторге от Расина, в котором он находит изобилие красот. Он очень восхищается Корнелем, но очень невысокого мнения о Вольтере, который, по его словам, полон напыщенности и мишуры: всегда неверен; не знаком ни с людьми, ни с вещами, ни с правдой, ни с возвышенностью человеческих страстей.

В одном из кафе в Сен-Клу император проанализировал только что вышедшее произведение; это был "Гектор" Люси де Лансиваль: это произведение ему очень понравилось; в нём чувствовались теплота и энергия характера. Он назвал это орудием для защиты головы; и сказал, что солдат будет лучше подготовлен к встрече с врагом после того, как увидит или прочтёт его. Он добавил, что было бы хорошо, если бы было больше пьес, написанных в том же духе. Затем, обратившись к тем драматическим постановкам, которые по-французски называются *dramas* и которые он назвал *трагедиями служанок*, он сказал, что они выдержат не более одного представления, после чего интерес к ним постепенно снизился. Напротив, хорошая трагедия обрушивается на нас с каждым днем. Высшая ступень трагедии, продолжал он, - это школа великих людей; долг монархов поощрять и распространять вкус к ней. Также, сказал он, необязательно быть поэтом, чтобы иметь возможность судить о достоинствах трагедии; достаточно быть знакомым с людьми и вещами, обладать возвышенным умом и быть государственным деятелем. Затем, постепенно оживляясь, он с энтузиазмом добавил: "Трагедия

зажигает душу, возвышает сердце и рассчитана на то, чтобы породить героев. С этой точки зрения, возможно, Франция отчасти обязана Корнелю своими великими деяниями; и, господа, *если бы он жил в мое время, я бы сделал его принцем.*”

По аналогичному случаю он проанализировал и осудил *"Этат де Блуа"*, который только что был впервые представлен в Придворном театре; и, заметив среди присутствующих главного казначея Лебрена, отличавшегося своими литературными познаниями, он спросил его мнение о нем. Лебрен, который, несомненно, был в интересах автора, ограничился замечанием, что тема была плохой. “Это, ” ответил император, “ была первая ошибка господина Ренуара; он выбрал это сам, его никто не принуждал. Кроме того, нет предмета, каким бы плохим он ни был, который великий талант не смог бы использовать в своих интересах, и Корнель все равно остался бы самим собой даже в таком деле, как это. Что касается мсье Ренуара, то он потерпел полную неудачу. Он не проявил никакого другого таланта, кроме таланта стихосложения; все остальное плохо, очень плохо; его концепция, его детали, его результат совершенно неполноценны. Он нарушает историческую правду; его персонажи фальшивы, а их политические тенденции опасны и, возможно, пагубны. Это дополнительное доказательство того, что, однако, очень хорошо известно, а именно, что существует большая разница между чтением и представлением пьесы. Сначала я подумал, что эту пьесу, возможно, пропустили мимо ушей; только сегодня вечером я осознал ее неприличность. Из них похвалы, расточаемые бурбонам, наименьшие; заявления против революционеров гораздо хуже. Господин Ренуар назначил главой Шестнадцати капуцина Шабо из Конвента. В его произведении есть то, что должно разжечь каждую вечеринку и каждую страсть: если бы я позволил представить его в Париже, я, вероятно, услышал бы о полусотне человек, убивающих друг друга в яме. Кроме того, автор изобразил Генриха IV. настоящим филином, а герцога де Гиза - Фигаро, что является слишком большим оскорблением истории. Герцог де Гиз был одним из самых выдающихся людей своего времени; и если бы он только отважился, то мог бы в то время основать четвертую династию. Кроме того, он был родственником императрицы; он был принцем австрийского дома, с которым мы состоим в дружбе и посол которого присутствовал сегодня вечером на представлении. Автор не в одном случае демонстрировал странное пренебрежение приличиями ”. Впоследствии император сказал, что он чувствовал себя более чем когда-либо твердым в принятом им решении не допускать, чтобы какая-либо новая трагедия была разыграна на публичной сцене до того, как она пройдет испытание в придворном театре. Поэтому он запретил представление *Этатов Блуа*. Следует отметить, что со времени реставрации короля это произведение было возрождено с величайшей помпой и пользовалось всеми благосклонностями, которые, естественно, обеспечило бы ему запрещение императора. Но, несмотря на все это, она потерпела неудачу; настолько правильным было суждение, которое вынес о ней Наполеон.

Тальма, знаменитый трагик, часто беседовал с императором, который восхищался его талантом и щедро вознаграждал его. Когда Первый консул стал императором, по всему Парижу разнесся слух, что у него был Тальма, который давал ему уроки манеры держаться и костюма. Император, который всегда знал все, что говорилось против него, однажды заговорил с Тальмой на эту тему и, увидев, что он выглядит совершенно сбитым с толку, сказал: “Ты ошибаешься, — сказал он, - я, конечно, не смог бы заниматься лучше, если бы у меня было для этого свободное время”. Напротив, именно император давал Тальме уроки своего искусства. “Расин, ” сказал он ему, “ напичкал своего героя Ореста глупостями, а вы только усугубляете их экстравагантность. В *"Смерти Помпея"* вы не играете цезаря как героя; в *"Британнике"* вы не играете Нерона как

тирана ". Всем известны исправления, которые впоследствии внес Тальма в свои представления этих знаменитых персонажей.

ПОДРЯДЧИКИ И С. ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ.—ЗАСЛУГА ИМПЕРАТОРА ПО ВОЗВРАЩЕНИИ С ЭЛЬБЫ.—ЕГО РЕПУТАЦИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КАК СТРОГОГО СЛЕДОВАТЕЛЯ.—МИНИСТРЫ ФИНАНСОВ И КАЗНАЧЕЙСТВА.—КАДАСТР.

29—го.- В шесть часов император, закончив свои повседневные занятия, прогуливался по саду. Затем мы покатались на "калаше": когда мы возвращались, было совсем темно, и шел очень сильный дождь.

После обеда, когда по кругу разливали кофе, который мы пили, не вставая со своих мест за обеденным столом, разговор зашел о так называемых Агентах, отважившихся на Революцию, и о больших состояниях, которые они приобрели. Император знал имя, семью, профессию и характер каждого из этих людей.

Едва Наполеон достиг консульства, как вступил в спор со знаменитой мадам Рекамье, отец которой занимал должность в почтовом ведомстве. Наполеон, впервые взяв в свои руки бразды правления, был вынужден конфиденциально подписать огромное количество списков; но вскоре он установил самую строгую проверку в каждом департаменте. Он обнаружил, что переписка с Шуанами велась при попустительстве месье Бернара, отца мадам Рекамье. Он был немедленно уволен и чудом избежал суда, на котором его, несомненно, приговорили бы к смертной казни. Его дочь полетела к Первому консулу, и по ее просьбе Наполеон освободил г-на Бернара от судебного разбирательства, но был непреклонен в отношении его увольнения. Мадам Рекамье, привыкшая просить обо всем и добиваться всего, не удовлетворилась бы ни чем иным, как восстановлением в должности своего отца. Таковы были нравы тех времен. Суровость Первого консула вызвала громкие неодобрительные высказывания; это было совершенно необычно. Мадам Рекамье и ее многочисленная свита так и не простили ему этого.

Подрядчики и агенты были тем классом, который больше всего вызывал беспокойство нового Верховного магистрата, который называл их бичом и чумой нации. Император заметил, что вся Франция не удовлетворила бы честолюбия одних парижан; что, когда он встал во главе дел, они представляли собой абсолютную власть; и что они были наиболее опасны для государства, пружинам которого препятствовали их интриги, соединенные с интригами их многочисленных иждивенцев.— По правде говоря, - сказал он, - на них нельзя было смотреть иначе, как на источник коррупции и разорения, как на евреев и ростовщиков. Они опозорили Директорию и хотели таким же образом контролировать Консульство. Можно сказать, что в тот период они пользовались самым высоким положением и влиянием в обществе.

“Одним из главных шагов назад, ” сказал император, “ который я предпринял с целью восстановления былого состояния и нравов общества, было вернуть толпе весь этот ложный лоск. Я никогда не стал бы выделять кого-либо из этого класса: из всех аристократий эта казалась мне наихудшей ”. Император отдал Леброну должное, особенно утвердив его в этом принципе. “Партия всегда недолго любила меня за это, - сказал император, - но они были еще

менее склонны простить мне строгое расследование, которое я провел по поводу их счетов с правительством”.

Император сказал, что в делах такого рода он наилучшим образом использует службу своего Государственного совета. Обычно он назначал комитет из четырех или пяти членов Совета, людей честных и интеллигентных. Они представили ему свой отчет, и, если дело требовало дальнейшего расследования, они написали в конце отчета: *Передано Верховному судье для обеспечения соблюдения законов*. Вовлеченные лица, как правило, пытались скомпрометировать дело, когда оно доходило до этого момента. Они скорее выложили бы один, два, три или четыре миллиона, чем допустили бы юридическое расследование дела. Император прекрасно понимал, что все эти факты были искажены в различных кругах столицы, что они нажили ему много врагов и навлекли на него упрек в произволе и тирании. Но таким образом он выполнил свой великий долг перед массами общества, которые, должно быть, были благодарны ему за меры, принятые им по отношению к этим общественным кровопийцам.

“Люди всегда одинаковы”, - сказал император. - “Со времен Фарамонда подрядчики всегда поступали так, и люди всегда поступали одинаково по отношению к ним. Но ни в один период существования монархии они никогда не подвергались нападкам в столь законной форме и не подвергались нападкам столь энергично и открыто, как со стороны меня. Даже среди самих подрядчиков те немногие, кто обладал честностью и неподкупностью, нашли в этой чрезвычайной строгости новую гарантию своего собственного поведения. Замечательный пример этого произошел после моего возвращения с Эльбы. Несколько домов в Лондоне и Амстердаме тайно вели переговоры со мной о займе в размере от 80 до 100 000 000 долларов с прибылью в семь или восемь процентов. Чистая сумма, которая была внесена в Казну Парижа, была выплачена им *рентой* за великую книгу в размере пятидесяти долларов, которые затем были распространены среди населения по цене пятьдесят шесть или пятьдесят семь долларов”.

Это средство, столь полезное в кризис, в который был поставлен император, и которое в то же время должно было быть столь удовлетворительным и лестным для него лично, доказывает истинное мнение, которое сложилось о Наполеоне в Европе, и доверие, которое он внушал. Эти переговоры, о которых в то время ничего не было известно, объясняют, откуда император черпал финансовые ресурсы, которыми он внезапно оказался обладателем по возвращении с Эльбы; что в то время было большим предметом догадок.

Сам император сказал, что он пользовался исключительной репутацией среди руководителей офисов и бухгалтеров. Проверка счетов была вещью, которую он очень хорошо понимал. “Таким образом, обстоятельство, которое впервые принесло мне репутацию, заключалось в том, что, подводя итоги годового счета во время консульства, я обнаружил ошибку в 2 000 000 долларов в ущерб Республике. мсье Дюфрейн, который в то время был главой казначейства и который был совершенно честным человеком, сначала не поверил, что ошибка существует. Однако это был вопрос цифр; факт нельзя было отрицать. В казначействе несколько месяцев ушло на попытки обнаружить ошибку. В конце концов это было обнаружено в счете подрядчика Сегена, который немедленно признал это, когда ему показали счета, и вернул деньги, сказав, что это была ошибка”.

В другой раз, когда император просматривал отчеты о денежном довольствии парижского гарнизона, он заметил статью в шестьдесят с лишним тысяч франков, выделенную отряду, которого никогда не было в столице. Министр обратил внимание на ошибку просто из

вежливости, но про себя был убежден, что император ошибается. Однако Наполеон оказался прав, и сумма была восстановлена.

Император придавал первостепенное значение разделению министерства финансов и казначейства как для сохранения различий в деятельности двух ведомств, так и для того, чтобы они могли служить взаимной проверкой друг друга. Министр финансов при таком государе, как Наполеон, был самым важным человеком в империи; не просто как министр финансов, но и как генеральный контролер. Все отчеты империи подвергались его проверке, и таким образом он был способен выявлять всякого рода хищения и злоупотребления и доводить их до сведения государя; сообщения такого рода поступали ежедневно. Особым ассигнованиям Наполеон также придавал огромное значение, поскольку это было одно из самых счастливых времен его правления.

Говоря о *кадастре*, он сказал, что, согласно составленному им плану, его можно рассматривать как настоящую конституцию Империи. Это была истинная гарантия собственности и гарантии независимости каждого человека; ибо, поскольку налог был однажды установлен законодательным органом, каждый человек мог сам распоряжаться им, и ему нечего было опасаться авторитета или произвольного поведения оценщиков, что всегда является наиболее чувствительным моментом и самым надежным средством добиться подчинения. Во время этого разговора, император высказал свое мнение о талантах гг Годен, Mollien, и Луи, как и большинство других его министров и советников государственных. В заключение он заметил, что ему удалось создать систему управления, несомненно, самую чистую и энергичную в Европе; и что он сам настолько хорошо владеет деталями, что уверен, что теперь может, просто с помощью *Moniteur*, проследить полную историю финансовых операций Империи за время своего правления.

1 марта.—Сегодня с Кейптауна прибыли два судна. В трюме одного из них, "Уэллсли", семидесятичетырехпушечного, находилось еще одно судно, разнесенное на куски. Оба были построены в Индии из тикового дерева, на три четверти дешевле, чем их можно было бы построить в Англии. Это превосходный сорт дерева; и говорят, что корабли, сделанные из него, служат гораздо дольше, чем корабли европейской постройки; хотя до сих пор жаловались, что они не такие хорошие парусники. Однако не исключено, что это тиковое дерево может произвести революцию в материалах и конструкции английских кораблей.

2.—Прибыл китайский флот. В течение дня несколько судов последовательно вышли на рейд, и многие другие находятся в пределах видимости. Для жителей острова Святой Елены это своего рода праздник урожая. Деньги, которые эти временные гости пускают в оборот на острове, составляют основную часть доходов жителей.

В пять часов император отправился в сад и пешком дошел до просвета между холмами, откуда мы могли различить несколько судов на всех парусах, направлявшихся к острову. Последний корабль, прибывший с Мыса, привез фаэтон для императора. Ему захотелось попробовать это сегодня вечером, и он сел в него в сопровождении главного маршала и объехал вокруг парка. Он, однако, считает, что такого рода экипировка одновременно бесполезна и нелепа в нынешних обстоятельствах. После обеда император почувствовал сильную усталость; он уже несколько дней нездоров и сегодня рано лег спать.

ВТОРЖЕНИЕ В АНГЛИЮ.

3. Император послал за мной в два часа; я застал его бреющимся. Он сказал мне, что я увидел в нем человека, который был при смерти, на краю могилы. Он добавил, что я, должно быть, знал, что он болен, потому что он, должно быть, часто будил меня по ночам. Я действительно слышал, как он постоянно кашлял и чихал: у него была сильная простуда головы, которую он подхватил вследствие слишком долгого пребывания на сыром воздухе предыдущим вечером. Он заявил о своей решимости в будущем всегда возвращаться на работу в шесть часов. Одевшись, он сел за урок английского языка; но продолжал он недолго, потому что у него сильно разболелась голова. Он велел мне сесть рядом с ним и более двух часов заставлял меня рассказывать о том, что я наблюдал в Лондоне во время своей эмиграции. Среди прочего, он спросил: “Англичане очень сильно боялись моего вторжения? Каково было общее мнение в то время?” — “Сир, “ ответил я, “ я не могу сообщить вам: я тогда вернулся во Францию. Но в парижских салунах мы от души смеялись над мыслью о вторжении в Англию; и англичане, которые были там в то время, делали то же самое. Говорили, что даже Брюне посмеялся над этим планом и что вы отправили его в тюрьму за то, что он был достаточно дерзок в одной из своих частей, пустив несколько ореховых скорлупок по воде в бочке с водой, которую он называл маневрированием своей маленькой флотилии. “Что ж, - ответил император, “ вы могли бы смеяться в Париже, но Питт не смеялся в Лондоне. Вскоре он осознал степень опасности и поэтому взвалил на мои плечи коалицию в тот момент, когда я заносил руку для удара. Никогда английская олигархия не подвергалась большей опасности.

“Я принял меры, чтобы обеспечить возможность моей высадки. У меня была лучшая армия в мире; мне нужно только сказать, что это была армия Аустерлица. Через четыре дня я был бы в Лондоне; я вошел бы в английскую столицу не как завоеватель, а как освободитель. Я мог бы стать другим Вильгельмом III, но я действовал бы с большей щедростью и бескорыстием. Дисциплина в моей армии была безупречной. Мои войска вели бы себя в Лондоне точно так же, как в Париже. От англичан не потребовалось бы никаких жертв, даже контрибуций. Мы должны были предстать перед ними не как завоеватели, а как братья, которые пришли, чтобы восстановить им их права и свободы. Я бы собрал граждан и призвал их трудиться над своим возрождением, потому что англичане уже опередили нас в политическом законодательстве; я бы объявил, что наше единственное желание - иметь возможность радоваться счастью и процветанию английского народа; и я бы строго придерживался этих убеждений. В течение нескольких месяцев две нации, которые были такими решительными врагами, отныне составляли бы только один народ, объединенный принципами, максимами и интересами. Я должен был уехать из Англии, чтобы осуществить с юга на север под республиканским флагом (ибо я был тогда первым консулом) возрождение Европы, которое в более поздний период я собирался осуществить с севера на юг в монархических формах. Обе системы были одинаково хороши, поскольку обе привели бы к одинаковому результату и были бы приведены в исполнение с твердостью, умеренностью и добросовестностью. Скольких бед, которые уже пережиты, и скольких еще предстоит пережить, несчастная Европа не избежала бы! Никогда еще проект, столь благоприятный интересам цивилизации, не был задуман с более бескорыстными намерениями и так близок к осуществлению. Примечательным фактом является то, что препятствия, ставшие причиной моего провала, не были делом рук людей, а все проистекали из стихий. На юге море расстроило мои планы; сожжение Москвы, снег и зима довершили мое крушение на севере. Таким образом, вода, воздух и огонь, вся природа и только

природа, были враждебны всеобщему возрождению, к которому призывала сама природа!... Проблемы Провидения неразрешимы!”

После нескольких минут молчания он вернулся к теме английского вторжения.

“Предполагалось, ” сказал он, “ что мой план был всего лишь напрасной угрозой, поскольку, по-видимому, у меня не было никаких разумных средств для его осуществления. Но я глубоко продумал свои планы и остался незамеченным. Я рассредоточил все наши французские корабли; и англичане плыли след за ними в разные части света. Наши корабли должны были вернуться внезапно и в одно и то же время и собраться в массовом порядке у берегов Франции. У меня должно было быть семьдесят или восемьдесят французских или испанских кораблей в Ла-Манше; и я подсчитал, что буду продолжать управлять им в течение двух месяцев. Три или четыре тысячи небольших судов должны были быть готовы по сигналу. Сто тысяч человек каждый день проходили подготовку по посадке и высадке на берег в рамках своих учений. Они были полны энтузиазма и рвались в это предприятие, которое пользовалось большой популярностью у французов и было поддержано пожеланиями большого числа англичан. После высадки моих войск я рассчитывал только на одно крупномасштабное сражение, результат которого не мог быть сомнительным; и победа привела бы нас в Лондон. Природа страны не допускала войны за независимость. Мое поведение сделало бы остальное. Народ Англии стонал под игом олигархии. Почувствовав, что их гордость не была унижена, они встали бы на нашу сторону. На нас следовало смотреть только как на союзников, пришедших, чтобы осуществить их освобождение. Нам следовало бы произнести волшебные слова о свободе и равенстве” и т.д.

Обратив внимание на множество мелких деталей плана, которые все были замечательны, и отметив, насколько он был близок к исполнению, он внезапно остановился и сказал: “Давайте выйдем и пройдемся”.

Некоторое время мы шли пешком; три дня шел дождь, но сейчас погода была совершенно прекрасной. Император, не забыв о своем решении всегда быть на месте к шести часам, немедленно заказал коляску, прокатился и вернулся домой вовремя. Мой сын последовал за ним верхом; это был первый раз, когда он удостоился такой чести. Он проявил себя очень хорошо, и император похвалил его по этому случаю.

Императору по-прежнему нездоровилось, и он очень рано отправился отдыхать.

КИТАЙСКИЙ ФЛОТ.

4.— Сегодня император принял нескольких капитанов китайского флота. Он долго беседовал с ними об их торговле, об их легкости общения с китайцами, о нравах этого народа и т. Д. Суда, которые ведут торговлю с Китаем, имеют водоизмещение от 14 до 1500 тонн, что почти равно шестидесяти четырем; и их осадка составляет от двадцати двух до двадцати трех футов; они загружены почти исключительно чаем. На борту одного из только что прибывших лайнеров находилось почти 1500 тонн. Грузы шести судов, вышедших на рейд прошлой ночью, оцениваются примерно в шестьдесят миллионов; и поскольку по прибытии в Англию они будут облагаться 100-процентной пошлиной, 120 миллионов, таким образом, сразу будут брошены в обращение в Европе.

Европейцам в Кантоне предоставляется очень мало свободы. Их проживание в основном ограничено пригородами. Китайцы относятся к ним с величайшим презрением, они напускают на себя вид великого превосходства и ведут себя весьма произвольно. Китайцы очень умны, трудолюбивы и активны; но они великие воры и чрезвычайно вероломны. Они ведут все дела на европейских языках, которыми свободно владеют.

Прибытие флотов на остров Святой Елены - обстоятельство, одинаково приятное как для экипажей, так и для жителей острова. Последние продают свои товары и закупают провизию; моряки, со своей стороны, получают возможность ступить на сушу и подкрепиться. Такое положение вещей обычно продолжается две-три недели; но в данном случае адмирал, к великому разочарованию всех, ограничил период подкрепления двумя днями только для первых двух кораблей, бросивших якорь у города. Остальным было приказано оставаться под парусами и подходить к городу по очереди, по двое. Следует предположить, что он получил очень строгие приказы или находится под каким-то очень серьезным предчувствием, о котором мы не знаем.

Император некоторое время гулял по саду, прежде чем сесть в свою коляску. Среди деревьев по соседству мы заметили нескольких офицеров, недавно прибывших на остров, которые пытались взглянуть на императора, вид которого, по-видимому, был для них предметом огромной важности.

ЭТИКЕТ ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА.—ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИМЕВШИЕ МЕСТО В ТАРАРЕ.—ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ.—КАМЕРГЕРЫ.—НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ ДВОРА ТЮИЛЬРИ.—ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ВО ДВОРЦЕ.—ПРИЕМНЫЕ ИМПЕРАТОРА.—ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН.—ДВОР И ГОРОД.

5.—Сегодня император много беседовал об этом Дворе и соблюдаемом в нем этикете. Ниже приводится суть того, что он услышал по этому поводу.

В период Революции дворы Испании и Неаполя все еще подражали церемониям и величию Людовика XIV, смешанным с помпезностью и преувеличением кастильцев и мавров. Они были безвкусны и нелепы. Петербургский двор перенял тон и формы гостиной; венский стал вполне гражданским, и в нем больше не осталось никаких следов остроумия, изящества и хорошего вкуса Версальского двора.

Таким образом, когда Наполеон достиг суверенной власти, перед ним открылся свободный путь, и у него появилась возможность сформировать Двор по своему собственному вкусу. Он желал избрать рациональную среду, приспособив достоинство трона к современным обычаям, и, в частности, сделав так, чтобы создание Двора способствовало улучшению нравов великих и стимулировало трудолюбие народных масс. Конечно, было нелегко восстановить трон на том самом месте, где правящий монарх был казнен по суду и где народ конституционно поклялся в ненависти к королям. Нелегко было восстановить достоинство, титулы и награды народа, который в течение пятнадцати лет вел против них проскрипционную войну. Однако Наполеон,

который, казалось, всегда обладал способностью добиваться того, чего он желал, возможно, потому, что обладал искусством желать того, что было справедливым и подобающим, после великой борьбы преодолел все эти трудности. Когда он стал императором, он создал класс знати и сформировал Двор. Казалось, что Победа внезапно сделала все возможное, чтобы укрепить и придать блеск этому новому порядку вещей. Вся Европа признавала императора; и одно время можно было сказать, что все дворы Континента стекались в Париж, чтобы усилить величие Тюильри, который был самым блестящим и многочисленным Двором, когда-либо виденным. Продолжалась череда вечеринок, балов и увеселений, и Двор всегда отличался необычайным величием. Особа государя отличалась крайней простотой, которая, действительно, была характерной чертой, выделявшей его среди окружающего величия. По его словам, он поощрял все это величие из политических соображений, а не потому, что оно соответствовало его собственному вкусу. Это было рассчитано на поощрение мануфактур и национальной промышленности. Церемонии и празднества, состоявшиеся по случаю бракосочетания императрицы и рождения римского короля, намного превзошли все предшествовавшие им и, вероятно, никогда больше не будут равны им.

Император стремился установить в своих международных отношениях все, что было рассчитано на то, чтобы привести его в гармонию с другими дворами Европы; но дома он постоянно пытался приспособить старые формы к новым нравам.

Он установил *рычаги* и *кушетки* старых королей Франции; но при нем они были лишь номинальными и не существовали в действительности, как в прежние времена. Вместо того чтобы заниматься мельчайшими и не деликатными деталями туалета, эти часы при императоре были, по сути, отведены для приема утром и увольнения вечером тех лиц из его окружения, которые должны были получать приказы непосредственно от него и которые имели привилегию оказывать ему в это время знаки внимания.

Император также учредил особые представления к своей особе и допуск ко Двору: но вместо того, чтобы сделать благородное происхождение единственным средством получения этих почестей, титул для их получения был основан исключительно на сочетании богатства, влияния и общественных заслуг.

Более того, Наполеон создал титулы, требования к которым были почти аналогичны требованиям старой феодальной системы. Эти титулы, однако, не имели реальной ценности и были установлены с чисто национальной целью. Те, которые не сопровождались какими-либо прерогативами или привилегиями, могли принадлежать лицам любого ранга или профессии и даровались в качестве награды за все виды услуг. Император заметил, что за границей они производили полезное впечатление приближения к старым нравам Европы, и в то же время служили игрушкой для потехи тщеславия многих людей дома; “ибо, - сказал он, - сколько выдающихся людей становятся детьми чаще, чем раз в день!”

Император возродил почетные знаки отличия и раздал кресты и ленты. Но вместо того, чтобы ограничивать их определенными и исключительными классами, он распространил их на общество в целом в качестве награды за любой талант и государственную службу. Благодаря счастливой привилегии, возможно, свойственной Наполеону, случилось так, что ценность этих почестей возросла пропорционально их количеству. По его оценкам, он наградил около 25 000 орденов Почетного легиона; и желание получить эту честь, по его словам, росло, пока не превратилось в своего рода *манию*.

После битвы при Ваграме он послал эрцгерцогу Карлу орден Почетного легиона, а в качестве изысканного комплимента, свойственного Наполеону, послал ему только серебряный крест, который носили рядовые.

Император сказал, что только действуя строго и добровольно в соответствии с этими принципами, он стал настоящим национальным монархом; и приверженность тому же курсу сделала бы четвертую династию по-настоящему конституционной. Об этих фактах, сказал он, люди самого низкого ранга часто проявляют инстинктивное знание.

Император рассказал следующий анекдот: — Возвращаясь со своей коронации в Италии, когда он приближался к окрестностям Лиона, он обнаружил, что все население собралось на дорогах, чтобы посмотреть, как он проезжает, и ему вздумалось одному подняться на холм Тараре. Он приказал, чтобы никто не следовал за ним, и, смешавшись с толпой, подошел к пожилой женщине и спросил, из-за чего весь этот переполох. Она ответила, что ожидается прибытие императора. После небольшого разговора он сказал ей: “Моя добрая женщина, раньше у вас был тиран Капет; теперь у вас есть тиран Наполеон; что вы выиграли от этой перемены?” Сила этого аргумента на мгновение привела старую женщину в замешательство, но она тут же взяла себя в руки и ответила: “Простите меня, сэр, это большая разница. Мы сами выбрали этот вариант, но другой нам достался случайно”. “Старая женщина была права, - сказал император, - и она проявила больше инстинктивного здравого смысла, чем многие мужчины, обладающие большой информацией и талантом”.

Император окружил себя великими офицерами короны. Он завел многочисленный штат камергеров, конюших и так далее. Он отбирал людей на эти должности без разбора из числа тех, кого Революция возвысила, и из древних семей, которые она разорила. Первые считали, что стоят на земле, которую они приобрели; вторые - на той, которую, как они думали, они вернули. Император имел в виду, благодаря такому смещению лиц, угасание ненависти и объединение партий. Он заметил, однако, что легко заметить разнообразие нравов. Люди, принадлежащие к древним семьям, выполняли свои обязанности с величайшей вежливостью и усердием. Мадам де Монморанси наклонилась бы, чтобы завязать шнурки на туфлях императрицы; дама новой школы постеснялась бы сделать это, чтобы ее не приняли за настоящую камеристку; но мадам де Монморанси не испытывала таких опасений. Эти почетные должности по большей части не требовали вознаграждения; они даже сопровождались расходами. Но они приводили людей, которые ежедневно их заполняли, под наблюдение Государя — всемогущего Государя, источника почестей и вознаграждений; и который заявил, что не потерпит, чтобы самый низший чиновник в его доме просил об одолжении кого-либо, кроме него самого.

Во время своего брака с императрицей Марией-Луизой император произвел обширный набор камергеров из числа высших чинов старой аристократии; это он сделал с целью доказать Европе, что во Франции существует только одна партия, и сплотить вокруг императрицы тех людей, имена которых должны были быть ей знакомы. Понятно, что император даже колебался, выбирать или нет фрейлину из этого класса; но его опасение, что императрица, с характером которой он не был знаком, может быть проникнута предрассудками относительно происхождения, которые могли бы слишком воодушевить старую партию, побудили его сделать другой выбор.

С этого момента и до периода наших бедствий самые древние и прославленные семьи жадно добивались мест при дворе императора; и как могло быть иначе? Император правил миром: он поднял Францию и французский народ над уровнем других наций. Власть, слава составляли его свиту. Счастливы были те, кто вдыхал атмосферу Императорского двора. Иметь непосредственную связь с персоной императора, получая, как за границей, так и дома, право на уважение.

После Реставрации один роялист, сохранивший себя в чистоте и в чьих глазах я обрел благодать, сказал мне самым серьезным тоном (ибо какую разницу в идеях не порождает разница в партии!). что с моим именем и открытостью поведения, которую я поддерживал, я не должен отчаиваться в том, что все еще могу получить место рядом с королем или в доме кого-нибудь из принцев или принцесс. Как же сильно он был поражен, когда я ответил: “Мой друг, я сделал это невозможным: я служил самому могущественному хозяину на земле; я не могу в будущем, не унижаясь, стоять в таких же отношениях ни к кому другому. Знайте, что когда мы передавали приказы Императора на расстояние, при иностранных дворах, одетые в его мундир, мы считали себя равными принцам, и с нами везде обращались как с равными. Он представил нам зрелище не менее чем семи королей, ожидающих в его салунах, среди нас и вместе с нами. При его вступлении в брак четыре королевы надели мантию императрицы, из которых, более того, одна из нас была дворянином-привратником, другая - конюшим. Поверь же, друг мой, что благородное честолубие вполне удовлетворяется подобными почестями.

Кроме того, великолепие, из которого состоял этот непревзойденный Двор, основывалось на системе и регулярности управления, которые вызывали удивление и восхищение у тех, кто искал среди его развалин. Император лично проверял счета несколько раз в течение года. Было обнаружено, что все его особняки отремонтированы и украшены: в них было около сорока миллионов предметов домашней мебели, не считая четырех миллионов столовых приборов. По его словам, если бы он наслаждался несколькими годами покоя, воображение едва ли могло бы установить границы тому, чего он достиг бы.

Император сказал, что ему пришла в голову превосходная идея, которую он очень сожалеет, что не успел привести в исполнение: она заключалась в том, чтобы поручить некоторым лицам собирать наиболее важные петиции. “Им следовало бы каждый день называть по имени трех-четырёх человек из провинций, - сказал он, - которые были бы допущены ко мне на прием и лично объяснили бы мне свое дело; я бы немедленно обсудил это с ними и без промедления отправил правосудие”.

Я заметил императору, что Комиссия, созданная им в очень ранний период под названием “Комиссия петиций”, была очень близка к рассматриваемой идее и, фактически, принесла много пользы. Я был президентом её после его возвращения с Эльбы, и за первый месяц я уже удовлетворил более четырех тысяч петиций. “Это правда, - заметил я, - что первоначально обстоятельства и последующие обычаи никогда не позволяли этому заведению пользоваться самой ценной прерогативой, которой была наделена его организация, тем, что, несомненно, произвело бы наибольшее впечатление на общественное мнение, а именно официально представлять на его большой аудиенции в воскресенье результат недельных трудов”. Но природа вещей, постоянные экспедиции императора и, прежде всего, ревность министров привели к тому, что Комиссия была лишена этой высокой привилегии.

Император сказал также, что сожалеет о том, что не установил в качестве части придворного этикета, что все присутствующие, особенно женщины, которые имеют какие-либо претензии на его аудиенцию, должны иметь неоспоримое право входить в приемную. Император, проходя через него по несколько раз в день, мог бы воспользоваться случаем, чтобы удовлетворить некоторые из их просьб; и мог бы таким образом избежать отказа в аудиенциях или потери времени, вызванной ими. По его словам, император некоторое время колебался по поводу восстановления *великого кувера* королей Франции, то есть публичного ужина всей императорской семьи каждое воскресенье. Он спросил наше мнение об этом. Мы разошлись во мнениях. Некоторые одобряли его лице это семейный спектакль так, как выгодно общественную нравственность, и приспособлены для получения *лучшей**лучшее* воздействие на общественные духа; к тому же, говорили они, он предоставляет средства для каждого человека, чтобы увидеть своего Государя. Другие выступали против этого, возражая, что в этой церемонии было что-то от божественного права и феодальности, от невежества и раболепия, которым не было места в наших привычках или в их современном достоинстве. Они могли пойти повидать Государя в церковь или театр: там они, по крайней мере, участвовали в исполнении его религиозных обязанностей или в его удовольствиях; но пойти посмотреть, как он ест, значило только навлечь насмешки на обе стороны. Верховная власть, ставшая теперь, как хорошо сказал император, магистратурой, должна рассматриваться только в полной активности: дарование милостей, возмещение ущерба, ведение бизнеса, смотр армий и, прежде всего, избавление от немощей и потребностей человеческой природы и т. Д.... Его полезность, его преимущества должны формировать его новое очарование: образ суверена должен присутствовать постоянно и неожиданно, подобно Провидению. Такова была новая школа: —такой была наша.

“Что ж, - сказал император, - может быть, и верно, что обстоятельства того времени ограничили эту церемонию участием императорского наследника и только в период его юности; ибо он был ребенком всей нации; с тех пор он должен был стать объектом чувств и всеобщего внимания”.

По возвращении с Эльбы император сказал, что у него есть идея каждое воскресенье обедать в *Галерее Дуаны**Galerie de Diane* с четырьмя или пятью сотнями гостей: это, по его словам, несомненно произвело бы большое впечатление на публику, особенно во время проведения *Майского поля*, на котором собираются депутаты от департаментов Парижа; но быстрота и важность дела помешали этому. Кроме того, он, возможно, опасался, что в этой мере могла наблюдаться слишком большая наигранность популярности и что его враги за границей могли создать видимость страха с его стороны.

Принято, сказал император, говорить о влиянии тона и манер Двора на настроения нации; он был далек от того, чтобы добиться какого-либо подобного результата; но в этом виноваты обстоятельства и несколько непредусмотренных комбинаций: он много размышлял по этому поводу и думал, что это было бы достигнуто со временем.

“Двор, ” продолжал он, “ взятый в совокупности, не оказывает такого влияния; это происходит только потому, что его элементы, те, кто его составляет, стремятся сообщить, каждый в своей сфере деятельности, то, что они почерпнули из общего источника; таким образом, тон Двора передается не целой нации, а через промежуточные общества. Так вот, у нас таких обществ не было, да и не могло быть. Эти восхитительные собрания, где так сполна наслаждаешься преимуществами цивилизации, внезапно исчезают с приближением революций и восстанавливаются, но медленно, когда бури утихают. Необходимыми основами

общества являются праздность и роскошь; но мы все еще находились в состоянии возбуждения, и большие состояния еще не были прочно установлены. Более того, огромное количество театров, множество общественных заведений предлагали удовольствия более доступные, менее стесненные и более возбуждающие. Женщины того времени, взятые вместе, были молоды; им больше нравилось выходить на улицу и демонстрировать себя на публике, чем оставаться дома и составлять более узкий круг. Но они бы состарились, и, если бы было немного времени и спокойствия, все пришло бы в свое естественное русло. И опять же, - заметил он, - возможно, было бы ошибкой судить о современном Суде по воспоминаниям о древних. Власть, безусловно, принадлежала старым Судам; они говорили, Двору и Городу; в наши дни, если мы хотели говорить правильно, мы были обязаны говорить Город и Суд. Феодалы, утратившие свою власть, стремятся загладить свою вину в своих удовольствиях. Казалось, что на будущее сами монархи будут подчинены этому закону: трон, с нашими либеральными идеями, незаметно перестал быть синьорией и стал чисто магистратурой; принц, имеющий для поддержания лишь простой практический характер, всегда достаточно скучный и нудный в долгосрочной перспективе, должен стремиться уйти из него, прийти как простой гражданин и получить свою долю удовольствий общества ”.

Среди множества новых мер, предложенных императором для более спокойного будущего, его любимой идеей было, после достижения мира и обеспечения покоя, посвятить свою жизнь очищению администрации и мелиорации на местах; быть занятым в постоянных поездках по департаментам: он посещал бы их, а не спешил; находился бы временно, а не разъезжал: он пользовался бы собственными лошадьми, был бы окружен императрицей, королем Рима, всем своим двором. В то же время он хотел, чтобы этот великолепный экипаж ни для кого не был обременительным, а скорее приносил пользу всем: набор гобеленовых драпировок и все остальные принадлежности, следующие за поездом, были бы обставлены и украшали места его отдыха. Остальные придворные, по его словам, были бы расквартированы за счет граждан, которые смотрели бы на своих гостей как на благо, а не как на обузу, потому что они всегда были бы верным средством для получения ими какого-то преимущества или милостей. “Таким образом, ” продолжал он, “ я мог бы в любом месте предотвращать мошенничество, наказывать за незаконное присвоение, приводить в порядок здания, мосты, дороги; осушать болота, удобрять земли и т.д. — Если бы Небеса тогда, - продолжал он, - даровали мне несколько лет, я бы, несомненно, сделал Париж столицей мира, а всю Францию настоящей сказочной страной”. Он часто повторял эти последние слова: "сколько людей уже сказали это или повторят это за ним!"

НАБОР ШАХМАТНЫХ ФИГУР ИЗ КИТАЯ.—ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАПИТАНОВ КИТАЙСКОГО ФЛОТА.

6. Император сел на коня в семь часов: он велел мне позвать моего сына сопровождать нас; это было большое одолжение. Во время нашей поездки император пять или шесть раз спешил, чтобы рассмотреть в подзорную трубу некоторые сосуды, оказавшиеся в поле зрения: он определил, что один из них голландский; три цвета всегда вызывают у нас живейшие эмоции. В одном из таких случаев самый резвый конь в отряде вырвался на свободу и устроил долгую погоню; мой сын догнал его, с триумфом привел обратно, и император заметил, что на турнире это было бы победой.

По нашем возвращении император завтракал у себя дома: он задержал нас всех.

До и после завтрака император беседовал со мной наедине по серьезным вопросам, которые я не могу доверить бумаге.

Жара становилась невыносимой: он ушел. Было половина пятого, когда он снова послал за мной; он заканчивал одеваться. Доктор принес ему набор шахматных фигур, которые он покупал на борту кораблей из Китая; император пожелал иметь такую. За это он заплатил тридцать наполеонов: это было предметом великого восхищения достойного Доктора, и в то же время императору ничто не казалось более смешным. Все фигуры, вместо того чтобы походить на наши, представляли собой грубые и неуклюжие изображения фигур, обозначенных названиями: так, рыцарь был вооружен со всех сторон, а замок покоился на огромном слоне и т. Д. Император не смог ими воспользоваться, любезно сказав, что для перемещения каждой детали потребуется подъемный кран.

Тем временем многие офицеры и другие лица, служащие на китайском флоте, прогуливались по саду. Их любопытство привело их за несколько часов до этого в наше жилище; к нам буквально вторглись в наши покои. Один сказал, что гордостью его жизни было бы увидеть Наполеона; другой, что он не осмелился бы появиться в присутствии своей жены в Англии, если бы не мог сказать ей, что ему посчастливилось увидеть его черты; третий, что он охотно отказался бы от всех выгод своего путешествия ради одного взгляда и т.д.

Император распорядился, чтобы их впустили: трудно описать их удовлетворение и радость: они не осмеливались ожидать или надеяться на столь многое. Император, согласно обычаю, задал им множество вопросов, касающихся Китая, его торговли, его жителей: их доходов, их нравов; миссионеров и т.д. Он задержал их более чем на полчаса, прежде чем отпустить. Когда они уходили, мы описали ему энтузиазм, который мы наблюдали у этих офицеров, и повторили все, что они слышали о нем. “Я верю этому, - сказал он. - вы не понимаете, что они наши друзья. Все, что вы в них заметили, принадлежит простым людям Англии — естественным врагам, возможно, не отдавая себе в этом отчета, их старой и наглой аристократии”.

За обедом император ел мало; ему нездоровилось; после кофе он попытался сыграть партию в шахматы, но его слишком сильно клонило ко сну, и он почти сразу же лег спать.

УЛОВКА.

7. Император сел на коня очень рано; он снова велел мне позвать моего сына сопровождать его. Накануне вечером император, увидев его верхом на лошади, спросил меня, не заставлял ли я его учиться ухаживать за своей лошастью; что нет ничего более полезного; что он отдал особые распоряжения по этому поводу в военной школе в Сен-Жермене. Я был раздосадован, что такая мысль ускользнула от меня; я жадно ухватился за нее, а мой сын - еще больше. В этот момент он был на лошади, к которой никто не прикасался, кроме него самого. Император, которому я сообщил об этом, казался довольным и снизошел до того, что заставил его пройти что-то вроде небольшого экзамена. Наша поездка длилась почти два с половиной часа, мы все время болтали о Лонгвуде.

По нашем возвращении император позавтракал в саду, на который и пригласил всех нас.

Незадолго до обеда я, как обычно, появился в гостиной: император играл в шахматы с великим маршалом. Камердинер, ожидавший у дверей комнаты, принес мне письмо, на котором было написано *"Очень срочно"*. Из уважения к императору я отошел в сторону, чтобы прочитать его: оно было на английском; в нем говорилось, что я сочинил превосходное произведение; что, тем не менее, оно не лишено недостатков; что, если я исправлю их в новом издании, без сомнения, работа станет более ценной из-за этого; а затем продолжил молиться, чтобы Бог сохранил меня под своей милостивой и святой защитой. Такое письмо вызвало мое изумление и несколько рассердило меня; краска бросилась мне в лицо; сначала я не дал себе времени обдумать написанное. Перечитав его еще раз, я узнал почерк, несмотря на то, что оно было написано гораздо лучше, чем обычно, и я не мог удержаться от смеха про себя. Но император, искоса взглянув на меня, спросил, от кого пришло письмо, которое мне передали. Я ответил, что это была бумага, которая поначалу вызвала у меня совсем другое чувство, чем то, которое она оставила навсегда. Я сказал это с такой простотой, мистификация была такой полной, что он смеялся до слез на глазах. Письмо было от него; ученик намеревался пошутить со своим учителем и испытать свои силы за его счет. Я бережно храню это письмо; веселость, стиль и все обстоятельства делают его для меня более ценным, чем любой диплом, который император мог бы вручить мне, когда он был у власти.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИМПЕРАТОРУ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОИМ АНГЛИЙСКИМ.—О МЕДИЦИНЕ.—КОРВИЗАРТ.—ОПРЕДЕЛЕНИЕ.—О ЧУМЕ.—МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА В ВАВИЛОНЕ.

8. Император не спал всю ночь; поэтому он развлекся тем, что написал мне еще одно письмо по-английски; он отправил его мне запечатанным; я исправил в нем ошибки и отправил ему ответ также по-английски с возвращенным курьером. Он прекрасно понял меня: это убедило его в достигнутом прогрессе и убедило в том, что в будущем он сможет, строго говоря, вести переписку на своем новом языке.

Почти две недели назад генерал Гурго был нездоров; его недомогание переросло в очень злокачественную дизентерию, что вызвало некоторую тревогу. Адмирал прислал к нему хирурга с "Нортумберленда" (доктора Уордена); император пригласил этого джентльмена на обед. Во время трапезы и долгое время после нее разговор шел исключительно о медицине; иногда оживленный, иногда серьезный и углубленный. Император был в хорошем настроении: он говорил с большой словоохотливостью; он засыпал Доктора вопросами и остроумными и утонченными аргументами, которые сильно озадачили его: последний был сильно ослеплен этим блеском; так что после обеда он отвел меня в сторону, чтобы спросить, как случилось, что Император был так хорошо информирован по этим вопросам: он не сомневался, что это были его обычные темы для разговоров. "Не больше, чем о чем-либо другом", - сказал я правду. "Но есть несколько предметов, с которыми император не знаком, и он относится ко всем по-новому и увлекательно".

Император не верит ни в медицину, ни в ее средства, которыми он не пользуется. "Доктор," сказал он, "наше тело - это машина для достижения цели жизни: оно организовано с этой целью — такова его природа. Оставьте жизнь там в покое, позвольте ей позаботиться о себе самой, это будет лучше, чем если вы парализуете ее, пичкая лекарствами. Это подобно хорошо сделанным часам, которым суждено прослужить определенное время; часовщик не в силах открыть их, он может трогать их только наугад и с повязкой на глазах. Для того, кто, ломая голову

над этим своими плохо сконструированными инструментами, преуспевает в том, чтобы добиться от этого хоть какой-то пользы, сколько болванов разрушают это вообще!”

Император, таким образом, признавал полезность медицины лишь в немногих случаях, при заболеваниях, которые были известны и отчетливо подтверждены временем и опытом; и затем он сравнил искусство врача с искусством инженера при регулярных осадах, где максимы Вобана и правила опыта привели все шансы в рамки известных законов. В соответствии также с этими принципами император задумал закон, который должен был разрешить массе практикующих врачей во Франции пользоваться только простыми лекарствами и запретить им применять *героические* средства, то есть такие, которые могут вызвать смерть, если они не зарабатывают по меньшей мере три или четыре тысячи франков своей профессией; что, по его словам, дает основания предполагать, что они обладают образованием, здравым смыслом и определенной общественной репутацией. “Эта мера, ” сказал он, - была, безусловно, справедливой и благотворной; но в моих обстоятельствах она оказалась несвоевременной: информация еще не была достаточно распространена. Без сомнения, народные массы увидели бы в законе только акт тирании, который, тем не менее, спас бы их от палачей”.

Император часто нападал на знаменитого Корвизара, своего врача, по поводу медицины. Последний, помахивая честью профессии и своих коллег, признался, что придерживался почти тех же взглядов и даже действовал в соответствии с ними. Он был большим врагом лекарств и пользовался ими очень экономно: императрица Мария-Луиза, сильно страдавшая во время беременности и дразнившая его, чтобы получить облегчение, он искусно дал ей несколько пилюль, приготовленных из хлебных крошек, которые, как она заметила, принесли ей большую пользу.

Император сказал, что он заставил Корвизарта признать, что медицина - это ресурс, доступный лишь немногим; что она может принести некоторую пользу богатым, но является бичом бедных. “Итак, ” сказал император, “ не верите ли вы, видя неопределенность самого искусства и невежество тех, кто им занимается, что его результаты, взятые в совокупности, скорее пагубны, чем полезны для людей?” Корвизарт согласился без колебаний. “Но разве вы сами никогда никого не убивали?” — продолжал император, - “то есть, не умирали ли некоторые пациенты, очевидно, из-за ваших предписаний?” - “Несомненно, - ответил Корвизар. - ”Но я не должен позволять этому ложиться бременем на мою совесть, как и ваше величество, если бы вы вызвали гибель некоторых войск не из-за того, что совершили неудачное движение, а потому, что их маршу помешал ров или пропасть, о которых вы не могли знать“.

Затем император перешел к некоторым проблемам и определениям, которые он предложил Врачу. “Что такое жизнь?” - спросил он его. “Когда и как мы получаем это? Разве это еще не тайна?” Затем он определил безвредное безумие как пропасть или непоследовательность суждений между справедливыми идеями и их применением: безумец есть виноград на винограднике, который ему не принадлежит; и в ответ на упреки владельца говорит: “Нас здесь двое; солнце видит нас обоих; следовательно, я имею право есть виноград”. Опасным безумцем был тот, в ком эта пропасть или непоследовательность суждений возникала между идеями и действиями: именно он отрубил голову спящему человеку и спрятался за живой изгородью, чтобы насладиться замешательством мертвого тела, когда оно проснется.

Затем Император спросил Доктора, в чем разница между сном и смертью; и сам ответил на этот вопрос, сказав, что сон - это кратковременная остановка способностей, подвластных нашей

воле; а смерть - длительная остановка не только этих способностей, но и тех, над которыми наша воля неподвластна.

С этого момента разговор зашел о чуме. Император утверждал, что оно было взято по вдохновению, а также при контакте: он сказал, что оно стало наиболее опасным и широко распространялось из-за страха: его основное место было в воображении. В Египте погибли все, в ком это (воображение) было затронуто. Самым разумным средством было моральное мужество. По его словам, он безнаказанно прикоснулся к нескольким инфицированным в Яффо и спас много жизней, обманывая солдат в течение двух месяцев относительно природы болезни: им сказали, что это не чума, а лихорадка, сопровождающаяся язвами. Более того, он заметил, что лучшим средством уберечь армию от этого было держать ее на марше и давать ей много физических упражнений: усталость и занятие ума другими предметами были признаны самой надежной защитой.^[32]

Император также сказал Врачу: “Если бы Гиппократ внезапно появился в вашей больнице, разве он не был бы сильно удивлен? принял бы он ваши принципы и ваши методы? не стал бы он придирается к вам? Со своей стороны, должны ли вы понимать его язык? должны ли вы вообще понимать друг друга?” — закончил он, приятно превознося медицинскую практику в Вавилоне, где пациентов выставляли напоказ у дверей, а родственники, сидевшие рядом с ними, останавливали пассажиров, чтобы поинтересоваться, страдали ли они когда-нибудь подобным недугом и что их вылечило. По крайней мере, сказал он, можно быть уверенным, что удастся спастись от всех тех, чьи лекарства убили их.

9. Я завтракал с императором после нашего урока английского, когда получил письмо от моей жены, которое наполнило меня радостью и благодарностью. Она сказала, что ни страх, ни усталость, ни расстояние не могли помешать ей присоединиться ко мне; что в разлуке со мной она не могла испытать счастья и что она только ждала подходящего времени года. Восхитительная преданность! превосходит все, что мы проявили здесь, поскольку оно осуществляется с совершенным знанием всех его последствий. Я не думаю, что в Англии у них хватит жестокости отказать ей: чего она требует? услуги, интерес? Нет; она умоляет разделить участь изгнанника на уединенной скале; исполнить долг и засвидетельствовать свою привязанность!—Как далек я был от справедливой оценки сердец и умов тех, кто нас задерживал! Мадам де Лас Касес постоянно получала отпор: иногда под различными предложениями; иногда даже без ответа. Наконец, словно желая избавиться от ее назойливости, лорд Батерст в начале 1817 года уведомил ее, что ей должно быть разрешено отправиться на мыс Доброй Надежды (в 500 лигах за островом Святой Елены), откуда, “если губернатор острова Святой Елены (сэр Хадсон Лоу) не увидит возражений, ей будет разрешено присоединиться к своему мужу”.

Я оставляю без комментариев этот образец несвоевременной шутки на рассмотрение любого, у кого есть чувства мужчины. Это письмо пришло с фрегата “Оуэн Глендауэр”, который прибыл с мыса и в то же время доставил нам европейские газеты к 4 декабря.

СУД НАД НЕЕМ.—ЗАХВАТ ИМПЕРАТОРСКОЙ КАРЕТЫ ПРИ ВАТЕРЛОО.—ИНТЕРВЬЮ В ДРЕЗДЕНЕ.—О ЖЕНСКОМ КАПРИЗЕ.

10-12. Погода теперь переменилась и начались те ужасные проливные дожди, которые едва позволяли нам гулять по саду; к счастью, у нас были газеты, чтобы занять время. Наконец я имел удовольствие видеть, что император читает их без посторонней помощи.

Эти документы содержали множество деталей, относящихся к судебному процессу над маршалом Неем, который в то время продолжался. По этому поводу император сказал, что горизонт мрачен; что несчастный маршал, несомненно, в большой опасности; но что мы, однако, не должны отчаиваться. “Король, несомненно, считает себя вполне уверенным в пэрах, - сказал он. - они, конечно, достаточно вспыльчивы, твердо настроены, крайне разгневаны; но, несмотря на все это, предположим малейший инцидент, какой-нибудь новый слух или я не знаю что еще: тогда вы увидите, что, несмотря на все усилия короля и на то, что они считают интересами своего дела, Палате пэров внезапно взбредет в голову не признавать его виновным; и таким образом Ней может быть спасен”.

Это побудило императора остановиться подробнее на нашем непостоянном характере. “Все французы, - сказал он, - беспокойны и склонны к брани; но они не склонны к мятежным комбинациям, а тем более к настоящим заговорам. Их легкомыслие настолько естественно для них, их перемены настолько внезапны, что это, можно сказать, национальный позор. Они всего лишь флюгера, забава ветров, это правда; но этот порок у них свободен от расчета на проценты, и это их лучшее оправдание. Но следует понимать, что мы говорим здесь только о массах, о том, что составляет общественное мнение; ибо в наше последнее время появилось множество индивидуальных примеров обратного, которые демонстрируют определенные классы в самом отвратительном состоянии подлости”.

Именно это знание национального характера, продолжал император, всегда мешало ему обратиться в Верховный суд. Это было установлено нашей Конституцией; Государственный совет даже издал указ о его организации; но император чувствовал всю опасность суеты и возбуждения, которые всегда вызывают подобные зрелища. “Такое судебное разбирательство, ” сказал он, “ на самом деле было обращением к общественности и всегда наносило большой ущерб авторитету, когда обвиняемый добивался своего. Министерство в Англии могло бы без каких-либо неудобств выдержать последствия решения против него при таких обстоятельствах; но такой государь, как я, и в таком положении, в каком я находился, не мог бы вынести этого без крайней опасности для государственных дел: по этой причине я предпочел обратиться в обычные суды. Недоброжелатели часто выдвигали возражения против этого; тем не менее, среди всех тех, кого им было приятно называть жертвами, кто из них, я спрашиваю вас, сохранил свою популярность в нашей недавней борьбе? Они позаботились о том, чтобы оправдать меня: все они поблекли в глазах народа”.

Император оставил одну статью в газетах, чтобы я мог помочь ему прочесть ее; в ней говорилось о карете, которую он потерял при Ватерлоо: большое количество технических выражений делало ее слишком сложной для него. Редактор дал весьма обстоятельный отчет об этом вагоне с мельчайшим описанием всего его содержимого; к этому он иногда добавлял самые фривольные рассуждения. Упомянув о маленьком ящичке со спиртным, он заметил, что император никогда не забывал себе, но старался ни в чем не нуждаться; отметив некоторые

элегантные принадлежности своего туалетного столика, он добавил, что, как видно, он сделал свой туалет *комильфо* (выражение было французским). Эти последние слова произвели на императора такое впечатление, какого, конечно, не вызвал бы более важный предмет. “Как! - сказал он мне со смесью отвращения и боли. - Значит, эти люди в Англии принимают меня за какое-то дикое животное; неужели их завели так далеко? или их ..., который, как я уверен, является разновидностью Быка Аписа, разве он не уделяет тому вниманию своему туалету, которое считается приличным для каждого человека любого образования среди нас?”

Несомненно, я был бы немало озадачен, если бы объяснил ему, что имел в виду автор. Кроме того, известно, что император из всех людей в мире меньше всего ценил свои личные удобства и меньше всего заботился о них; но, с другой стороны, и он с удовольствием признавал это, никогда не было человека, для которого преданность и внимание слуг были бы столь усердны именно в этом. Поскольку он ел в очень неурочное время, во время его путешествий и кампаний они ухитрялись готовить ему обед, подобный тому, к чему он привык в Тюильри, всегда готовый в нескольких шагах от него. Ему стоило только заговорить, и его немедленно обслужили; он сам сказал, что это было волшебство. В течение пятнадцати лет он постоянно пил особый сорт бургундского (Шамбертен), который ему нравился и который, по его мнению, был полезен для здоровья: он обнаружил, что этим вином его снабжали по всей Германии, в самой отдаленной части Испании, повсюду, даже в Москве; и действительно, можно сказать, что искусство, роскошь, утонченность элегантности и хороший вкус боролись вокруг него, словно без его ведома, доставляя ему удовольствие. Английские журналисты, таким образом, описали множество предметов, которые, несомненно, находились в карете, но о которых император не имел ни малейшего представления: не то чтобы он был этому удивлен, заметил он.

Плохая погода, которая продолжала держать нас взаперти, никак не повлияла на расположение императора, который в это время казался более сдержанным и говорил больше обычного. Он долго и с мельчайшими подробностями рассказывал о знаменитом интервью в Дрездене. Ниже приводятся выдержки из его беседы: —

Это была эпоха, когда могущество Наполеона было на пике: он выступал там как *царь царей*; он был фактически вынужден заметить, что императору Австрии, его тестю, следует уделять некоторое внимание. Ни этот государь, ни король Пруссии не имели при себе никаких домашних учреждений; у Александра их не было ни в Тильзите, ни в Эрфурте. Там, как и в Дрездене, они сидели за столом Наполеона. “Эти Дворы, “ сказал император, - были ничтожны и вульгарны”. Именно он регулировал правила этикета и брал в них на себя инициативу; он поставил Фрэнсиса выше себя, к своему безграничному удовлетворению. Роскошь и великолепие Наполеона, должно быть, заставляли его казаться им азиатским принцем: там, как и в Тильзите, он осыпал бриллиантами всех, кто оказывался рядом с ним. Мы сообщили ему, что в Дрездене при нем не было ни одного французского солдата и что его Двор иногда не без опасений за безопасность его персоны. Он едва мог нам поверить, но мы заверили его, что это факт, что саксонский телохранитель был единственным, кто у него был. “Это все одно, - сказал он, - я был тогда в очень хорошей семье, с такими достойными людьми, которые мне не угрожала опасность; я был любим; и в этот самый момент, я уверен, что добрый король Саксонии повторяет каждый день *Патер* и *пр.* Для меня”. Он добавил: “Я испортил жизнь бедной принцессы Августы, и я поступил очень неправильно в этом. Возвращаясь из Тильзита, я принял в Мариенвердере камергера короля Саксонии, который передал мне письмо от своего господина; он писал так: ‘Я только что получил письмо от императора Австрии, который желает

выдать замуж мою дочь; я посылаю это вам, чтобы вы могли сообщить мне, какой ответ я должен дать'. — "Я буду в Дрездене через несколько дней", - был ответ императора; и по прибытии он воспротивился браку и предотвратил его. "Я был очень неправ, - повторил он. - я боялся, что император Франциск отзовет у меня короля Саксонии; напротив, принцесса Августа привлекла бы императора Франциска на мою сторону, и меня бы сейчас здесь не было".

В Дрездене Наполеон был сильно занят делами, и Мария-Луиза, стремясь воспользоваться малейшими промежутками свободного времени, чтобы побыть со своим мужем, почти никуда не выходила, чтобы не пропустить их. Император Франциск, который ничего не делал и весь день утомлял себя хождением по городу, совершенно не мог понять этого семейного уединения; он воображал, что оно должно было подчеркивать сдержанность и важность. Императрица Австрии пыталась уговорить Марию-Луизу выйти из дома; она заявила ей, что ее постоянное усердие просто смешно. Она охотно напустила бы на себя вид мачехи по отношению к Марии-Луизе, которая не была расположена терпеть это, поскольку их возраст был почти одинаков. Она часто приходила утром в свой туалет, роясь среди выставленных там роскошных предметов: она редко выходила с пустыми руками.

"Правление Марии-Луизы было очень коротким, - сказал император, " но оно, должно быть, было для нее полным наслаждением; весь мир был у ее ног". Один из нас взял на себя смелость спросить, не была ли австрийская императрица заклятым врагом Марии-Луизы. "Не более, - сказал император, - чем обычная придворная ненависть; глубокая ненависть в сердце, но приукрашиваемая ежедневными письмами на четырех страницах, полными уговоров и нежности".

Императрица Австрии была особенно внимательна к Наполеону и прилагала большие усилия, чтобы как можно больше внимания уделять ему в его присутствии; но как только он повернулся к ней спиной, она попыталась отдалить от него Марию-Луизу самыми коварными и злобными намеками; она была раздосадована тем, что ей не удалось добиться некоторого влияния на нее. "Однако у нее есть обаяние и способности, - сказал император, - и этого достаточно, чтобы поставить в неловкое положение ее мужа, который был убежден, что она невысокого мнения о нем. Лицо у нее было приятное, обаятельное, и в нем было что-то очень необычное; она была хорошенькой маленькой монахиней.

Что касается императора Франциска, то его добродушие хорошо известно и постоянно делает его жертвой замыслов. Его сын будет похож на него.

"Король Пруссии, как частное лицо, является честным, хорошим и достойным человеком; но в своем политическом качестве он, естественно, склонен уступать необходимости: вы его господин до тех пор, пока на вашей стороне сила и ваша рука поднята для удара.

Что касается императора России, то он человек, бесконечнопревосходящий их: он обладает остроумием, изяществом, информацией; он очарователен, но ему нельзя доверять: он лишен искренности, истинный *грек из Низшей Империи*. В то же время он не лишен идеологии, реальной или предполагаемой: — в конце концов, это может быть лишь малая толика, почерпнутая из его образования и его наставника. Вы бы поверили, " сказал император, " что я должен был обсудить с ним? Он утверждал, что наследование является злоупотреблением в монархии, и мне пришлось потратить больше часа и пустить в ход все свое красноречие и логику, доказывая ему, что это право составляет мир и счастье народа. Возможно также, что он

вводил в заблуждение; ибо он хитер, лжив и опытен; он будет испытывать судьбу. Если я умру здесь, он будет моим настоящим наследником в Европе. Я один смог остановить его нашествие татар. Кризис серьезен и будет иметь длительные последствия для Европейского континента, особенно для Константинополя: он заботился обо мне, чтобы я овладел им. Меня много раз уговаривали на эту тему, но я постоянно оставался глух к этому. Было необходимо, чтобы эта империя, какой бы разрушенной она ни казалась, постоянно оставалась разделяющей нас точкой; именно болото помешало мне повернуть направо. Что касается Греции, то это другое дело!” И, поговорив немного об этой стране, он возобновил тему: “Греция ждет освободителя! Ее ждет блестящий венец славы! Он навеки впишет свое имя в список имен Гомера, Платона и Эпаминонда!— Возможно, я был недалеко от этого, когда во время моей кампании в Италии я прибыл на берега Адриатики и написал Директории, что у меня перед глазами королевство Александра! — Еще позже я вступил в бой с Али-пашой; и когда Корфу был отнят у нас, они, должно быть, нашли там боеприпасы и полное снаряжение для армии в сорок или пятьдесят тысяч человек. Я приказал составить карты Македонии, Сербии, Албании и т. Д. Греция, по крайней мере Пелопоннес, должна стать уделом той европейской державы, которая овладеет Египтом. Он должен быть нашим”.

КОНЕЦ ТОМА I.

АНДОВЕР: ПО ШАБЛОНУ И НАПЕЧАТАНО Б. БЕНСЛИ.

Сноски

1. Я вставил в текст *недостоверный Журнал эперонов*,^[2] и не должен упускать из виду, что привело к ее удалению.

Император, который один знал, что я веду дневник на острове Святой Елены, однажды выразил желание, чтобы я прочел ему несколько страниц: дойдя до этого случайно брошенного выражения, он вдруг воскликнул: “Что ты наделал! Стирайте, стирайте, сэр, быстро! *Une Journée des Eperons!* какая клевета! Ах, несчастная армия! храбрые люди! ты никогда не сражался лучше! Затем, помолчав несколько мгновений, он добавил тоном, выражающим глубокое чувство: — “Среди нас были подлые негодяи! Да простит их небо! Но что касается Франции, то она когда-нибудь оправится от последствий того злополучного дня!”

2. Имеется в виду битва при Гвинегате, произошедшая близ Булони в 1513 году между армией Генриха VIII. и армией Франции. Французы были полностью разбиты по этому случаю, а знаменитый Баярд взят в плен, прикрывая отступление; это было настолько поспешно, что с тех пор этот день был назван *La Journée des Eperons* (или днем шпор), потому что, как утверждают современные историки, французская армия больше использовала свои шпоры, чем копья.—
Редактор.

3. По возвращении в Европу случай подбросил мне следующие документы в связи с вышеуказанным обстоятельством. Я привожу их здесь, поскольку полагаю, что они неизвестны широкой публике. Они скопированы с оригиналов и не требуют комментариев.

Копия письма Правительственной комиссии маршалу принцу д'Экмюлю, военному министру.

Париж, 27 июня 1815 года.

Сэр, положение дел таково, что Наполеону необходимо принять решение об отходе и отправлении на остров Экс. Если он не решит сделать этого после того, как вы уведомите его о прилагаемых резолюциях, вы должны установить за ним наблюдение в Мальмезоне, чтобы предотвратить его побег. С этой целью вы предоставите необходимую часть жандармерии и линейных войск в распоряжение генерала Беккера, чтобы охранять все дороги, ведущие в Мальмезон, во всех направлениях. Вы отдадите соответствующие распоряжения главному инспектору жандармерии. Эти меры должны храниться в максимально возможной тайне.

Это письмо предназначено для вас; но генерал Беккер, которому будет поручено передать резолюции Наполеону, получит особые инструкции от вашего превосходительства и сообщит Наполеону, что они были составлены в интересах государства и безопасности его личности; что их немедленное исполнение необходимо; и, наконец, что его будущие интересы делают их абсолютно необходимыми.

(Подпись) Герцог Отранто.

Копии резолюций, принятых Правительственной комиссией, извлеченные из протоколов департамента государственного секретаря.

Париж, 26 июня 1815 года.

Правительственная комиссия постановляет следующее:

Статья I. Морской министр отдаст приказ подготовить в Рошфоре два фрегата для доставки Наполеона Бонапарта в Соединенные Штаты. Статья II. Если он потребует этого, его должен сопровождать достаточный эскорт до места посадки по приказу генерал-лейтенанта Беккера, которому будет поручено обеспечить его безопасность.

Статья III. Генеральный директор почтовых служб, со своей стороны, отдаст необходимые распоряжения относительно ретрансляторов.

Статья IV. Морской министр издаст необходимые приказы для обеспечения немедленного возвращения фрегатов после высадки.

Статья V. Фрегаты не должны покидать Рошфор до прибытия охранных грамот.

Статья VI. На каждого из министров морского флота, военного ведомства и финансов возложена ответственность за выполнение той части настоящих резолюций, которая касается их соответственно.

(Подпись) Герцог Отранто.

По распоряжению Правительственной комиссии помощник государственного секретаря.

(Подпись) Граф Берлье.

Копия письма герцога Отранто военному министру.

Париж, 27 июня 1815 года, в полдень.

Сэр, я препровождаю вам копию письма, которое я только что написал морскому министру по отношению к Наполеону. Ознакомление с ним убедит вас в необходимости отдать приказ генералу Беккеру не отделяться от личности Наполеона, пока последний остается на дорогах Экса.

(Подпись) Герцог Отранто.

Копия письма морскому министру, упомянутого выше.

Париж, 27 июня 1815 года, полдень.

Сэр, Комиссия напоминает вам об инструкциях, которые она передала вам час назад. Резолюции должны быть исполнены в соответствии с предписаниями Комиссии, принятыми вчера; и согласно которым Наполеон Бонапарт останется на дорогах Экса до получения его паспортов.

Благосостояние государства, которое не может быть безразлично к нему, требует, чтобы он оставался там до тех пор, пока его судьба и судьба его семьи не будут окончательно урегулированы. Будут использованы все средства, чтобы сделать результат переговоров удовлетворительным для него. В этом заинтересована честь Франции, но тем временем должны быть приняты все возможные меры предосторожности для личной безопасности Наполеона и для того, чтобы он не покидал временно отведенного ему места.

Председатель Правительственной комиссии.

(Подпись) Герцог Отранто.

Письмо военного министра генералу Беккеру.

Париж, 27 июня 1815 года.

Сэр, имею честь препроводить вам прилагаемые резолюции, которые Правительственная комиссия поручает вам уведомить императора Наполеона; уведомляя его Величество, что обстоятельства настолько велики, что делают необходимым, чтобы он принял решение отправиться на остров Экс. Эти решения, отмечает Комиссия, были приняты как в целях безопасности его личности, так и в интересах государства, которое всегда должно быть ему дорого.

Если его Величество не примет решения после того, как ему будут сообщены эти резолюции, Правительственная комиссия намерена предпринять необходимые шаги для предотвращения побега его Величества и любых покушений против его личности.

Я должен повторить, генерал, что эти резолюции были приняты в интересах государства и личной безопасности императора; кроме того, Правительственная комиссия считает их скорейшее исполнение необходимым для будущего благополучия его Величества и его семьи.

Имею честь быть и т.д.

Примечание: Вышеупомянутое письмо осталось без подписи; в момент отправки принц Экмюльский заметил своему секретарю: “Я никогда не подпишу это письмо — подпишите его сами, этого будет достаточно”. Секретарь оказался в равной степени неспособным поставить свое имя под таким сообщением. Было ли оно отправлено или нет?— Это вопрос, который я не могу решить.

4. Ниже приводится маршрут императора во время путешествия: — Покинул Париж 29 июня и переночевал в Рамбуйе; в Туре 30-го; и в Ньоре 1 июля. Покинул Ньор 2-го и достиг Рошфора 3-го; оставался там до 8-го; поднялся на борт "Беллерофонта" 15-го.

5. Название одного из фрегатов, которому суждено было принять Наполеона на борт. — Прим.Ред.

6. Небольшие суда, мало чем отличающиеся от люггеров и обычно используемые во Франции в качестве каботажных судов.-Изд.

7. Во время нашего перехода на остров Святой Елены адмирал Кокберн предоставил в наше распоряжение свою библиотеку. Один из наших товарищей, перелистывая страницы тома Британской энциклопедии, нашел письмо из Ла-Рошели, адресованное командующему английской эскадрой: в нем слово в слово излагалось все наше дело относительно датского корабля; момент его предполагаемого отплытия, будущие намерения и т.д. Мы передавали это письмо из рук в руки, позаботившись о том, чтобы его заменили там, где оно было обнаружено впервые. Это дало нам очень мало информации; мы были осведомлены о взаимопонимании, которое существовало как во Франции, так и за ее пределами, но очень хотели увидеть тому подтверждение. Как это письмо попало на борт "Нортумберленда"? Капитан Мейтленд, несомненно, при переводе нас на этот корабль передал также документы, касающиеся нашего захвата. Это было то самое письмо, которое вызвало такую тревогу со стороны капитана в связи с предполагаемым побегом Императора вскоре после моего отплытия.

8. Ниже приводится документ, который вышеуказанное обстоятельство придает ему еще большую ценность: это приказ дня, отданный Первым консулом своей охране против самоубийств.

Орден 22-го Флореаля, год X.

“Гренадер Гобен покончил с собой от любви: в других отношениях он был отличным солдатом. Это второй инцидент подобного рода, произошедший в корпусе в течение месяца.

Первый консул приказывает занести это в книгу приказов гвардии:

“Что солдат должен знать, как победить муки и меланхолию страстей; что в постоянном противостоянии душевным страданиям столько же истинного мужества, сколько в том, чтобы оставаться непоколебимым на стене батареи.

“Отдаться горю без сопротивления или покончить с собой, чтобы избежать несчастья, - значит покинуть поле битвы до того, как будет одержана победа”.

9. Однако есть одно из этих доказательств, которое я теперь волен обнародовать. Прогуливаясь с императором по кормовой галерее в обычный час, он вытащил из-под жилета, все еще беседуя на совершенно другую тему, что-то вроде пояса, который он протянул мне, сказав: “Позаботься об этом для меня”; не прерывая его, я спрятал его под свой собственный жилет. Вскоре после этого император сообщил мне, что в нем находилось бриллиантовое ожерелье стоимостью двести тысяч франков, которое королева Гортензия заставила его принять, когда он покидал Мальмезон. После нашего прибытия на остров Святой Елены я часто заговаривал о возвращении ожерелья, но так и не получил никакого ответа. Осмелившись снова затронуть эту тему, когда мы были в Лонгвуде, Наполеон сухо спросил: “Это вас раздражает?” — “Нет, сир”, — был мой ответ. - “Тогда оставьте это себе”, - сказал он. Из-за того, что я так долго носил пояс, ожерелье стало как бы отождествляться с моей персоной; и я так мало думал о нем, что оно всплыло в моей памяти только через несколько дней после того, как меня оторвали от Лонгвуда, и по чистой случайности; тогда я содрогнулся при мысли о лишении императора такого ресурса. Ибо как теперь было бы возможно возместить ущерб? Я находился в самом строгом заключении, окруженный тюремщиками и часовыми, так что всякое общение было практически невозможно. Я тщетно пытался придумать план; время поджимало; оставалось всего несколько дней, и ничто не могло быть более мучительным, чем покинуть остров таким образом. Оказавшись в таком затруднительном положении, я решил пойти на любой риск. Англичанин, с которым я часто разговаривал, пришел в тюрьму с особым поручением — и только на глазах у самого губернатора или у одного из его самых доверенных агентов, которого он привел, я осмелился высказать свои пожелания.

“Я думаю, что вы человек принципов, — сказал я, - и я собираюсь проверить это, хотя в этом нет ничего оскорбительного или противоречащего вашей чести — просто богатый залог, который будет возвращен Наполеону. Если вы примете обвинение, мой сын положит его вам в карман”.

В ответ он только замедлил шаг; мой сын, которого я подготовил к этой сцене, последовал за ним, и ожерелье было передано этому человеку почти на глазах у сопровождающих военных. Прежде чем покинуть остров, я испытал невыразимое удовлетворение, узнав, что ожерелье попало в руки императора. Как отрадно сердцу вспоминать и перечислять такую черту характера со стороны врага, да еще при таких обстоятельствах!

10. Этот абзац находился в рукописи в таком состоянии, что вызывал сомнения; и я был готов исключить его: поэтому я должен изложить свои причины для его включения. Какова моя цель? главным образом для того, чтобы оставить после себя материалы. Когда я указываю, как они были собраны, и говорю, что я почерпнул их из простого разговора — что я, возможно, исказил их, так внезапно уловив их смысл, — когда я допускаю их вероятную неточность и указываю читателю путь исправления моих ошибок, — разве я недостаточно выполнил свою цель и долг?

11. Проверено в Королевской библиотеке: рукопись действительно существует, а сама пьеса напечатана.

12. Также проверено в Королевской библиотеке, где хранится отчет о разграблении Рима, но *Якопо Буонапарте*, а не *Никколо*. Якопо был современником и очевидцем этого события: его рукопись была впервые напечатана в Кельне в 1756 году; и книга на самом деле содержит генеалогию Буонапарте, которая восходит к очень отдаленному периоду и описывает их как один из самых прославленных домов Тосканы.

Приведенная выше генеалогия представляет факт, который, безусловно, имеет очень необычную природу: это тот факт, что первый Буонапарте был изгнан из своей страны как *гибеллин*. Значит, судьба его семьи во все времена и в каждую эпоху заключалась в том, что она должна была поддаваться влиянию *гвельфов*!

Кельнский редактор иногда пишет *Буонапарте*, а в других - *Бонапарт*.

Этот синьор Никколо Буонапарте, названный в тексте историком, приходится всего лишь дядей; однако в генеалогии он упоминается как очень выдающийся литератор и как основатель факультета юриспруденции в ~~the~~the Пизанском университете.

13. По возвращении в Европу я не преминул поинтересоваться бесценным хранением и поспешил намекнуть принцу Джозефу на важность изготовления еще одной копии, чтобы еще больше убедиться в ее существовании. Каково же было мое горе, когда я узнал, что этот исторический памятник был затерян и что никто не знал, что с ним стало! В чьи руки он мог попасть? Пусть они знают, как оценить такую коллекцию и сохранить ее для истории!

14. Эти строки были продиктованы самим императором: "Как и когда, будет объяснено позже.

15. Продиктовано императором.

16. Император в своем завещании выразил дань благодарности представителю Гаспарину за особое покровительство, которое он получил от него.

Он выразил аналогичную признательность генералу Дютейлю, начальнику своего артиллерийского училища, и генералу Дюгомье за внимание и доброту, которые он испытал от них.

17.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР.

Император родился	15 августа 1769 г.
Поступил в военную школу Бриенна	1779 г.
Переведен в Парижскую школу	1783 г.
Лейтенант 1-го артиллерийского полка	
la Fère	1 сентября 1785 г.
Капитан	6 февраля 1792 г.
Командир батальона	19 октября 1793 г.
Бригадный генерал	6 февраля 1794г.
Генерал дивизии	16 октября 1795 г.
. Внутренние дела	26 октября 1795 г.
Главнокомандующий армией Италии	23 февраля 1796 г.
Первый консул	13 декабря 1799 г.
Пожизненный консул	2 августа 1802 г.
Император	18 мая 1804 г.

Коронован	2 декабря 1804 г.
Первое отречение в Фонтенбло	11 апреля 1814 г.
Вернул бразды правления	20 марта 1815 г.
Второе отречение в л'Элисе	21 июня , 1815 г.

18. Депозит в доме Лафита.

После второго отречения императора кто-то, кто любил его ради него самого и кто знал его расточительный характер, нетерпеливо поинтересовался, были ли приняты какие-либо меры для его будущей поддержки. Обнаружив, что никаких средств выделено не было и что Наполеон оставался совершенно обездоленным, был сделан взнос, и для него было собрано четыре или пять миллионов, депозитарием которых стал г-н Лафит.

В момент его отъезда из Мальмезона забота настоящих друзей Наполеона была ему не менее полезна. —Человек, осведомленный о беспорядке и неразберихе нашего положения, пожелал удостовериться, доставлено ли маленькое сокровище по назначению. Каково же было его изумление, когда он узнал, что карета, в которую его поместили, осталась в каретном сарае в Мальмезоне. Возникла новая трудность: нельзя было найти ключ от каретного сарая; и затруднение, вызванное этим неожиданным обстоятельством, на несколько минут задержало наш отъезд. Господин Лафит хотел немедленно вручить императору расписку в получении суммы; но Наполеон не принял ее, сказав: “Я знаю вас, господин Лафит, я знаю, что вы не одобряли мое правительство, но я считаю вас честным человеком”.

Господин Лафит, похоже, был обречен быть хранителем средств несчастных монархов. Людовик XVIII, уезжая в Гент, также передал ему на руки значительную сумму денег. По прибытии Наполеона, 20 марта, император послал за г-ном Лафитом и спросил его о задатке, который он не отрицал. Когда он выразил опасение, что в вопросах, которые были ему заданы, прозвучит упрек; “Никаких, — сказал император. - эти деньги принадлежали лично королю, а частные дела полностью отличаются от политических”.

19. После моего удаления из Лонгвуда сэр Хадсон Лоу, который изъяс мои бумаги, просмотрел этот журнал с моего разрешения. Он, конечно, столкнулся с частями, которые были ему очень неприятны; и он сказал мне: “Какое прекрасное наследство вы готовите моим детям, граф!” — “Это не моя вина, “ ответил я. - только от вас зависит, поступите ли вы иначе; я был бы счастлив иметь повод вычеркнуть все, касающееся вас, как я сделал на днях в отношении сэра Роберта Уилсона”. На что он спросил меня, что я написал о сэре Роберте, и я указал на это место. Прочитав все, что было написано, и мои доводы в пользу отмены, он сказал с задумчивым и обиженным видом: “Да, я понимаю; но я не могу сказать, что с этим делать; потому что я хорошо знаю Уилсона, и он показал себя теплым другом бурбонов”.

Мы запрыгали от радости, когда услышали об освобождении Лавалетта. Кто-то заметил, что его избавитель Уилсон не мог быть тем же человеком, который написал так много оскорбительных вещей об императоре. “А почему бы и нет?” - сказал Наполеон. “Ты“Ты очень мало знаешь о мужчинах и о страстях, которые ими движут. Что заставляет вас предполагать, что сэр Роберт Уилсон не является человеком энтузиазма и бурных страстей, написавшим то, что он тогда считал правдой? И пока мы были врагами, мы боролись друг с другом; но в наших нынешних невзгодах он знает лучше: возможно, его оскорбили и обманули, и он, возможно, сожалеет об

этом; и, возможно, сейчас он так же искренне желает нам добра, как раньше стремился причинить нам вред ”.

Либо проницательность, либо случай так удачно привели императора к этому заключению, что можно сказать, что он был способен читать характеры на расстоянии. Сэр Р. Уилсон действительно был тем человеком, который писал против Наполеона. Раздосадованный тем, что великий народ лишен своих естественных прав, он упрекал союзников так горько, как если бы они наложили цепи на него самого, и никто не выказывал более сильного возмущения обращением с Наполеоном и не выказывал более горячего желания положить этому конец.

20. Наиболее ценную информацию, касающуюся этих двух бессмертных кампаний, несомненно, можно получить из сборника приказов того времени и ежедневной переписки главнокомандующего с генералами и комиссарами его армии. Несколько томов из них были опубликованы Панкуком под названием “Официальная и конфиденциальная переписка Наполеона Бонапарта и т. Д.”. В целом они послужат самыми прекрасными и полезными уроками для изучающих военное искусство.

21. Камя Августа, простой набросок, но превосходно выполненный. Наполеон подарил его генералу Андреосси, который был большим коллекционером древностей; но г-н Денон, который в то время отсутствовал, впоследствии увидев эту камя, был поражен ее сходством с Наполеоном, который затем вернул камя ему и сохранил его. Впоследствии он перешел во владение Жозефины, и мсье Денон не знает, что с тех пор с ним стало. *(Эта информация была предоставлена мне месье Деноном после моего возвращения во Францию.)*

22.	
Убит в бою	3614
Умерли от ран	854
Умерли в результате различных несчастных случаев	290
Умерли от обычных заболеваний	2468
Умерли от чумной лихорадки	1689
Всего	8915
Подписано,	
Каир, 10 июня IX года.	Сартелон, генеральный смотритель.

23. Говорят, что дополнение к завещанию императора, которое, однако, должно оставаться в тайне, полностью подтверждает вышеприведенные предположения.

24. В этом духе и в подражание примеру других организаций был составлен план Обращения к королю от имени офицеров императорской свиты. По существу это было следующее:—

“Сир, Нижеподписавшийся, состоявший при дворе императора Наполеона, просит ваше Величество оказать ему особое внимание.

Наследники обязанностей своих отцов, они были в прежние времена верными защитниками трона; многие из них последовали за вашим величеством через долгие годы изгнания в чужую страну и скрепили свою преданность конфискацией своего наследия.

Именно эти хорошо известные принципы и это признанное поведение составляли их притязания и привлекали к ним внимание, когда речь шла о возведении нового трона и окружении его приверженцами.

“Ожидания того, кто сплотил нас вокруг себя, не были и не могли быть обмануты: мы выполнили свои новые обязанности *с честью и преданностью*. Этих чувств, сир, вернейших залогов всех остальных, было бы достаточно, чтобы заслужить наше собственное уважение, если бы мы могли оставаться в праздном уединении. Но какой хороший и верный француз пожелал бы состояния абсолютного покоя? И все же, если кто-либо из нас почувствует, что из соображений деликатности вынужден в тишине ожидать своего назначения на новые должности, не могут ли наши мотивы быть неверно истолкованы? С другой стороны, не могут ли быть неправильно поняты чувства и тех, кто, поддавшись порыву своего сердца, с нетерпением поспешил снискать милости вашего Величества?

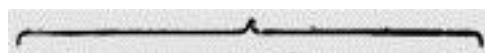
“Такова, сир, особая и деликатная ситуация, в которой мы оказались; но все наши затруднения прекратятся, если ваше Величество соизволит выслушать нашу Речь. Ваше королевское сердце почувствует деликатность импульса, которым мы руководствуемся в этот момент, и примет наши искренние пожелания служить вашему Величеству и нашей стране с нашим обычным рвением и верностью”.

Было трудно собрать подписи для столь умеренного Обращения. Можно ли поверить, что это искреннее признание наших прошлых функций и, в частности, использование фразы “Император Наполеон” были расценены как возражения против него? Каждый придирался к этому в соответствии со своим юмором. Таковы были настроения того дня. Удалось собрать только семнадцать подписей. Восемнадцать или двадцать человек пообещали добавить свои имена, когда список достигнет двадцати пяти; но никто не согласился помочь в пополнении этого числа. Двое из тех, кто уже подписал его, думая, что приложили свою руку к документу, который они не очень хорошо понимали, поскольку их единственным намерением было добиться подтверждения своих назначений, даже зашли так далеко, что стерли свои подписи. Оригинал этого документа должен находиться либо в Париже, либо в Версале, в руках одного из лиц, подписавших его.

25. Это может показаться невероятным. На самом деле, я сам испытываю сомнения сейчас, когда перечитываю это заявление. Но я знаю, что когда однажды за обедом в Лонгвуде об этом заговорили, это вызвало бурное обсуждение, и я записал на бумаге то, что тогда было признано правильным. Кроме того, многие люди, сопровождавшие императора, все еще живы, и этот факт может быть установлен.

26. Этот факт подтверждается подлинными документами, которые содержат доказательства более позитивные, чем можно было бы ожидать. (See Situation de l' Angleterre, par M. de Montvéran.)

Франция



жителей.	Приговорен к смертной казни.
----------	------------------------------

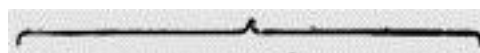
34,000,000

882

Годы.

{1801}

Англия



Жители.	Приговорен к смертной казни.
---------	------------------------------

16,000,000

3,400

42,000,000	392	{1811}	17,000,000	6,400
------------	-----	--------	------------	-------

Из этого заявления очевидно, что в 1801 году во Франции двадцать шесть человек из миллиона жителей были приговорены к смертной казни; и что в 1811 году, десять лет спустя, число осужденных сократилось на две трети, составив всего девять человек к миллиону.

Напротив, в Англии, где в 1801 году число преступников, приговоренных к смертной казни, составляло 212 человек на миллион жителей, это число увеличилось более чем вдвое; в 1811 году их было 376 человек на миллион.

Следует отметить, что осуждения в Англии по сравнению с осуждениями во Франции составили 376 к 9, или 42 к 1.

Отчет о состоянии бедности во Франции по сравнению с отчетом о приходской бедноте в Англии также представляет собой поразительную разницу: во французском списке 1812 года значатся только 30 000 человек из 43 миллионов жителей; в то время как в Англии в том же году четверть населения, или 4 250 000 бедняков, были брошены на нужды приходов. — (Монверен.)

27. Доктор О'Мира из Нортумберленда.

28.

Лица, составляющие двор императора.

СЛУГИ ПОКОЯ.

Маршан,	уроженец Парижа,	1-й камердинер.
Сен-Дени, по имени Али,	уроженец Версаля,	камердинер.
Новерраз,	швейцарец,	то же самое.
Сантини,	корсиканец,	билетер.

СЛУГИ В ЛИВРЕЯХ.

Аршамбо, сен.	уроженец Фонтенбло,	жених.
Арчамбо, джун.	То же самое,	то же самое.
Джентилини,	уроженец Эльбы,	лакей.

СЛУГИ К СТОЛУ.

Сиприани,	корсиканец, скончался на острове Святой Елены,	метрдотель.
Пьеррон,	уроженец Парижа,	дворецкий.
Лепаж,		повар.
Руссо,	уроженец Фонтенбло,	управляющий.

29. Генерал Гурго питал величайшую привязанность к своей матери и сестре и был одинаково любим ими. Он до такой степени проникся к ним уважением, что в своих письмах даже описывал остров Святой Елены как восхитительное место, чтобы облегчить их беспокойство из-за него. В своих письмах он не говорил ни о чем, кроме апельсиновых и лимонных рощ, вечной весны - словом, обо всем, что могло подсказать романтическое воображение. Английские министры, однако, впоследствии не постеснялись обратить против него эти невинные искажения, порожденные его сыновней заботой!

30. Генерал Киршнер был очень выдающимся офицером инженерных войск; он был шурином маршала Ланна, который выбрал его из-за его мужества и способностей.

31. Нижеследующее извлечено из "Кампании в Саксонии" 1813 года бароном Одеlebenом, очевидцем событий; датировано 10 августа, во время возобновления военных действий, через два или три месяца после смерти Дюрока.

“Во время марша из Рейхенбаха в Горлиц Наполеон остановился в Макерсдорфе и показал неаполитанскому королю место, где пал Дюрок. Он вызвал к себе владельца маленькой фермы, на которой умер великий маршал, и назначил ему сумму в 20 000 франков; 4000 из которых предназначались для памятника в честь покойного, а 16 000 - для владельца дома и его жены. Пожертвование было совершено вечером в присутствии ректора и судьи Мейкерсдорфа: деньги были пересчитаны в их присутствии, и им было поручено установить памятник”.

32. В Мемуарах месье Ларра упоминается как явление или, по крайней мере, нечто примечательное, что под давлением обстоятельств во время отступления из Сен-Жан-д'Акра, когда было необходимо ограничить питание больных простым тонким печеньем, а перевязочные материалы - небольшим количеством солоноватой воды, эти инвалиды преодолели шестьдесят лье пустыни без происшествий и с такой пользой, что большая часть почувствовала себя хорошо, когда прибыли в Египет. Он приписывает этот вид одаренности физическим упражнениям, прямым или косвенным, сухой жаре пустыни и, прежде всего, радости от возвращения в страну, которая стала своего рода новым домом для солдат.

Примечание переписчика

Последняя строка текста относится к принтеру, но не совсем разборчива. По-видимому, это относится к Бенджамину Бенсли (ум. в 1870 г.).

Кем бы он ни был, ошибки, которые, скорее всего, были допущены печатником, были исправлены и отмечены здесь. Ссылки даны на страницу и строку в оригинале. Наряду с резолюциями следует отметить вопросы, приведенные в таблице ниже.

В тексте был ряд примеров, когда в цитируемом материале отсутствовали либо открывающие, либо закрывающие кавычки. Правильное размещение не всегда очевидно, но в каждом конкретном случае был сделан наиболее правдоподобный выбор.

10.21	”Я не делал никаких расчетов на этот счет,["] “ ответил я.[”]	Переехал.
38.1	, которую было бы необходимо использовать,	Удалена.

41.8	, которые оказали мне большое внимание	Удалена.
42.26	[“] пусть моя тоже будет выполнена.	Удалено.
51.11	продолжил свой путь к служебной лестнице	Добавлен.
52.4	на bo[ra/ar]d Беллерофонт	транспонирована.
58.4	как будто совершенно не знаком с языком,	добавленным[с].
60.12	Количество и организация вопроса	Добавлены.
61.1	маршал Gra [u / n] d и я всегда следовали за ним	перевернутым.
62.31	получила тихоокеанское письмо Наполеона [s]	Удалена.
64.40	курс юриспруденции в Пизанском университете	заменен.
73.11	, который обладал большой физической и умственной силой	Добавлено.
75.40	Герцогиня де Виченца.[’]	Добавлено. Вероятно.
80,32	раннее знакомство с мадам д [э / у] Коломбье	Заменено.
109.3	“Да здравствует нотр-дам-пти-Капораль!”[“]	Удалена.
125.27	сказал Наполеон. [“]Ты очень мало знаешь о мужчинах”,	Добавил он.
133.10	Император объяснил эти чувства на удивление хорошо	Добавлено.
134.4	О его ареале в Египте	Удалена.
168.29	Король Му [а / с]т обнаружил, что его кабинет	заменен.
190.18	в будущем может быть продлена.[”]	Добавлено.
191.35	преклонить перед ним колено на его дамбе.[”]	Добавлено. Вероятно.
201.12	в незнании характера Марии-Лу[si/is]	Перенесена.
228.17	[“] Национальной гвардии был отдан приказ о выводе	. Вероятно.
на 231,6	больше, чем на favo [n / u] r, который предполагалось	изменить.
269.16	[“]Следующие основные моменты	удалены.
281,13	на всей территории[./.] Император	сменился.
284.39	[“] Каждая> система, без сомнения, может быть поддержана	Добавлением. Вероятно.
330.28	затем[./.] почувствовал запах краски,	заменял.
333.34	его стиль не в наших правилах.[’]”	Добавлено.
334.34	[“]Наша история”, - сказал император и	добавил. Вероятное размещение.
336.7	был сильно встревожен[.]	Добавлен.
350,30	и отныне мы [rg / gr] обязаны выплачивать суммы,	перенесенные.
367.27	приготовиться встретить врага после того, как [r] увидит или	Восстановлено

	прочтет ее	.
385.15	для получения наилучших эффектов	Удалена.
386.1	ужинать каждое воскресенье в Галерее Дианы[']	Удалена.
386.39	[пять / каждый] все пошло бы своим чередом.	Перенесено.